

---

---

*Алексей Мусатов*

## ПУТИ-ДОРОГИ

Жарко. Булыжная мостовая накалена. Колхозный рынок гудит, как растревоженный улей, и переливается пестрыми красками. Ослепительно сияют высветленные землей ободья колес и жестяные бидоны на телегах.

Василий Кошелев, счетовод районной конторы «Кожсбыт», пробирается через базарную площадь.

Он в коротком пиджаке невнятного зеленоватого цвета, надетом прямо на нижнюю, давно не стиранную рубашу, щеки его заросли густым колючим ворсом, и только картинно-пышные усы неизменно аккуратны.

Ноги почему-то не слушаются Василия, базарная площадь качается, но Василий полон решимости, расталкивает людей, пролезает между жаркими лошадиными мордами, перешагивает через корзины с овощами и, что-то бормоча себе под нос, идет все дальше и дальше.

Василий знает, где торгует Марина: в молочном ряду, недалеко от городских весов. Он появляется перед ней неожиданно, отталкивает покупателей и смотрит на нее сердитыми, в красных прожилках, глазами.

— Марина!.. Детей требую! Выдай детей, Марина!

Женщина вздрагивает, мгновение хмурится, а потом смотрит на мужа с напускным изумлением. Она еще не стара, но продолговатое, темное от загара лицо ее выглядит усталым, губы поблекли, частая сеть мелких морщинок лежит под глазами.

— Объявился!.. А я уж думала, не навестишь сегодня,— усмехается Марина.— Ты хоть поздоровайся —

жена я тебе или кто?.. — И она долго вытирает о фартук руки.

— Ты не шуткуй! — выходит из себя Василий. — Я в суд могу обжаловать. Раз тебе семейная жизнь со мной нежелательна — не живи, твое женское дело. А дети общие... И совершенно даже правильно могу в суд обжаловать. Суд поделит, он законы найдет! — Василий стучит кулаком по колесу, и голос его переходит в крик: — Полюбовно тебя прошу, Марина: выдай детей!..

Крик привлекает колхозников с соседних подвод; они вытягивают шеи, переглядываются.

Марине становится неловко. Она вспыхивает и дергает мужа за руку.

— Уймись, Василий... пьян ты! Я после базара к тебе заеду, переговорим, если хочешь.

— Ну, и пьян... А почему? За детей терзаюсь!

Марина берет мужа за плечи и старается втолкнуть его в людской поток, что движется мимо телеги.

— Иди себе... честью прошу!

Василий вырывается, взмахивает руками и, вдруг покачнувшись, опрокидывает на телеге горшок со сметаной. Сметана проливается и лениво капает на землю. Маринину телегу обступают люди. Василий узнает знакомых колхозников из Березовки. Вот маленький, остроглазый Афанасий Зайцев, колхозный конюх, сосед Марины. Он только что постригся, побрился, и от него крепко несет одеколоном. Афанасий приподнимает новую полотняную фуражку и приятельски подмигивает Василию:

— А-а, земляк! Ну, как балансы, как доходы-приходы? Говорят, приласкался к городу, не скучаешь о нашем брате колхознике?

Пухлощекий парень Ефимкин в красной футболке встает рядом с Василием и, не моргая, смотрит ему в щетинистую щеку. Зубами он сдирает с репы желтую кожуру и молодецкато выплевывает ее к ногам Василия.

Людей собирается все больше.

Какая-то старуха с седыми усикамп — Василий даже не знает ее имени — сокрушенно качает головой и шепчет:

— Ах, Васька, Васька! Заплутал ты, грешный человек, детей бросил!

Высокий гривастый старик, кузнец Коньков, с засученными рукавами продирается сквозь толпу.

— Ты нашу Марину не пужай, — говорит Коньков и

показывает на людей. — Соображай, весь колхоз в выезде — заступимся. А ты, Марина, объясни супругу: зря он шумит, закон на твоей стороне...

Марина молчит, опустив глаза, и щепочкой соскабливает с телеги разлитую сметану.

Василий растерянно шарит в карманах, сглатывает слюну и, отвернувшись от жены, делает шаг в сторону.

Перед ним расступаются.

— Эй, счетовод! Луку, луку-то на копейку забыл купить! — со смехом кричит ему вслед Ефимкин.

Прошла неделя, и Василий не выдержал. Накупил гостинцев и отправился в деревню. «Сам с детишками поговорю... они меня поймут», — решил он.

Сев в поезд, Василий через час езды сошел на маленьком полустанке, и прямой дорогой, через ржаное поле, пошел к Березовке.

Хлеба еще не созрели. Сизые волны бежали через поле. На горизонте синела зубчатая гряда елового бора. За рекой, на лугу, колхозницы сгребали сено.

Вскоре показалась Березовка. Василий с минуту постоял у околицы и повернул на приусадебные участки. К своему дому он подошел с задней стороны.

Возле огорода, привязанный к плетню, вяло щипал траву тонконогий рыжий теленок. В переулке лежали ошкуренные сосновые бревна, уже потерявшие свой золотистый глянец.

«Придется, пожалуй, продать, теперь не до стройки», — подумал Василий.

На двери, ведущей в сени, висел замок. Это обрадовало Василия: значит, Марина на сенокосе и дома одни ребяташки — Колька и Маша. А с ними, глупыми, договориться не трудно.

Василий пошел к реке — наверно, Колька там.

Посередине реки мальчишки вели бой за бревенчатый плот. Как муравьи, они карабкались на него, плот тонул, мальчишки с визгом прыгали в воду, потом опять бросались к плоту. Осторожно ступая среди разбросанных на берегу рубах и штанншек, Василий подошел к воде, долго смотрел на голые тела ребят и не мог узнать, который же тут его Колька.

Наконец кто-то заметил Василия и закричал:

— Колька!.. Счетовод!.. Отец приехал...

Мальчишки отпрянули от плота и поплыли к берегу. Колька, курносый, веснушчатый, с острым подбородком, посиневший от долгого купания, торопливо всунул ноги в штаны и первый подбежал к отцу.

— А мамки нет... На дальний луг уехала. Она у нас за мужика косит... Дома я да Манька...

Колька был явно смущен. То и дело поглядывая на ребят, он говорил отрывисто, торопливо, левой рукой запутался в рукаве синей рубахи. Мальчишки один за другим выскакивали из воды, на ходу одевались, окружали Василия и внимательно его рассматривали.

— Мамки и завтра дома не будет и послезавтра... На целую неделю собралась, — сообщил Колька. — Ты как — ждать будешь или уедешь?

Василий потрогал свои картинные усы и миролюбиво прищурился.

— Ох, и строгий ты у меня! Прямо начальник! Ну же, прояснись! Обойдемся и без мамки! Я тебя с Манькой пришел навестить. В гости вас хочу позвать.

— В гости? — переспросил Колька.

— Ну да... Город посмотрим, в Парк культуры-отдыха вас сведу. Я там одну комнату знаю — завлекательное дело. От смеха на месте помереть можно.

— Я такую комнату знаю, — авторитетно подтвердил большеголовый Илюша Шабров. — Там такое зеркало есть уменьшительное, а потом зеркало увеличительное.

— Вот-вот, — улыбнулся Василий. — А еще, Никола, можем к Ивану Грозному сходить.

— К Грозному? — удивился Колька.

— Помнишь, я тебе рассказывал, царь-то в нашем городе жил. Сурьезный такой царь, нравный. Чуть что — сейчас голову с плеч. Так вот, пойдём мы с тобой в музей, нам все и покажут: и какую шапку Грозный Иван носил, и с какого блюда кашу ел...

— Этого я не знаю... — вздохнул Илюша. — Не бывал в музее.

Потом отец обещал свести Кольку в кино, городской театр, покатать на лодке.

Колька потер кончик носа. Искушение было велико. В город он ездил только два раза, да и то, кроме базарной площади, ничего не видел. И вдруг такое заманчивое приглашение...

Но от кого?

Колька вспомнил разговоры мальчишек об отцах. Самым знаменитым, пожалуй, считался отец Илюшки Шаброва. В войну он был партизаном, ходил в разведку, взрывал вражеские поезда. А сейчас работает в колхозе бригадиром.

Боевой отец и у Леньки Зайцева. Во время коллективизации кулаки стреляли в него из дробовика и травили собаками. Хотя дядя Афанасий и хромает до сих пор, но когда в колхозе случился пожар, так он первый ворвался в горящую конюшню и спас племенного жеребца.

Колька завидовал ребятам — у него отец был тихий, неприметный, сидел с утра до вечера в конторе да шелкал на счетах. Колька не раз допытывался у матери, не травили ли кулаки его отца собаками, не палили ли в него из дробовика.

Мать удивлялась.

— Бог миловал — не травили. — И на все вопросы отвечала скупно и не очень охотно: отец как отец, с кулаками не знался, в колхоз вписался вместе со всеми, на войне не был по состоянию здоровья.

Однажды ребята завели в школе уголок знатных людей колхоза. Повесили фотографии бригадиров, животноводов, конюхов. Потом на стене появился портрет Василия Кошелева.

— Его-то зачем? — опешил Колька. — Он же у нас тихий!..

— Считает хорошо... — пояснил Илюша Шабров. — Им все довольны... Ты думаешь, это просто на счетах — шелк, шелк!

С этого для Колька стал чаще заходить в правление, присаживался около стола и наблюдал, как отец перекидывает на счетах черные костяшки.

В правлении толпились колхозники. Они почтительно следили за работой Василия. Кольке это нравилось. Он начал с уважением поглядывать на отца. Словом, наступило хорошее время. Колхозники здоровались с Колькой за руку и спрашивали: «Какие тут наши трудодни, молодой счетовод? Смекни!» И Колька важно объявлял. Он помнил наизусть, сколько трудодней выработал каждый колхозник. Он стал знаменит, как бригадиров сын Илюшка Шабров.

И вдруг в середине зимы Колькин отец уехал в город.

В школе под отцовским портретом чья-то озорная рука мелкими буквами написала: «Беглый».

Колька затер надпись пальцем. На другой день надпись появилась снова. Тогда Колька тайно от всех сорвал со стены портрет отца, унес его домой и спрятал в сундучок.

Потом в колхозной стенгазете появилась карикатура: мужчина с густыми усами, сгорбившись, бежал к городу и тянул за собой сидящих на счетах, как в колясочке, Кольку, его мать и сестренку.

Глотая слезы, Колька прибежал к матери и спросил, когда же вернется отец.

— Кто его знает! — не глядя на сына, ответила Марина. — Хворый он у нас, лечиться поехал.

Отец приехал недели через три поздно вечером, и Колька слышал, как ночью в постели он ожесточенно шептался с матерью.

— Да ведь страшно, Вася! Тридцать пять лет здесь живу, как привязанная, — испуганно возражала мать. — И вдруг сразу все брось — и курей и землю... Да я же заболею, Вася.

— Дура... ой, дура! — возмущался Василий. — Ты пойми, что нам за расчет в колхозе жить! Никакого доходного баланса... одни убытки... Председатели что ни год меняются... тягла не хватает, На трудодень гроши достаются. Да беднее нашей артели по всей округе не сыщешь.

— Это так, — вздыхала мать. — А все-таки стыдно — бежать куда-то, тишком да тайком. Повремени, Вася, может, все и наладится...

К утру Василий опять уехал в город.

Так он появлялся несколько раз, тайком, по ночам. Когда Марина с Колькой приезжали в город на базар, Василий зазывал их к себе на квартиру, хвалился работой и торопил с переездом.

Но Марина не спешила. Начиналась весна, колхозницы работали на парниках, вместе с ними трудилась и Марина.

Колька теперь почти не заглядывал в правление — там на месте отца сидел уже новый счетовод.

Колхозники при встрече звали Кольку по-старому «счетовод», но мальчика это только обижало. Холодное ожесточение против отца росло в его душе.

Вот и сейчас он не знал, как ему поступить. Колька вопросительно посмотрел на ребят — как-то они отнесутся к его поездке.

— Думай, Никола, думай, — поторопил отец. — Не желаешь в город, не ездить... Вольному воля. Могу с Манькой поехать. Да открой ты мне избу, покорми чем-нибудь.

Колька проводил отца домой, поставил на стол чугунок с картошкой, кринку с молоком и вновь убежал на улицу, к ребятам.

— Вы мне прямо скажите — ехать, не ехать. Сами знаете, какой у меня отец...

Мнения мальчишек разошлись.

Одни говорили — ехать нельзя, лучше подождать до школьной экскурсии в будущем году и вообще с таким стцом, как Василий, Кольке не следует даже разговаривать. Другие утверждали, что отец тут ни при чем, а важно попасть в город, посмотреть комнату смеха, музей с шапкой Ивана Грозного.

— Ну, ради шапки я бы не поехал... — сказал Илюша Шабров.

— А кино забыл? А карусель на базаре? А театр? — горячо вступился за поездку в город Ленька Зайцев, большой любитель кино, и посоветовал Кольке смотреть за вечер не меньше двух картин, запоминать как следует, чтобы по приезде обо всем рассказать ребятам. — На счет мороженого ты, Коля, тоже без смущения. Чтобы каждый день порция была за девяносто копеек. И ситро, конечно.

Поспорив, ребята наконец сошлись на том, что съездить Кольке в город на три-четыре дня совсем не мешает, и, напичкав его разными советами, разошлись.

Колька вернулся к отцу.

— Ладно! Так и быть... — сказал он. — Денька на три можно поехать! Только вот теленок у нас приболел... не мычит и травы не щиплет.

Василий успокоил: он попросит соседку, и та присмотрит за больным теленком.

Колька обул новые сапоги и надел старую милиционерскую фуражку с нарисованной над козырьком фиолетовой звездочкой.

Фуражка была гордостью Кольки. В ней он казался себе солиднее, строже, а главное, считал, что в такой фуражке никто не осмелится назвать его счетоводом.

Семилетнюю Машу, беловолосую девочку с большими удивленными глазами, не пришлось даже уговаривать.

Получив от отца подарок — две яркие шелковые ленты — и узнав, что тот зовет ее и Кольку к себе в гости, девочка запрыгала от радости. Ее обеспокоило только одно — поедет ли с ними в гости Надька, толстая тряпичная кукла. Отец милостиво разрешил захватить и Надьку.

В семье Кошелевых Маша, пожалуй, больше всех уважала отца. Ей казалось, что тятка чем-то незаслуженно обижен, она втайне жалела его и, когда Василий изредка приходил в деревню, ласкалась к нему, доверяла свои маленькие детские секреты и обиды на Кольку и на мать. А в дни, когда неясная печаль трогала детское сердце, Маша выходила на большак, слушала, прижавшись ухом к телеграфному столбу, как бранчливо гудят провода, и серьезно смотрела кукле в пуговочные глаза: «Добежала бы ты, Надюша, до города. Ножики у тебя молоденькие, глазки востренькие».

После обеда Василий с детьми отправился на станцию, к поезду. Перед уходом Колька написал матери записку: они с Машей уехали к отцу в гости.

Василий прочитал, усмехнулся и сделал приписку:

«Марина! Дети уехали со мной, — со мной» жирно подчеркнул. — Выбирай. Или живи одна без детей, или приезжай к нам в город.

Василий».

Кошелев приехал с детьми в город поздно вечером.

Его встретила квартирная хозяйка, женщина грузная и до крайности любопытная. Имела она привычку обходить человека кругом и заглядывать ему в глаза.

— С семейством вас, Василий Иванович, с домочадцами, — приветствовала хозяйка Василия и ласково ущипнула Машу за щеку. — Теперь, поди, и супружницу ждать недолго?

— Теперь недолго, — ответил Василий.

Спать Кольку и Машу он устроил на кровати, а сам лег на полу. Кровать была двуспальная, высокая, на колесиках. Кровать эту уступила Василию сердобольная хозяйка в тот день, когда он снял у нее комнату: «Почивайте, сердце мое. Кровать веселая, старинная!»

От малейшего прикосновения в ней назойливо стонали

пружины и, словно колокольцы на бубне, звенели разболтанные никелированные шары и трубки.

Утром Василий поднялся рано, быстро оделся и не успел взять портфель, как вдруг заметил острый, подозрительный взгляд Кольки.

— А когда Ивана Грозного смотреть пойдем?

— Успеется! Ты спи, отдыхай — в гостях всегда спать помногу полагается.

И отец ушел на работу.

В первый же день Колька показал Маше все известные ему городские достопримечательности: базарные весы, качели, тележку мороженщицы, но дальше базарной площади идти не решился — уж очень воинственно были настроены городские мальчишки. Даже Колькина милиционерская фуражка не произвела на них никакого впечатления.

Во дворе Колька познакомился с сыном квартирной хозяйки и даже начал помогать ему красить клетку для кроликов. Но пухлый, с ямочками на щеках Витька, неосторожно повернувшись, опрокинул банку с краской и обиженно закричал на Кольку:

— Из-за тебя все, колхозник!

Колька махнул Витьку по щеке краской и убежал в комнату.

Стало скучно. Вечер почему-то запаздывал. Казалось, что даже солнце в городе двигалось ленивее, чем в деревне.

Отец вернулся поздно и в коридорчике за дверью принялся готовить на керосинке обед.

Колька напомнил ему про кино.

— А мы завтра сходим, — ответил отец. — Не убежит твое кино...

На другой и на третий день повторилось то же самое: отец возвращался из конторы поздно, ссылаясь на усталость и обещал наградить за все в выходной день.

Колька хмурился.

Только Маша была довольна городом.

Ей все здесь пришлось по душе. И подружки во дворе, научившие ее играть в «домики» и прыгать через веревочку, и множество подвод и людей на улицах, и даже тяткина кровать, высокая и звонкая.

В первый же день по приезде в город Маша нарисовала угольком на стене черную палочку.

— Это трудовень! — пояснила она отцу. — Ну, чей, чей, — понятное дело, не мой. Я маленькая, мне трудовые дни не полагаются. А ты большой, да не колхозный. Тебе тоже не полагаются. Мамкин трудовень. Я дома ей всегда на стене записывала и здесь буду...

Василий усмехнулся, но ничего не сказал.

Со дня на день он ждал приезда Марины. Вот войдет она в комнату, сначала, конечно, будет спорить, обижаться, а потом увидит, как прижились к нему Колька с Машей, и ей ничего не останется, как смириться.

По утрам Василий шел на базар или к железнодорожному переезду, через который обычно въезжали в город березовские колхозники, и долго пропускал мимо себя нагруженные всякой всячиной подводы. Но Марины не было.

«Врешь, приедешь! — с раздражением думал Василий. — Дети-то у меня. А без них не проживешь, потянет...»

Утром Колька проснулся от веселого звона и треньканья пружин.

Маша, крепко прижимая к себе куклу, подпрыгивала на кровати: «Но-но, соколики!» Верно, ей казалось, что она мчится с Надькой на лихой тройке с колокольчиками.

Колька сердито столкнул сестру с кровати.

— Брысь!.. Ты зачем сюда приехала?

— Вот еще спрос какой, — обиделась Маша. — В гости приехала, отдохнуть.

— В гости, глотать кости, — передразнил ее Колька. — Ничего ты не понимаешь, малолетка... Тятка-то обманул нас. Наобещал всего с три короба, а ничего не показывает...

— Он покажет... Ты обожди.

— Некогда мне ждать. Мне домой пора... И так четыре дня без пользы прошло.

В дверь заглянула квартирная хозяйка и показала ребятам, что оставил им отец на завтрак.

Маша вышла в коридор умываться.

Хозяйка угостила девочку карамелькой в свинцовой бумажке и погладила по льняным волосам.

— Ну что, беленькая, не едет ваша мамка?

— Мамке недосуг... Она сено косит... Ей нельзя по

гостям, — ответила Маша, приглаживая к зубам свинцовую бумажку из-под карамельки.

— А который тятка лучше, беленькая? Василий Иваныч или тот, что в деревне остался? Тот, наверное, молодой, красивый?

— Какой тот? — удивленно подняла голову Маша. — Тятка у нас один... Василий Иваныч.

— А другой-то тятка деньги вам дает? На гостинцы тебе, на платья?.. — допытывалась хозяйка, глядя на девочку жалостливыми глазами.

Маша покраснела, уронила свинцовую бумажку и убежала в комнату.

— Чего она меня про какого-то второго тятку спрашивает? — пожаловалась она брату. — Тятка у нас один... Все знают. Ты скажи ей, Колька... Только он больной... ему в городе жить надо.

— Больной... да не той стороной, — невесело усмехнулся Колька и задумался.

Вечером он твердо заявил отцу, что ему пора домой: ребята в деревне, наверное, уже ходят в рошу за грибами, и незачем ему больше бездельничать в городе.

Отец нахмурился.

— А здесь чем не дом?.. Живи, привыкай... Скоро мать приедет.

— Не приедет она... лучше не жди, — вырвалось у мальчика.

— А ты помолчи! Чересчур много понимать стал... Умник! — прикрикнул отец и, покосившись на Машу, приказал ей ложиться спать.

Утром Колька не нашел под кроватью своих сапог. Потом обнаружилось, что был спрятан и его пиджак. Только на стене висела Колькина милиционерская фуражка.

У Кольки сжались кулаки.

Теперь ему все стало ясно. Отец зазвал его и Машу совсем не в гости. Все это было сделано затем, чтобы заставить мать переехать жить в город. И они с Машей сейчас вроде как пленники! Вот отец спрятал даже сапоги и пиджак.

Колька представил себе мать. А вдруг она затосковала без ребят и решила ехать к отцу? Погрузила вещи на подводу, заколотила досками окна, повесила замок на дверь. И, может, сейчас уже прощается с соседками..;

От таких мыслей Колька даже вздрогнул. Нет, нет, надо скорей ехать в деревню, предупредить мать.

Колька заглянул в шкафчик, где у отца хранились деньги. Денег не было, — как видно, их тоже убрал отец.

«Ну и пусть!.. — решил Колька. — Я домой и пешком доберусь... босиком...»

И он принялся рассовывать по карманам куски хлеба. Маша захныкала — ей тоже захотелось домой.

Колька пообещал, что в первый же базарный день они приедут в город вместе с матерью и заберут ее с собой.

— Да... обманешь меня! — не поверила сестренка.

— Лопни мои глаза! — поклялся Колька. — Я тебя выручу!

С трудом удалось уговорить Машу остаться.

Вечером вернулся отец и, узнав, что Колька ушел домой, очень рассердился и сердито погрозил девочке пальцем.

На другой день он привел Машу в контору и, посадив рядом с собой, положил перед ней лист бумаги и красный с синим карандаш.

— Рисуй что-нибудь...

— А зачем? — удивилась Маша. — Я домой хочу. Скучно у тебя.

Но у отца так сердито зашевелились усы, что Маша не стала больше спорить.

Она покорно рисовала домики, рыб, цветы, куклу Надьку. Из глаз падали слезы, и девочка подкрашивала их фиолетовыми чернилами.

Так повторялось день за днем. Маша сидела в конторе рядом с отцом и настороженно прислушивалась к каждому стуку в дверь — вот-вот войдут Колька с мамкой и увезут ее с собой.

Но из колхоза никто не приезжал.

По ночам Маша плохо спала и, кутая в одеяло куклу, принималась горько плакать.

— Бедные мы с тобой... Все нас забыли, все забросили: и мамка и Колька.

Василий уверял Машу, что любит ее, обещал купить игрушек, сочинял всякие интересные истории, вспоминал забытые сказки.

Он сбивался с ног.

Утром, чуть свет, бежал на базар, покупал продукты, дома на керосинке готовил завтрак. Все получалось по-

мужски, неловко — падали из рук сковородки, подгорала рыба, «убегало» молоко, капризничала керосинка.

Квартирная хозяйка, розовая и теплая со сна, просовывала в дверь голову и сокрушенно качала головой:

— Ах, Василий Иванович, Василий Иванович! Все нет вашей супружницы и нет. Ну как это можно, не понимаю... — И, вздохнув, опускала глаза.

«К черту! — свирепел Василий. — Должна же она приехать».

Но Марины все не было.

В воскресенье, когда отец ушел в баню и Маша сидела одна в комнате, неожиданно приехал Колька.

Держа в одной руке тяжелую плетеную корзину, закрытую рядом, в другой — бидон с молоком, он с трудом протиснулся в дверь,

Маша бросилась навстречу братишке.

— Ты за мной? Да? Чего ж так долго не ехал? — И она принялась собирать в узелок свои вещи.

— Ты погоди... — остановил ее Колька, вытирая рукавом взмокшее лицо. — Придется тебе еще в городе погостить.

Маша ничего не поняла. Колька принялся объяснять.

В колхозе заболел бригадир Григорий Шабров и, как видно, надолго. Вместо него бригадиром назначили их мать. Сейчас в колхозе начали убирать хлеб, и мать целыми днями пропадает в поле. Вот она и решила, чтобы Маша пожила до конца уборки у отца, в городе.

Девочка растерянно заморгала глазами.

— Я лучше с тобой буду...

— Нельзя со мной... Я тоже на уборке... колоски собираю, воду подвожу, — сказал Колька и передал сестренке строгий наказ матери: слушаться отца, не капризничать, не плакать, не ходить грязнулей.

Маша обиженно засопела.

— А говорил тоже — выручу!..

— Я бы выручил... Это так мамка захотела, чтобы ты у отца пожила... Ну чего ты, Манька, чего? Мы же приедем... и мамка и я... Недели через три... Ты жди нас... А это вам продукты... — И, развязав корзину, Колька принялся вытаскивать из нее яйца, масло, мясо, пироги.

Посидев еще немного и рассказав колхозные новости,

он заторопился обратно — как бы не прозевать на базаре попутную подводу, да к тому же Кольке не очень-то хотелось встречаться с отцом.

Вернувшись из бани, Василий застал дочку в слезах. Из ее сбивчивого рассказа он понял, что Марина прислала еду, сама она очень занята, приехать не может.

«Да что она, смеется надо мной! — вскипел Василий, — Сама не едет, а я тут с девчужкой нянчусь!»

Утром ему вновь пришлось захватить Машу с собой на работу.

В конторе уже все привыкли к Маше, звали ее «белочкой», посылали в буфет за бутербродами, за морсом. Появились у Маши и друзья. Главный бухгалтер с огромным золотым зубом и такой же беловолосый, как и Маша, подарил ей коробку цветных карандашей и попросил:

— Нарисуй мне, белочка, самое-самое интересное...

Маша задумалась, пососала карандаш и во весь лист нарисовала кособокий дом. На окнах прямо из подоконников прорастали диковинные голубые цветы, труба была похожа на гриб, а дым был изображен в виде пружины.

— Это уж я видел, — разочаровался бухгалтер. — Ты мне этими домиками весь стол испачкала.

— Так это ж наш дом, а те чужие, ничьи, — горячо вступилась за свой рисунок Маша. — Мы осенью строиться будем. Сейчас у нас изба старая, тесная. А в новом доме шесть окон прорубим. Дом красивый будет... Ты приезжай потом посмотреть. Ладно?

— Хорошо, приеду, — пообещал бухгалтер и обернулся к Машинному отцу: — Что же это, Василий Иванович? Жена в деревне новый дом строить собирается, а ты скрываешь от нас.

Василий пренебрежительно отмахнулся.

— Наговорит вам девчужка... Откуда ей знать! Да и доходов у жены не хватит.

— Нет, я знаю... — заспорила Маша. — Колька говорил... Мамка строиться собирается. Она теперь у нас бригадир...

Василий покачал головой — дочка становится выдумщицей. Наверное, это от скуки.

Через неделю на квартиру к Василию зашел березовский кузнец Коньков, передал ему корзиночку с провизией и спросил, как поживает Маша.

— Да она что, Марина, продуктами от меня решила откупиться? — вышел из себя Василий.

— Она бы и сама дочку навестила, — пояснил кузнец, — да понимаешь — страда! А супруга твоя у нас бригадир...

У Василия пересохло во рту.

— Бригадир?!

— А что ж! Марина дело ведет разумно, народ с ней считается. И вообще наш колхоз на поправку пошел. Нового председателя избрали, агронома. Народ к земле потянулся. Кое-какие доходы появились... — Коньков пристально оглядел Василия и с сожалением покачал головой. — Продешевил ты, пожалуй, Василий Иванович, зря на сторону переметнулся.

Василий ответ глаза в сторону.

— Здоровьишко у меня не того... сам знаешь...

Оставив корзиночку с продуктами, Коньков ушел, а Василий, опустив голову, долго сидел за столом.

Маша подошла к столу и заглянула отцу в глаза. Они были мутные, тоскливые. У девочки замерло сердце.

Прижавшись к теплой руке отца, Маша принялась упрашивать его поскорее вылечиться и поехать вместе с ней домой к матери.

Ведь как хорошо будет дома!

Отец, как и раньше, работает в правлении, щелкает на счетах, а Маша прибегает к нему и зовет обедать, пить чай. В праздник они втроем отправляются в клуб смотреть кино. Маша держит отца за руку. Мать идет рядом в красивом новом платье. И все люди смотрят им вслед и завидуют: «Счастливая Манька! Тятка справа, мамка слева, а она в золотой середочке».

— Ну, правда, тятка, поедем, — уговаривала Маша. — Доктор у нас и в колхозе есть...

Василий молчал и тихо гладил девочку по голове.

В базарные дни его будил веселый и звонкий грохот колес. Василий подходил к окну. Длинный хвост колхозных подвод тянулся по улице. Они были нагружены чистыми, опрятными ушатами и кадками, краснобурыми горшками, облитыми глазурью, тонкогорлыми глиняными кувшинами, белыми дугами, колесами, граблями. Дальше следовали подводы с огурцами, розовым картофелем, пунцовыми помидорами, молоком, маслом, мясом.

«Черт-те что везут!» — бормотал Василий и почему-то ощущал в душе странное беспокойство.

Какая-то тайная сила упрямо тянула его в эти дни на базар. Он бродил среди подвод, ко всему приценивался, ничего не покупал и заводил с колхозниками разговоры о посевах, урожаях, доходах, особенно интересуясь, как ведется хозяйство в Березовской артели.

Иногда Василий недоверчиво покачивал головой и с досадой перебивал, как ему казалось, не в меру расхваставшегося колхозника:

— Это, братец, ты уж через край хватил... Ну-ка, называй статьи прихода-расхода — мигом баланец сведу.

Колхозники называли цифры, и Василий быстро складывал их, множил, вычитал.

Порой за этим занятием его заставляли земляки и, окружив тесным кольцом, подсмеивались:

— Что, Василий Иванович, опять на колхозную бухгалтерию потянуло?

Василий хмурился и уходил, хотя ему нестерпимо хотелось расспросить односельчан о том, как живет Марина.

Он уже начал понимать, что держать дочку у себя бесполезно — Марину этим из деревни не выманишь. К тому же нянчиться с девочкой было не легко. Машу надо было мыть, кормить, следить за ее одеждой.

А тут еще на беду девочка заболела ангиной. Пришлось вести ее в амбулаторию, ходить за лекарствами, не спать по ночам.

Через неделю Маше стало легче, но она, все еще пользуясь правами больной, требовала, чтобы отец сидел у ее кровати и рассказывал сказки. А порой девочка просто-напросто начинала капризничать, чем не на шутку сердила отца и выводила его из себя.

— Отправлю-ка я тебя к матери, — однажды пригрозил ей Василий. — Она тебя быстро к рукам приберет. Собирай-ка свои вещички... Я тебя на базар провожу, к землякам.

Маша замаялась и отошла в угол, где она проставляла угольком черные палочки «мамкиных трудодней».

— Ну что ж ты? То рвалась, плакала, а тут...

— Нельзя мне уезжать... — тихо сказала Маша, вода пальцем по палочкам и что-то про себя подсчитывая. — Я у тебя еще восемь дней жить буду.

— Почему восемь? — удивится Василий.

— А так мне мамка наказала... до конца уборки у тебя оставаться.

Марина не обманула — приехала точно к концу третьей недели. Маша еще накануне вечером собрала свои вещички и, ложась в постель, загадала встать рано-рано, чтобы встретить мать при въезде в город.

Ночью она часто поднималась, будила отца, а к утру сладко заснула и не слыхала, как в комнату вошла Марина.

Василий поднялся ей навстречу. Они поздоровались.

Марина склонилась над девочкой, согнала муху с ее лица.

— Будить, что ли? — спросил Василий.

— Пусть поспит. С базара поеду — захвачу... Ну как? Досталось тебе с ней?

— Всяко бывало...

— Детской площадки в колхозе у нас пока еще нет, а мне в уборку не до Машеньки. Жила бы она, как сирота заброшенная. Спасибо, выручил ты меня...

— Рад стараться, — усмехнулся Василий. — Нечего сказать, в няньку меня превратила. — Он помолчал, потоптался на месте, потом тихо позвал: — Марина! А может, останешься? — и сам не поверил тому, что сказал. — Ведь неразведенные мы с тобой... Все муж да жена. Даже не ссорились...

Марина задумчиво покачала головой.

— Это правда, не ссорились... А только зачем я пойду к тебе? В кухарки да белье стирать? И все-то мое звание будет — счетоводова жена. Невелика честь. А в колхозе у меня дело верное... Нет уж, Василий Иванович, от добра добра не ищут... И не зови больше!

Нависло тяжелое, неловкое молчание. Марина покосилась на стенные часы.

— Я, пожалуй, пойду... Там на подводе Колька ждет. — И она шагнула к двери.

— погоди! — Василий загородил дверь и, теребя ус, устало и глухо спросил: — Скажи, Марина... прямо скажи... Примут меня обратно? Повинюсь... работать буду.

— Не знаю, — неуверенно ответила Марина. — Может,

и примут... Как общее собрание... его воля. Хотя счетовод у нас уже есть...

— А ты, Марина, ты... приняла бы?

— Я что... — смутилась Марина.— Сердце у меня женское... меня не спросится, возьмет да и простит. Тут как собрание... А главное — ребятишки. Колька, так тот в сердцах аж зубами скрипит. Ты ему всю радость ребячью испортил.— Она тяжело вздохнула.— Сам думай, Василий. Силы хватит — приходи...

Василий перевел дыхание, усы у него задрожали, и, втянув голову в плечи, отступил от двери.

Марина ушла.

Маша проснулась около полудня, обиженно захныкала, заторопилась и потребовала, чтобы отец немедленно проводил ее к матери.

Василий повел девочку на базар. Но перед молочными рядами он остановился: день был воскресный, а на базар, наверно, приехало немало колхозников из Березовки.


Василий приподнял Машу на руках и показал ей мать.

— Вот она, в зеленом платке. Видишь? Иди к ней...

— А ты?

— Я... я потом, дочка... Другой дорогой приду.





*Юрий Нагибин*

## ЧЕТУНОВ, СЫН ЧЕТУНОВА

Как и обычно, Сергей Четунов проснулся от того, что нечем стало дышать. Каждое утро здесь, в пустыне, начиналось для него с ощущения душащей тяжести; это значило, что солнце успело нагреть брезентовую стенку палатки, близ которой стояла его складная койка. Он был новичком, и ему досталось самое плохое место. Пройдет еще несколько минут, пока солнце доберется до Морягина и Стручкова, поэтому оба его соседа сладко спят.

Первым движением Четунова было схватиться за флягу. Но фляга, по обыкновению, была пуста, несколько тепловатых капель упало ему на нижнюю губу и растворилось в суши рта, оставив на зубах хруст песка. От сухого глотка больно саднило гортань.

Четунов потянулся и отстегнул клапан люка. Пахнуло теплым, но более чистым, чем в палатке, воздухом, и тонкий лучик солнца, словно раскаленная проволока, протянулся от люка к столику Морягина. Лучик капнул золотом на пустую бутылку из-под шампанского, в горлышке которой торчал свечной огарок, растекаясь радужными бликами на рыжей коже горных ботинок, тоже стоявших на столике, и двумя серебряными пуговками зажег выпуклые глаза ящерицы, накрытой стеклянной банкой.

«Ящерица. К чему она тут? — брезгливо подумал Четунов, глядя, как трудно, судорожными толчками, втягивается и вспухает светлая кожа на горлышке ящерицы. — Она же задохнется!» Он шагнул к столику Морягина, чтобы освободить ящерицу, но случайно шатнул столик,

что-то звякнуло, и Морягин поднял над подушкой красное, потное лицо.

— Что такое? — буркнул он хриплым, непрокашлянным голосом.

— Ящерица вот... — пробормотал, отчего-то смутившись, Четунов.

— Это я сыну. Не трогайте! — Морягин повернулся на другой бок и сразу заснул.

«Ну и тип! — думал Четунов, выбираясь из палатки по маленькой лесенке, прорубленной в глине (палатка была до половины врыта в землю). — Будто нельзя усыпить ее эфиром. Как это он на меня прикрикнул: «Не трогайте!» Надо бы взять да выпустить ящерицу или заставить Морягина ее усыпить».

Но в глубине души Четунов знал, что он этого не сделает, и Морягин знал, что Четунов этого не сделает. «Лучше всего люди угадывают чужую деликатность. Здесь уже поняли, что я не скандалист. Но сегодня мой день, а не ваш, товарищ Морягин!» И Четунов засмеялся, сразу придя в хорошее настроение.

Он стоял близ края такыра — большой плоской глинистой тарелки в десяток квадратных километров. Рассеченная во всех направлениях множеством тонких трещин, гладкая, твердая, белесая, почти белая, почва такыра напоминала паркет. Вдоль ближнего края такыра тянулись полуврытые в землю палатки, стояло несколько грузовиков, буровой передвижной станок и два трактора.

А дальше простиралась пустыня — бесконечные желтые просторы песков. На границе такыра песок был усыпан угловатыми обломками глины, сдутыми ветром с такыра и обожженными солнцем до крепости черепицы, словно там разбился вдребезги гигантский воз глиняных кувшинов.

Какое-то одинокое, бесприютное чувство рождал у Четунова этот голый, обглоданный солнцем и ветром пейзаж. Но сегодня Четунов поймал себя на том, что унылый вид такыра не вызывает в нем обычной неприязни. «Отличная природная взлетная площадка», — вспомнились ему слова летчика, доставившего его сюда из Ашхабада. Похоже, что такыр окажется неплохой взлетной площадкой и для него, Четунова.

Начав думать о своей удаче, Четунов уже не мог сдерживать бег воображения. Он думал об этом, ополаскиваясь

мутной, пахнувшей глиной водой из бочки, уничтожая очередную банку надоевшей скумбрии, снаряжаясь в дорогу. Собственно, это нельзя даже назвать удачей, ведь удача — нечто случайное, а Четунов шел к своему успеху сознательным волевым усилием.

Сергей Четунов, сын прославленного геолога, академика Сергея Павловича Четунова, с раннего детства был уверен, что у него будет не такая жизнь, как у всех.

Играя со своими сверстниками в любимую детскую игру «Кем ты будешь?», он никогда не терялся среди всевозможных заманчивых профессий — от композитора до водолаза. Он всегда говорил одно и то же, просто и убежденно: «Я буду знаменитым геологом». На этот счет не было никаких сомнений ни у него самого, ни в семье. Кем же еще мог стать Четунов, сын Четунова? Ему не пришлось искать, ошибаться в определении своего пути, не знал он и той внезапной влюбленности в науку, которую переживает человек, наконец-то обретший свое истинное призвание. Он не мог бы сказать, когда полюбил геологию. Ему казалось, что он любил ее всегда, как любил мать, отца, няньку, как любил все свое, домашнее, неотделимое от привычного и милого мира детства.

Но носить фамилию Четунова не только благо: это ко многому обязывает. Сергей Четунов прекрасно учился; он был отличником в школе и в институте, но это никого не удивляло, будто так оно и должно быть. Сам Четунов чувствовал себя обязанным удивлять людей; он не имел права быть таким, как все, ведь он сын Четунова. Он полагал, что не был таким, как все, когда, отказавшись от аспирантуры, от Москвы, от спокойной и верной работы под руководством профессора Маркова, ученика отца, вызвался ехать в пустыню. Он видел, что все окружающие — и студенты, и профессора, и просто знакомые — оценили его поступок, и это дало ему тот заряд бодрости, без которого очень трудно было бы покинуть родной дом.

Но, прибыв в экспедицию, он как-то растворился в среде, где на долю каждого приходились одни и те же заботы, тяготы, одно и то же пылающее солнце и та же тепловатая, желтая от глины вода. Здесь он снова стал таким, как все, и потому мучительно желал выделиться, показать, что он — единственный, Четунов, сын Четунова.

А вместо того он с самого начала наделал глупостей, и ему пришлось завоевывать самое право быть таким, как все. Об этом своем промахе Четунов до сих пор не мог вспомнить без чувства стыда.

Четунов знал, что самое главное в пустыне — это вода. В экспедицию питьевую воду доставляли на самолетах. Первые дни, прежде чем сделать глоток, он заботливо смотрел, сколько осталось во фляжке воды. Делал он это тайно, боясь, чтобы не заметили другие. Затем он убедился, что отпускаемой на день порции вполне хватает, и перестал думать о воде. Но однажды он заметил, что его товарищи, «матерые пустынные», плохо переносят жажду; они то и дело справляются друг у дружки, не прилетел ли самолет-водонос, бросают на Четунова жадные взгляды, когда он прикладывает к фляжке. Четунов посмеивался про себя над этой несдержанностью и даже сказал Морягину, в котором сразу разгадал мелкого человека и оттого не чувствовал к нему такой настороженности, как к другим:

— Вы бы завели личного мираба.

— Вам легко трепаться! — огрызнулся Морягин. — У вас полная фляжка, а мы вторые сутки сидим без воды.

Оказалось, что главной буровой грозила остановка из-за нехватки воды, и работники экспедиции решили пожертвовать питьевой водой. Исключение сделали лишь для Четунова — новичка. И хотя Четунов в глубине души считал это справедливым, он пошел к начальнику и крупно поговорил. Это была его вторая сплошность.

Пожилой, красивый, с резкими, характерными чертами лица, имевшего в себе что-то тигриное, с властными, крупными жестами, начальник экспедиции производил на Четунова впечатление взрослого человека, усевшегося за игрушечный столик. Начальник испытал в жизни крутую перемену: он занимал видный пост в министерстве, прежде чем стал начальником небольшой геофизической экспедиции. Четунову казалось, что после этого человеку должно быть неловко глядеть в глаза окружающим, а этот не только глядел — он сверлил собеседника своими светлосерыми, блестящими, ласково-грозными глазами, глубоко упрятыми под твердую лобную кость.

Начальник со спокойным, даже скучающим видом выслушал пылкую речь Четунова, широко зевнул и сказал:

— Да чего вы расшумелись? Хотите мучиться, как все? На здоровье!

Он тут же распорядился не давать Четунову воды, насколько не оценив благородный порыв молодого специалиста.

По счастью, воду доставили на другой день. Но Четунов сделал свои выводы. Он разом поскромнел и очень скоро стал таким, как все. Он научился обходиться без воды, когда это было нужно, но и не скрывать подчеркнута жажды; научился быть то молчаливым, то общительным, смотря по общему настроению; научился пить из ковшика тепловатое, отдающее жестью, донельзя противное шампанское и сплевывать осадок длинным плевком. Но только ради этого не стоило ехать в пустыню. И Четунов настойчиво искал случая, который выделил бы его из окружающей среды. С начальником нужно было держать ухо востро: он не любил выскочек. Поэтому Четунов всячески избегал проявлений пустого энтузиазма, вперед не совался, на производственных совещаниях помалкивал, но все время помнил о своей цели.

Помог ему в известной мере случай, который всегда приходит на помощь тому, кто напряженно ищет. Недаром отец говорил: «В науке случай — одна из форм закономерности». Еще в первые дни по приезде в экспедицию Четунов обнаружил на столике Морягина смятую, засаленную карту. У Четунова с детства была страсть к картам. Приглядевшись, он убедился, что на карте снят участок работ их экспедиции.

— Откуда это у вас? — спросил Четунов.

— Да тут рядом с нами аэрогеологи работали, я у них и выпросил кусок синьки, — ответил Морягин. — Он мне скатерткой служит.

Четунов попросил у него карту и на досуге разобрался в ней. Карта была составлена очень тщательно, она дала Четунову полное представление о том клочке пустыни, где он жил и работал. И еще тогда смутно — как некая далекая возможность — мелькнула у него одна мысль, вернее, даже предчувствие мысли. А вскоре мысль эта вышла из тайников сознания в виде отчетливой и довольно своеобразной идеи.

Для более уверенного толкования сейсмических данных экспедиции необходимо было знать физические свойства пород, залегающих на глубине хотя бы первого отражаю-

щего горизонта, то есть в двухстах — трехстах метрах от поверхности. Для этой цели буровики начали проходку трех глубоких скважин, но работа велась из рук вон плохо: то аварии, то нехватка воды. За месяц пробурили всего несколько десятков метров. Начальник созвал совещание с участием буровых мастеров и рабочих.

Было душно, дымно от папирос и самокруток, в уши Четунову лезли бессильные, однообразные слова: «Надо со всей объективностью признать... Необходимо решительно бороться за повышение производительности...»

Впрочем, иногда попадались и дельные предложения, но так, мелочь. Старший мастер предложил начать поиски артезианских вод в окрестности, главный инженер — запросить новую аппаратуру... Начальник молчал, не мешая людям высказываться, но Четунов видел, что голубоватые белки его глаз набухают кровью и после каждого выступления он странно двигает челюстями, оскаливая крупные желтые зубы.

«Эх, хорошо бы встать да ошеломить всех какой-нибудь блестящей идеей!» — думал Четунов; и тут он вспомнил карту. Вспомнил с необычайной отчетливостью, будто разглядывал ее только что. Станный озноб — предчувствие открытия — пронизал его тело, несмотря на сорокаградусную жару. Четунов незаметно выбрался из палатки и побежал за картой. Да, все было так, как ему помнилось: вот эта впадина, и глубина указана — триста метров. Хорошая карта, отличная карта!

Когда Четунов вернулся в палатку, там что-то говорил Стручков, и начальник нетерпеливо двигал челюстями. Но вот Стручков замолк, развел почему-то руками и сел на место.

— Разрешите мне! — побледнев, звонко сказал Четунов.

Как шары на осях, в лад повернулись головы. Острые зрачки начальника укололи Четунова.

— Ну что же, послушаем геологию.

Начав говорить, Четунов в первые секунды не слышал своего голоса и все же почему-то знал, что говорит уверенно и твердо. Он начал с того, что в пустыне среди песков имеются участки, где на поверхность выходят породы более древнего возраста, и тут же дал краткий перечень всех горизонтов, на которые разделяются эти древние толщи. Теперь он уже слышал себя, и ему нравилось, как

звучит его голос. Он нарочно употреблял те специальные названия слоев, которыми пестрят учебники по геологии: сантон, маастрихт, дат, и, видя недоумение на лицах слушателей, думал: «Ничего, привыкайте к языку настоящей науки».

— Нельзя ли пояснее, товарищ геолог, да поближе к делу? — нетерпеливо сказал начальник.

— Я говорю языком моей науки, — так же резко ответил Четунув. Он был уверен, что играет в беспроигрышную игру, и мог себе это позволить. — Да, я не геофизик, я всего только геолог, но я берусь достать вам образцы пород, причем более крупные, чем те, которые вы добудете здесь из буровых.

По тому, как сразу стало тихо, Четунув мог судить о произведенном впечатлении. Не торопясь, достал он из кармана карту и расстелил на столе, отодвинув в сторону кисет и трубку начальника.

— Вот тут, в сотне километров от района наших работ, находится глубокая впадина Кара-Шор. Ее обрывистые борта, высотой до трехсот метров, сложены современными и третичными отложениями, но в нижней части их обнажаются и более глубокие породы верхнемелового возраста. Так вот я мог бы привезти оттуда образцы интересующих нас пород, залегающих на той же глубине, и указать мощность отдельных слоев...

Несколько приподнятая, победная интонация, с какой Четунув закончил свое выступление, упала в холодную тишину. А он ожидал взрыва. «Да они просто не поняли меня», — со смущением и досадой подумал Четунув о геофизиках.

— Так-так, — поблескивая глазами, проговорил начальник. — А эти образцы мы испытаем на плотность, магнитность, электропроводность и полученные данные введем в наши расчеты глубин. Сколько вам нужно времени? — уже с иной, деловой резкостью спросил он Четунува.

— День, если предоставите самолет, — в тон ему ответил Четунув.

— Решено! — хлопнул тот рукой по столу, поднялся и, обведя повеселевшим взглядом собрание, сказал: — А, каково? Настоящий Четунув!

Этой фразой он сразу отвел Четунуву должное место. Да, отныне он перестал быть одним из тех молодых, жал-

ких в своей неопытности специалистов, к числу которых тут, кажется, причислили и его. Он стал Четуновым, сыном Четунова.

...Подходя сейчас к палатке начальника, Четунов с приятным чувством освобождения вспомнил свою прежнюю робость перед этим человеком.

— Да, да, прошу! — донесся из палатки низкий, властный голос.

Четунов вошел. Начальник стоял посреди палатки, широко расставив короткие, сильные ноги в шегольских генеральских сапогах. На нем были брюки из легкого серого габардина, белоснежная шелковая рубашка. «Одет так, будто каждую минуту ждет вызова из центра», — отметил про себя Четунов, невольно отдав дань своему прежнему недоброжелательству. Но эта мимолетная мысль лишь скользнула по сознанию, не отразившись на чувстве симпатии, которое вызывала теперь у Четунова невысокая, грузная, с наклоном вперед, фигура начальника, его проточенные седной, точно мех чернубурой лисичи, волосы и удивительные — ласковые и грозные — глаза.

— Садись, Четунов!

— Спасибо, — ответил Четунов, но остался стоять.

— Что, не терпится? — сказал начальник.

Быстрый и цепкий взгляд его как будто впитал Четунова в глубину маленьких острых зрачков; Четунов понял, что оценен, взвешен, прошупан в своей парусиновой рубашке с двумя карманчиками, свободных парусиновых штанах, горных ботинках, широком поясе с флягой.

— Карта? — спросил начальник.

Четунов похлопал по планшету с прозрачной целлюлозной стенкой.

— Чувствуется походная закваска! — сказал начальник, вторично отдав должное фамилии Четунова, и поднялся из-за стола. — Ну, желаю. Только условились: не зарываться!

— Есть не зарываться!

Они обменялись крепким рукопожатием.

Легким шагом Четунов вышел из палатки и направился к месту, где его поджидал самолет. Уже весь лагерь проснулся. Погромыхая пустыми бочками, в том же направлении, что и Четунов, промчался грузовик, за его толстыми шинами поднимались столбики пыли. Дувший

понизу ветер превращал столбики в вихорьки, вихорьки сливались в длинные тяжи, и Четунов знал, что если ветер не уляжется, то часа через два лагерь покроется желтым налетом пыли.

Из палатки вышел Морягин и, лениво потягиваясь, направился к бочке с водой. За ним показался Стручков в полотняном костюме и белой войлочной шляпе. Привычно ссутулившись, он зашагал к буровым. И у других палаток зашевелилась утренняя жизнь: мылись, брились, вскрывали консервные банки. Четунов смотрел на всех этих хлопочущих людей и вдруг с удивительной отчетливостью представил себе, что он не такой, что он всегда сумеет поставить себя над обстоятельствами. Недаром сегодня, когда они начинают свой обычный день, ничем не отличающийся от других дней, его, Четунова, хоть он и самый молодой здесь работник, ждет самолет, ждет интересное, большое, особое дело.

И самолет и летчик в самом деле уже поджидали Четунова. Самолет был старый, выдавший виды, с потемневшими металлическими частями и неопределенного цвета фюзеляжем. Летчик Козицын, немного знакомый Четунову, был под стать своему самолету обработан пустыней: с выгоревшими волосами, бровями и ресницами, с коричневым, в черноту, от загара лицом.

Взгляд Козицына, открытый, но какой-то слишком пристальный и оценивающий, не понравился Четунову, «Рассматривает меня, как сомнительную монету», — подумал он.

— Стало быть, летим? — сказал Козицын и засмеялся, точно удачной шутке.

— Выходит, так! — нарочито дурашливо подтвердил Четунов.

— Вообще-то нам в пустыню парами летать полагается, — продолжал Козицын. — Да напарник мой занят, воду возит, — и он снова засмеялся.

«Зачем он все это говорит? — подумал Четунов. — Проверяет меня, что ли?»

Но это легкое чувство неприязни, которое он испытал к летчику, почему-то убедило его, что на Козицына можно положиться.

Яростный рев мотора, могучий порыв ветра от пропеллера, хорошо охолодивший лицо, ощущение стремительно убегающей прочь земли взметнули душу Четунова,

Он почувствовал себя сильным и чистым, готовым к по-  
двигу.

Самолет круто набирал высоту. Вскоре огромный та-  
кыр превратился в пятно грязи на сером гофрированном  
бескрайнем пространстве пустыни. Четунов отнюдь не  
был очарован своей жизнью здесь, равнодушно относился  
к соседям по палаткам, но сейчас у него возникло такое  
чувство, будто он покидает клочок мира, уже согретый  
для него каким-то теплом.

Внизу плыла желто-серая гладь с редкими грядами  
барханов, кое-где поросших саксаулом. Края пустыни  
словно загибались кверху, и казалось, что самолет висит  
над гигантским блюдом. Так прошел без малого час, и  
внезапно Четунов увидел под крылом самолета озеро,  
окруженное крутыми, обрывистыми берегами и покрытое  
ослепительно белым, даже голубоватым снегом. В ту же  
минуту озеро стало стоймя, самолет резко пошел на сни-  
женке, и Четунов понял, что это мнимое озеро и есть сол-  
ончак Кара-Шор.

Четунов жадно смотрел вниз, но как ни старался он  
уверить себя, что это солончак, белая сердцевина каза-  
лась льдистой, заснеженной поверхностью настоящего  
озера. Ничто не выглядело так враждебно жизни, как эта  
гигантская ямина с обрывистыми бортами, похожая на  
мертвый лунный кратер. И впервые у Четунова шевельну-  
лось чувство: хорошо бы, все это уже осталось позади.

Козницы посадил самолет неподалеку от края солон-  
чака.

— Странное название для этого солончака — Кара-  
Шор, — сказал Четунов, выбравшись следом за Козницы-  
ным из самолета. — Сверху он кажется снежно-белым, а  
совсем не черным.

— Тут, видимо, под словом «кара» надо понимать не  
«черный», а «плохой», «гиблый», — спокойно пояснил Ко-  
зицын. — Местечко и впрямь гиблое, глина и соль. Попро-  
буй, сядь там внизу, на солончаке-то, враз завянешь по  
самые крылья. А вот интересно, товарищ Четунов,  
откуда она взялась, эта самая яма? Землетрясение,  
что ли?

— Нет, — с готовностью ответил Четунов, — землетря-  
сение тут ни при чем. Конечно, движение земной коры сы-  
грало известную роль, но вообще предполагают, что кар-  
стовые воронки образуются при растворении известняков

водой. Первоначально образуются мелкие воронки, затем они соединяются в более крупные, углубляются.

— А вода-то откуда?

— В древности здесь было море. Все видимое пространство было покрыто морем...— Четунову вдруг захотелось поделиться с этим простым и любознательным парнем всеми своими знаниями о пустыне. Он, вообще не любивший «объяснительных» разговоров, обнаружил в себе удивительную тягу к популяризации. «Что это я разболтался? — подумал он в ту же минуту.— Время, что ли, хочу оттянуть?»— Да, морем...— повторил он уже без всякого подъема.— Ну, хватит, пора за работу.

— Помочь вам? — предложил Козицын.

— Какая тут помощь?.. Вы лучше смотрите, чтоб самолет ветром не сдуло!

Четунов сказал это шутливо, желая показать Козицыну, что его несколько не смущает предстоящая работа. Но летчик воспринял его слова совершенно серьезно.

— Бывает иной раз. Но вы не сомневайтесь, я тут большие камни приметил, приторочу его тросиком, никакой ветер не возьмет.

«Только этого не хватало»,— вскользь подумал Четунов и, нахлобучив поглубже кепку, зашагал в сторону обрыва.

На ходу он несколько раз оборачивался и махал Козицыну рукой, но затем подумал, что это может произвести такое впечатление, будто он робеет, и заставил себя не оглядываться. Когда же, отойдя порядком, он все-таки оглянулся, то Козицына уже не было видно, только самолет крошечным жучком темнел на песке. А вскоре исчез и самолет, будто его всосал песок, и Четунов остался один.

Чувство печали и восторга охватило его сердце. Он как будто сверху увидел себя, маленькую бесстрашную фигурку, упрямо одолевающую мертвое знойное пространство. Что-то необыкновенно поэтичное было в том, что сын академика Четунова, Четунов-младший, словно молодой воин, принявший оружие из рук старого отца, вступил в поединок с неведомым.

Он подошел к расщелине, которая, извиваясь, вела глубоко вниз, к самому дну солончака. Сначала спуск был довольно полог и сложен глиной, но дальше, вниз, породы становились плотнее, они выступали вперед серы-

ми, зеленоватыми и красными ступенями гигантской лестницы (вероятно, мергели или известняки). «Как это писал отец? «Дорогая сердцу каждого геолога прекрасная обнаженность пород». Точно о женщине! — усмехнулся Четуннов. — Впрочем, женщины мало интересовали отца, у него была одна влюбленность — геология. Наверное, так и должно быть у каждого большого ученого. А я такой или нет?»

Но думать об этом оказалось неприятно, и Четуннов переключился на другое. Вот он наталкивается на что-то необыкновенное — какая-то мелочь, ничего не говорящая менее зоркому глазу. Но он хватается за эту мелочь, и в результате — новая блестящая теория возникновения этих гигантских карстовых впадин. Сперва краткое сообщение в газетах, значение которого понятно лишь немногим избранным, затем доклад в научном обществе, диссертация — тоненькая тетрадка, подобная «мемуару» Эйнштейна, но за нее присуждают докторскую степень...

Теща себя такими мыслями, Четуннов не оставался без дела. Он достал из рюкзака записную книжку, молоток и металлическую рулетку, поправил рюкзак за спиной, чтоб не мешал работать, и продолжал медленно спускаться. Одновременно он вел замер мощностей, зарисовку и краткое описание всех пересекаемых им пластов. Отбирать образцы он решил на обратном пути, когда полностью ознакомится с разрезами.

Поднявшееся высоко солнце пекло все сильнее, и уже после часа напряженной работы Четуннов почувствовал, что вся его рубашка просолилась потом и стала жесткой, как брезент, а голова под кепкой мокрая и горячая. Не было ни малейшего укрытия от зноя, лишь у подножия самых высоких ступеней ютились узкие полоски теней.

Четуннов взялся за флягу и почувствовал под рукой, какая она маленькая и легкая. «Нельзя», — строго приказал он себе и тут же ощутил сильнейшую жажду. Странно, еще минуту перед тем ему вовсе не хотелось пить, но стоило подумать о воде, как сразу появилось противное, ноющее чувство. «Нет, я не буду пить», — просто и строго сказал себе Четуннов и с радостью понял, что сможет удержаться. Это дало ему новое чувство самоуважения: он умеет быть жестким к себе, беспощадным к своим слабостям, недаром говорил отец, что без этих

качеств нельзя стать настоящим геологом-исследователем! Но раз так, раз он проверил, испытал себя, то нет ничего страшного в том, что он сделает один глоток. Когда придет действительная необходимость в самоограничении, он сумеет и вовсе обойтись без воды. Он отвинтил пробку и сделал глубокий глоток. Вода была прохладной и очень освежила Четунова.

Теперь он с живой энергией принялся за работу. Спуск становился все труднее, но этот привкус риска был приятен его крепкому, ловкому, молодому телу. Незамысловатая работа захватила Четунова. Да, это была рядовая работа, какую ежедневно с опасностью для жизни делают сотни геологов. Но именно этим она и была прекрасна. Сейчас Четунов находил поэзию уже не в случайной и легкой удаче, а в сознании того, что он один из тысячи неизвестных, скромных тружеников. Да, он будет рядовым геологом-поисковиком. Загорелый, обветренный, пропеченный солнцем, он неприметно пройдет свой жизненный путь, лишь немногие близкие будут знать настоящую цену простому подвигу его жизни. И только в старости, в близости конца, сделает он свой громадный опыт достоянием науки, и самая лучшая, печальная, запоздалая слава осенит последние дни его жизни...

Рукавом куртки Четунов провел по глазам. Он находился на крутом уступе, высотой около пяти метров. С немалым трудом, исцарапав руки и колени, спустился с этого уступа и, уже сидя внизу, подумал: «А зря я отказался от помощи Козицына, спускаться по веревке было бы куда проще. Опять это мое самолюбие, желание все делать самому. Нет, надо решительно вытравлять в себе все эти дрянные, мелкие чувствешки. Быть простым и сильным — вот линия моей жизни...»

Судя по замерам, он спустился уже более чем на двести метров. Значит, сейчас он ближе к дну впадины, чем к ее вершине. Четунов поглядел вверх, и невольный испуг кольнул его сердце: отсюда стена, по которой он спускался, казалась вертикальной. «Как же выберусь обратно? Да еще с полным рюкзаком? Ну, да об этом рано думать, сумел спуститься, сумею и подняться», — успокоил он себя.

Четунов продолжал свой медленный и опасный путь. Каждый метр спуска уводил его все глубже и глубже в геологическое прошлое земли. Пестрые слои мергелей и

красных известняков, острые края которых царапали его руки, образовались миллионы лет назад, когда здесь находилось неглубокое, но обширное море мелового периода. Присев передохнуть на один из выступов, Четунов стал пристально рассматривать эти слои. Словою листов тяжелые страницы, читал он древнюю летопись земли. Так добрался он взглядом до самого низа, где бледно, мертвенно мерцал гладкий соляной покров.

Дальше спуск стал еще тяжелее. Плотные известняки серого и розоватого цвета шли вниз почти отвесными ступенями. Цепляясь ободранными руками за малейшие выступы и припадая всем телом к известнякам, запорошившим его с головы до ног розовой мучной пылью, Четунов медленно, но упорно продолжал спуск. Порой мысль: «А как же обратно?» — жалила мозг, но Четунов гнал ее прочь, поглощенный одним желанием: закончить этот изнурительный спуск, расправить тело, а главное — напиться воды. Последнее стало самым сильным его желанием, но сейчас он не отваживался на поблажку себе. Один глоток не принесет облегчения, а тратить воду приходится расчетливо: кто знает, сколько еще пробудет он в солончаке.

В те секунды, когда он отрывал взгляд от стены и смотрел вверх, солнце било в глаза слепящими белыми стрелами, камни тоже раскалились и дышали в лицо жаром паровозной топки. Наконец его нога неуверенно коснулась ровной поверхности. Четунов утвердил на земле вторую ногу и, чуть поколебавшись, отнял руки от каменной глыбы, за которую перед тем цеплялся. Да, он крепко стоял на твердом дне солончака, трехсотметровый спуск остался позади.

Ослепительно белая, гладкая и ровная, когда на нее глядишь сверху, поверхность солончака вблизи оказалась разбитой на множество больших и малых многоугольников, но эти многоугольники не были панцирно-твердыми, как на такыре, а податливыми, словно разогретый солнцем асфальт. Слой соли оказался весьма тонким, сквозь него просвечивала темная сырая глина, от которой тянуло паркой духотой.

«Неуютный уголок», — слабо усмехнулся Четунов и невольно обратился взглядом туда, где в страшной выси клубилась золотистой пылью кромка отвесной, неприступной стены. Да, неприступной, теперь в этом не оста-

валось ни малейшего сомнения. А раз так, надо искать более пологий подъем. Но есть ли такой?

— Есть. Не может не быть! — вслух сказал Четунов и испугался своего голоса, странно прозвучавшего в мертвой тишине солончака. И вслед за этим коротким, как толчок, испугом пришел настоящий, тяжелый страх.

Отдыхать уже не хотелось, тело вновь стало нетерпеливым. Четунов отпил из фляги несколько глотков горячей воды и быстро зашагал вдоль подножия стены. Обогнув небольшой мыс, вдающийся в солончак, он увидел, что отсюда уходят вдаль все такие же, почти вертикальные обрывы, сложенные слоистыми толщами и совершенно лишенные каких-либо расщелин или трещин. Нечего было и думать подняться по этим стенам без помощи канатов и клиньев. «Похоже, я попал в западню», — подумал Четунов и нехорошо улыбнулся пересохшими губами.

То рабочее возбуждение, которое он испытывал во время спуска, исчезло без остатка, уступив место тревожной озабоченности. «Может быть, я не туда иду? Может быть, обрывы становятся менее крутыми не к востоку, а к западу?» И хотя для подобного предположения не было никаких оснований, он ухватился за него, как за истину, и быстро зашагал назад.

Вот он миновал место своего спуска и, пройдя еще с километр, вспомнил вдруг, что обещал геофизикам сделать полное описание разреза. Как же теперь быть? Ведь в другом месте, где он будет подниматься, разрез окажется иным, чем там, где он делал только замеры. Получится путаница! Но пристально взглядевшись в обрывистые берега «мертвого озера», Четунов увидел, что разноцветные слои пород на всем протяжении, охватываемом глазом, залегают строго горизонтально, не меняя ни цвета, ни мощности, а значит, и состава. Выходит, где бы он ни взял образцы, он всегда сможет указать на сделанной им зарисовке разреза тот слой, которому этот образец принадлежит. Вот что значит морские отложения!

Но тут же новая тревожная мысль погасила короткое удовольствие этого маленького открытия: «Раз так, и эти пласты везде одинаковы по своей мощности и составу, значит, они вдоль всей этой огромной впадины создают такие же неприступные обрывы. Куда бы я ни пошел, передо мной будут все те же отвесные стены!»

Что же ему делать? Он даже не может дать знать

Козицыну о своем положении: из-за выступов обрыва тот не в состоянии увидеть, как мечется по дну солончака попавший в беду Четунов. Попробовать держаться ближе к центру солончака? Опасно, говорил же Козицын, что там настоящая топь.

Спокойно, спокойно! Ведь не погибнет же он, в самом деле, когда под боком самолет, когда база в одном летном часе. Что за чушь, это все игра нервов. Надо обдумать положение, составить план действия...

«Значит, так: я пойду вдоль борта и буду искать подходящий обрыв. Если не удастся, вернусь к месту своего спуска и попытаюсь подняться там. Не выйдет, как-нибудь доберусь до центра впадины и подам сигнал бедствия: я буду махать рубашкой хоть шесть часов кряду. Если и это не поможет, буду просто ждать. В конце концов, Козицын, видя, что я не возвращаюсь, обязательно пойдет на розыски: он парень надежный, не бросит человека в беде. На самый худой конец Козицыну придется слетать на базу за подмогой. Ну, заночую в солончаке, тоже не беда».

Но в противовес этим трезвым мыслям услужливое и пылкое воображение рисовало ему безобразные картины гибели: его поражает солнечный удар, засасывает глинистая топь, ветер срывает самолет. Ему вспомнилось, что ящерица, лишенная возможности двигаться, погибает под таким солнцем через несколько минут, человек, конечно, выносливее: если он свалится, агония продлится не менее трех-четырёх часов. «В пустыне всякое бывает!» — стучало в мозг. Он гнал от себя эти мысли, боясь той слабости, которую и прежде смутно подозревал в себе и в которую все же не верил.

Чтобы вытеснить эти мысли, он стал думать о другом: о невольных виновниках его беды. Недаром ему всегда казалось, будто отец чего-то недоговаривает, рассказывая о своих путешествиях, да и не он один — все эти прославленные землепроходцы сознательно или бессознательно скрывали то стыдное и мелкое, что им наверняка довелось пережить в их походах. Да и кому охота говорить о своей слабости, когда дело сделано?

Четунов находил какое-то странное наслаждение в этих злых и несправедливых мыслях, словно заранее хотел оправдаться в какой-то дурной крайности, на которую решится, хотя и сам еще не знал, что это за крайность.

Солнце — добела раскаленный, почти бесцветный шар — стояло в зените, и всякий раз, когда Четунов взглядывал на него, — он почему-то перестал доверять часам, — ему приходилось на несколько секунд закрывать глаза. И тогда перед ним возникала кроваво-красная пелена с голубым лучистым отверстием посредине, будто пробитым пулей в стекле. Рот его обволокло липкой слюной, кожа на лице и руках зудела и чесалась от ожогов солнца, от мельчайших частиц соляной и известковой пыли. Неподвижно горячий воздух заключил все его тело в душный кокон.

Странным свойством обладает пустыня: свою пустоту и беззвучие она возмещает сонмом призраков, преследующих одинокого путника. Перед глазами Четунова то и дело возникали зыбкие, мгновённо тающие контуры высоких белых зданий, его ухо улавливало то странную тонкую музыку, то глухой треньк нагретого солнцем колокольчика. А порой слышалось будто журчание воды, и тогда еще сильнее хотелось пить. Он несколько раз брался за флягу, ее выцветшая матерчатая обшивка так нагрелась, что обжигала руки. Наконец он бережно завернул флягу в мешочек для образцов и спрятал ее в рюкзак.

От этих движений, казавшихся ему трогательными, невыносимая жалость к себе охватила Четунова. Он медленно побрел вперед, и сбоку от него, по серой, в трещинах, глине, заскользила его бледная, прозрачная, словно отошавшая тень. Ему представилось, что солнце пронизывает его фигуру, словно стекло, что тень его съеживается, бледнеет и вот-вот исчезнет совсем. «Меня ждет судьба бедного Петера Шлемиля, человека, потерявшего свою тень», — подумал Четунов и тотчас же вспомнил отцовскую библиотеку, где он часами просиживал за книгами. Как хорошо и спокойно мечталось ему тогда о будущих подвигах и открытиях, о яркой, необычайной жизни!

«Я не трус в обычном смысле слова, — думал Четунов, шагая вдоль полукруглого выступа, скрывавшего от него дальнюю перспективу впадины. — Я не боюсь умереть ради какого-нибудь большого свершения. Но погибнуть в этой вонючей дыре, погибнуть, еще ничего не сделав, унести с собой целый неосуществленный мир! Ну, будь я ничтожеством, но ведь это не так, я не из тех, кто проходит по жизни бесследно. Если я на этот раз уцелею, я на-

пишу такую книгу о пустыне, какой еще никогда не было. Эта книга не может, не должна погибнуть...»

Он достиг крайней точки мыса, и перед его натруженными глазами открылась все такая же уныло-суровая, однообразная картина: отвесный многослойный обрыв и под ним — уходящая вдаль, сверкающая гладь солончака. Лишь в синем мареве дали стена куда-то заворачивала, и там, близ самого заворота, темнели как будто расщелины. Боясь разочарования, Четунов тяжело вздохнул и мысленно прикинул расстояние: километров восемь—десять, не меньше.

«Даже если мне и удастся выкарабкаться отсюда, я доберусь до самолета лишь затемно. А тем временем Козицын решит, что со мной случилось несчастье, и полетит в лагерь за помощью. Так или иначе, мне придется заночевать в пустыне без пищи, без глотка воды». Но все это он придумывал, чтобы ослабить силу удара, если окажется, что и те дальние расщелины не помогут ему выбраться на поверхность.

И снова шагает он вдоль обрывистого берега «мертвого озера», ботинки его то разъезжаются на осклизлой глине, то глухо цокают по твердым обломкам, упавшим сверху. Жажда саднит гортань, обволакивает рот шершавой пленкой, и даже нет слюны, чтобы снять эту противную пленку, и он старается не думать о том, что во фляжке еще осталось, быть может, несколько капель воды.

Лишь через три с лишним часа добрался Четунов до первой расщелины. Мышцы перетруженных ног ныли и дрожали, нухла, болела голова.

Последние сотни метров Четунов шел как бы в беспмятстве, порой останавливался и беспомощно оглядывался вокруг, будто чего-то искал. «Нет, нет,— шептал он,— дойду, тогда выпью... тогда выпью, воды выпью, воды...»

И вот он дошел и опустился на камень. Даже не взглянув на расщелину, сулившую ему свободу, он дрожащими руками вытащил флягу, отвинтил пробку и припал губами к горлышку. Первый глоток он даже не заметил, не ощутил вкуса воды, зато второй процедил медленно, как прекраснейшее вино, а третий продержал во рту, пока влага как-то сама не испарилась. Он хотел сделать еще глоток, но фляга была пуста...

С трудом поднявшись на ноги, Четунов шагнул к подножию узкой, крутой расщелины, сложными извивами

взбегавшей кверху. Здесь, словно вспомнив о чем-то, он снял рюкзак, сложил в него все свое снаряжение, закинул его за спину и стал карабкаться по чуть пологой каменной стене. На высоте десяти метров путь ему преградил отвесный голубовато-серый обрыв известняков. Четунов спустился на узенький выступ. Он сидел совершенно неподвижно, закрыв глаза, ни о чем не думая, ничего не чувствуя, кроме страшной душевной усталости. Затем как-то лениво колыхнулась мысль: «Ведь есть же еще другая щель».

Он даже не спустился, а бессильно скользнул вниз, ободрав локти и поясицу. Издали казалось, что вторая щель находится рядом с первой, на деле же их разделял добрый километр, и Четунов шел этот километр без малого час. Вторая расщелина была гораздо шире первой, она напоминала ту, по которой он спустился в солончак. И хотя Четунов успел убедиться, как обманчивы эти расщелины, он крикнул громко и словно наперекор кому-то, кто держал его в этом проклятом каменном мешке:

— Выберусь!..

Он без труда одолел первые метры, но дальше подъем стал круче, и подошвы ботинок скользили. Четунов быстро разулся. Раскаленные камни больно ожгли подошвы сквозь тонкий шерстяной носок, но зато его ноги приобрели цепкость ладоней, и весь он стал удивительно легким. Четунов засмеялся, обрадованный этой новой легкостью, и вдруг радость сменилась испугом: он почувствовал пустоту рюкзака за своими плечами:

— А образцы?!

Поглощенный одним стремлением — вырваться из западни — он забыл о них. «Да нет,— сказал он себе.— Какие к черту образцы? Разве мне осилить подъем с полным рюкзаком?»

В памяти всплыло резкое, характерное лицо начальника. Каким крошечным казался отсюда этот человек! Неужели он, Четунов, мог всерьез с ним считаться? Четунов хрипло засмеялся. Но, думая о начальнике, он невольно со все большей отчетливостью вызывал в памяти его облик: кургузую, сильную, с наклоном вперед фигуру, короткий, властный жест, грозно-ласковые глаза, и против воли этот образ вновь приобретал над ним странную власть. Чтобы освободиться от нее, Четунов подумал со злостью: «Хорош начальник, послал неопытного человека

почти на верную гибель и бровью не повел! Да что я для него, что для него вся наша экспедиция? Трамплин для новой карьеры. Ну, а я вот не желаю приносить себя в жертву, пусть ищет дураков».

Но чувство освобождения не приходило. И Четунов заставил себя думать о другом. Пройдут годы,— быть может, совсем немного лет,— он снова будет в Москве, в привычном домашнем тепле, устроенный и благополучный, и ему вспомнятся его нынешние беды, которые издали покажутся маленькими и смешными. И, согретый этим воображаемым теплом будущего, он тут же придумал шутку про запас: «Пустынник из меня не вышел».

Прочь из этой гиблой ямы, из пустыни, от этого мерзкого солнца, от этих требовательных, беспощадных людей! Но, странным образом, движения его стали сейчас более медленными и затрудненными, будто на плечи ему легла какая-то невидимая тяжесть. Где-то, в самой глубине его существа, зашевелилось отвратительное ощущение, что ему никогда не разделаться с этой проклятой пустыней. Конечно, физически он рано или поздно выберется из нее, но она потащится следом за ним в Москву, в родительский дом, даже в сердце матери. Сам-то он сумеет справиться со всем стыдным и гадким, что он вынесет отсюда, но для окружающих он будет запятнан навсегда.

«О, чтоб вас всех!» — в смертной тоске простонал Четунов и опустился на каменную площадку.

С предельной отчетливостью овладело им чувство, будто множество невидимых существ вцепилось в него, не давая ему выбраться на волю. Он смутно различал среди них и товарищей-студентов, и профессоров, у которых учился, и тех двух-трех женщин, с которыми был близок, и уж совсем отчетливо — мать и отца. Всем им было за чем-то нужно, чтобы он подох в этом проклятом пекле! Ну, отец — тот и себя не привык щадить, измочалил себя о жизнь, как старый кнут. Но мать, мать — и она вместе со всеми!

«Ну и воспитывали бы как следует!» — бессильно выкрикнул он в лицо родителям. Спазмы рыданий больно схватывали гортань, но слез не было, так иссушило его солнце; ему казалось, что он глотает шершавые камни. Неужели же нет в мире ни одного человека, с которым можно быть самим собой? Человека, который любил бы тебя не выдуманного, а такого, каков ты есть на самом

деле? Ведь даже мать — теперь он убедился в этом — любила его выдуманного. Как чудно хорошо было бы найти женщину, которая знала бы о нем все, даже самое жалкое, сокровенное, и любила бы его не меньше, потому что знала его другую, высокую, ценную сущность! Он вдруг так ясно представил себе эту прекрасную, щедрую сердцем женщину, добрую, умную и бесконечно преданную, что на миг ему почудилось: она тут, рядом с ним. Но миг промелькнул, и кругом было все то же: камень, зной, пустота. Четунов поднялся, покорно, отчаянно и бессильно заскользил вниз...

Оказавшись у подножия склона, он скинул рюкзак, достал молоток и, скривившись от отвращения, вырубил в самой нижней части обрывка кусок белого известняка, насекал на нем единицу, сделал пометку на своей зарисовке. Так же поступил он, когда поднялся метров на пятнадцать и пересек прослой красноватых известняков. Карабкаться вверх становилось все труднее, но Четунов упорно вырубал образцы и складывал их в мешок, пока не прекослось внезапной судорогой усталости сердце. Он опустился на камни, отер с лица грязный пот и увидел, что висит над пропастью. Десятки пульсов враз громко забились в его теле, но то был лишь автоматический отзыв тела на опасность.

«Ну и сорвусь,— думал Четунов,— и пусть!» Он поднялся, чувствуя бездну в вершке от своих пяток, и стал вырубать кусок розовато-белого известняка. Мелкие, остроугольные выступы не поддавались удару молотка, ему удалось отщепить лишь два крошечных кусочка. Тогда, повинувшись тому же злорадному чувству, Четунов достал зубило и принялся вырубать один из крупных выступов. Затем он вновь полез вверх. Зной опалял лицо, слепил глаза, сухой рот не хотел принимать горячий воздух, пропитанный пылью, тяжелый мешок тянул вниз, а Четунов упорно, метр за метром одолевал наиболее крутую и узкую часть подъема. Инстинкт самосохранения вел его, словно умный поводырь, подсказывал, куда ставить ногу, за какой выступ ухватиться, где проползти, а где пройти в рост, где смело прыгнуть, где пробежать, едва касаясь кончиками пальцев сыпучего, неверного грунта. Казалось, мозг не принимает никакого участия в этой борьбе за жизнь. И столь же безотчетно Четунов отбивал, помечал и складывал в мешок образцы; и когда он, наконец, ступил

на ровную поверхность, то не испытал ни удивления, ни радости, словно все время был уверен, что так оно и должно быть. Он только ощущал смертельную усталость, у него болели исколотые, израненные, обожженные ноги, тяжело набитый рюкзак тянул к земле.

Скинув рюкзак, Четунов прилег у самого края обрыва и стал равнодушно глядеть сверху на только что пройденный страшный путь. Недалеко от того места, где он лежал, солончаковая впадина узкой горловиной соединялась с другой впадиной, уводившей к горизонту. И Четунов, хорошо помнивший морягинскую карту, заметил в ней одну неправильность: на карте горловина выглядела совсем короткой, в действительности же она представляла собой длинный, в полкилометра, каменный коридор. Верно, из-за этой ошибки аэрогеологи и отдали «синьку» Морягину.

Эта чужая ошибка подбодрила Четунова. Он приподнялся и стал массировать одеревеневшие икры. Вдруг он услышал гул самолета. Самолет прошел так низко над краем впадины, что Четунов невольно пригнулся. Козицын все-таки пашел его! Это была неожиданная удача, но Четунов ощутил не радость, а скорее досаду. Ему не хотелось встречаться сейчас с Козицыным, чувствовать на себе его пристальный, словно ощупывающий взгляд.

«Обязательно спросит, почему я босой», — подумал Четунов, глядя на подруливающий к нему самолет. Его так обозлило, что он должен кому-то давать отчет в своих поступках, что он почти не слышал первых слов Козицына. Летчик чему-то радовался, верно, тому, что так ловко его разыскал, но Четунова раздражала его радость.

— А где же ваши ботинки?

— Я их снял, видите ли, фасон не понравился, — сквозь зубы проговорил Четунов.

Козицын округлил брови. Он смотрел на Четунова со смешанным чувством жалости и любопытства. Уже не в первый раз на его глазах уходили люди на великую проверку пустыней, и он знал, как нелегко давалась многим из них эта проверка. Не раз отвозил он в далекие уголки пустыни самоуверенных, пышущих бодростью и наивностью юнцов, а встречал притихших, поскромневших людей. Но он не смущался подобной переменой, ибо знал, что так приходит зрелость, что прибитость пройдет, забудется, а мужество и новое знание себя останутся навсегда.

Но этот ему не понравился. Не понравился откровенно растерзанный облик, босые грязные ноги в паголенках от носков, весь бесстыдно размундиренный вид (как у дезертира, подумал про себя Козицын), не понравился пустой и вместе затаенный взгляд Четунова и то, что он встретил его молчанием. Или уж больно туго пришлось ему и слишком много неожиданного узнал он там о себе?

— Видать, солоно пришлось в солончаке-то? — спросил летчик и, не дождавшись ответа, добавил: — Хотите пить?

— Пить... — рассеянно отозвался Четунов. Он все время чего-то ждал от Козицына, хотя и сам не знал чего, это было как предошущение опасности. Но, услышав дважды слово «пить», произнесенное сперва летчиком, затем им самим, он машинально схватился за фляжку. Лишь приметив удивленный взгляд летчика, он сообразил, что фляжка пустая, и хотел было убрать руку, и тут во фляжке что-то болтыхнулось. Не веря себе, Четунов поднес горлышко к губам, и несколько горячих капель упало ему на язык. Он и сам не мог взять в толк, откуда оказались там эти капли.

— Никак у вас сохранилась вода?

Четунов подметил сперва восхищенную интонацию в голосе летчика, затем дошел до него смысл вопроса. И ответ родился легко и просто, точно он заранее был готов у Четунова:

— Пришлось воздержаться. НЗ.

Эта неожиданная ложь дала ему точку опоры. И когда Козицын принес из самолета термос и, держа его обеими руками, почтительно протянул Четунову, тот подумал: «Э, да он начинает уважать меня».

А Козицын и впрямь начал уважать Четунова. Ему, человеку простому и мужественному, и в других легче было видеть хорошее, сильное, нежели низменное, дурное. А когда он поднял с земли тяжело набитый образцами рюкзак Четунова, у него возникло чувство вины перед этим измученным, истерзанным, но хорошо сделавшим свое трудное дело человеком. И невпопад, желая скрыть смущение, он принялся рассказывать Четунову про одного шофера, заблудившегося в песках. Решив, что ему уже не выбраться, шофер написал на тыльной стороне кисти: «Прощай, мама, прощай, жена». А на следующее утро, когда его разыскали с воздуха, ему очень стыдно было...

— Я это к тому говорю,— добавил Козицын, чувствуя, что рассказ его звучит не очень-то ловко,— что у нас человека никогда в беде не оставят.

Он украдкой посмотрел на Четунова, но у того на лице было лишь вежливое и безучастное внимание. Четунов в самом деле и слышал и не слышал Козицына. С той минуты, как он перестал его опасаться, он почувствовал внутри себя странную, незнаемую прежде пустоту, будто его всего выжгло, как эту пустыню.

Уже сидя в самолете, Четунов вдруг вспомнил историю, рассказанную летчиком, и подумал: «Вольно же было шоферу расписываться в своей слабости. Вот о том, что было со мной, знаю я один».

Он долго смаковал эту мысль, но она не дала ему облегчения.

«Может быть, даже хорошо, что мне так плохо сейчас? — думал Четунов.— Кто скажет, как создается в человеке характер?» Но пустота внутри него не давала заговорить себя словами, и Четунов бросил думать. Некоторое время он смотрел в затылок Козицыну. Круглая голова летчика в кожаном шлеме напоминала футбольный мяч. Наконец Четунов неприметно для себя уснул и не проснулся даже при посадке. Козицын сбегал и притащил ведро воды, тряпки, свежую рубашку и только после этого растолкал Четунова.

— Спасибо, спасибо...— бормотал Четунов, выбираясь из самолета.

События дня сразу всплыли в сознании, но воспоминание утратило былую едкость. С ним на факультете учился студент, участник Отечественной войны, у него под самым сердцем лежал не извлеченный при операции осколок снаряда. Студент говорил, что осколок ему не мешает, хотя он всегда ощущает его присутствие. И только при неосторожных, резких движениях осколок обнаруживает себя острым уколом.

«Так будет и с этим,— подумал Четунов,— и пусть напоминает о себе боль, это не должно пройти для меня бесследно, но я живой и хочу жить».

Он с удовольствием окатился прохладной водой, вымыл ноги и, обмотав их сухими тряпками Козицына, натянул ботинки. Причесываясь перед маленьким круглым зеркальцем, он с удовольствием пригляделся к своему почерневшему, подсушившемуся и потому более чет-

кому и выразительному лицу. И уже совсем бодро сказал Козицыну:

— Иду доложить по начальству. Рубашку и прочее снаряжение верну завтра...

Но, подойдя к палатке начальника, он вдруг испытал раздражение против этого холеного, самоуверенного и чем-то импонирующего ему человека, который никогда не сможет оценить по достоинству то, что он, Четунов, сделал, ибо благородная полуправда страданий Четунова несколько его не интересует. «Что ж, выполнили задание?» — мысленно передразнил Четунов.

И вот то ли из бессознательного желания вознаградить себя за то, что действительно было, но о чем он не мог говорить, то ли из желания удивить начальника, то ли потому, что на карте участок, пройденный им с такой мукой, казался ему совсем крошечным, но Четунов решил на маленькую, вполне безобидную ложь. Показывая на карте район, который он обследовал, Четунов небрежным движением пальца обвел и часть второй впадины.

— А, так вы и во второй впадине побывали? — сказал начальник.

— Да,— кивнул Четунов и немного поспешно добавил: — Карта тут не совсем точна: на деле горловина имеет вид длинного коридора.

— Так, так, интересно,— одобрительно сказал начальник.— Значит, уточним: вы прошли вот от этой точки до конца впадины, затем миновали горловину и обследовали вторую впадину до этой точки. Так? — Он взял карандаш и легкой линией отметил настоящий и воображаемый путь Четунова.

Четунову стало противно: эта едва приметная линия как бы закрепила его ложь. «И чего он привязался ко второй впадине? Можно подумать, что в ней все дело».

— Так, а почему же вы снова вернулись в первую впадину? — дотошно выспрашивал начальник.

— Значит, надо было,— грубо и нетерпеливо ответил Четунов.

Он продолжал свой доклад, то и дело прерываемый вопросами начальника. И чем дальше, тем короче, отрывистей становились ответы Четунова. Ему вдруг почудилось, что начальник его на чем-то ловит. «Может быть, он чувствует, что я недоговариваю что-то. Может быть, в мо-

их ответах есть незаметные мне самому провалы. И зачем только приврал я насчет второй впадины, все было бы так хорошо!»

Настроение Четунова все более портилось, но начальник словно не замечал этого. Выспросив до конца, он наговорил Четунову много лестных слов, присовокупив, что ему будет объявлена в приказе благодарность. Это несколько не тронуло Четунова. Он поймал себя на странном чувстве: ему казалось, будто его хвалят не за то, что он действительно сделал, а за мнимый осмотр второй впадины. И хоть это было неправдой, вдруг уверился, будто главного-то он и не выполнил. Случайная ложь как-то странно обесценила его работу в собственных глазах.

Когда Четунов вышел из палатки начальника, уже померкло, закат проложил на небе зеленые, оранжевые и пунцовые полосы, серый такыр подрумянился, и в этих предвечерних красках окрестный простор уже не казался таким голым и бесприютным.

Его совсем разморило, хотелось в постель, даже не ради сна, а чтоб уйти из этой долгой, мучительной яви, уйти от самого себя. Но в палатку идти он не решался, ему не хотелось никого видеть. Начнутся расспросы, еще заставят выпить в честь «боевого крещения», и тут он обязательно сорвется: слишком перенапряжены нервы.

Он прошел прочь от палаток, туда, где в голубой дымке надвигающихся сумерек чернели тонкие скелеты буровых вышек. По пути ему попались сложенные в штабель старые ящики. Он прошел за ящики и прилег на приятно теплую дневным теплом землю. Розовые тяжи облаков сплели на небе сложный узор и вдруг начали быстро, зримо таять.

Четунов знал, что ему надо обдумать события сегодняшнего дня, принять какие-то решения, но усталый мозг родил лишь одну коротенькую мысль: «Если все обойдется, я буду иначе жить». Он сразу заснул, будто провалился в темный погреб.

— Сергей Сергеич! Сергей Сергеич!

Четунов сквозь сон узнал высокий, детский голос мощника бурового мастера Савушкина. Он открыл глаза и удивился обступавшей его ночи. Низко над ним висело усеянное крупными звездами небо. Круглое лицо Савушкина казалось зеленым, как у русалки.

— Сергей Сергееч!..— отчаянно зывал Савушкин.— Да проснитесь же! Прямо с ног сбился, а вы вон куда забрались. Вас к начальнику требую!

Сбившись с ритма, больно заколотилось сердце, как на морозе, защипало кончики пальцев.

— Что за срочность такая? — растягивая слова, чтобы выиграть время, спросил Четунув и медленно поднялся.— У начальника есть кто?

— Там эти... как их... археологи приехали. Я краем уха услышал, будто они в сотне километров от нас надгробья какие-то открыли...

«Вот оно! — подумал Четунув, шагая рядом с Савушкиным. Сердце колотилось так сильно, что он отстранился от Савушкина, боясь, чтобы тот не услышал.— Все ясно — это вторая впадина! Иначе не к чему было начальнику так срочно меня разыскивать. Спокойно, спокойно! — твердил он себе, стараясь овладеть мыслями, которые стремительными скачками неслись вперед, к последней беде.— Видимо, они обследовали вторую впадину и наткнулись там на древнее кладбище. Ну в конце концов я мог находиться там, когда их уже не было. Но надгробья! Не мог же я не видеть эти проклятые надгробья! Ах, если бы только знать, как они выглядят!»

Тщетно пытался Четунув вообразить их, он видел совсем иное: налитые кровью, гневные и насмешливые глаза начальника, злорадную усмешку на лицах товарищей и себя, жалкого, растерянного, лепечущего глупые, бессильные слова. Он так громко застонал, что Савушкин сдержал шаг и недоуменно посмотрел на него.

— зуб, зуб болит...— пробормотал Четунув, берясь за щеку.

— Хотите, я вам йоду достану?

— Да, да... после...

Четунув затравленно оглянулся. В слабом ночном свете бледно светился черепаший панцирь такыра, а вокруг на тысячи километров простиралась пустыня. Но эта бескрайняя ширь была той же темницей: некуда бежать, негде укрыться...

Все, что произошло вслед за тем, Четунув воспринимал, как сквозь сорокаградусный жар. Он все видел, все слышал, отвечал на вопросы и, кажется, впадал, но вместе с тем не знал, что из происходящего принадлежит яви и что — бреду.

Все было близким, осязаемым и в то же время страшно-далеким, как паровозные гудки в ночи.

Когда он вошел, его встретили смех и громкие шуточные выкрики. «Вот оно, начинается», — отметил про себя Четунув, чувствуя, что рот его растягивается в напряженную, неестественную улыбку, от которой больно щекам. Затем его познакомили с какими-то странными людьми. У одного были длинные, страусиные ноги в узких белых брюках, маленькая взъерошенная голова, острая борода; другой был молод — чуть старше Четунова, круглолиц и страшно застенчив, он все время беспричинно краснел, потупляя глаза. У старшего оказался густой, рыкающий бас, совершенно оглушивший Четунова. В этом рыке Четунув все время слышал свою фамилию, и прошло время, прежде чем он сообразил, что речь идет не о нем, а о его отце. Затем, дергая себя за пучки мягких седых волос, этот странный человек что-то рычал о надгробьях и снова называл имя его отца, круглое лицо молодого покрывалось румянцем, а начальник смеялся и тяжелой рукой хлопал Четунова по плечу.

И Четунув понял наконец, что открытие этих археологов подтверждает какую-то гипотезу его отца, который любил совать свой нос в чужие владения. Тогда он стал мучительно соображать, в какой мере это может облегчить его положение, и тут начальник заговорил о нем, о его сегодняшней экспедиции и говорил что-то хорошее, доброе, потому что оба археолога казались очень довольными: молодой, улыбаясь Четунуву, радостно краснел, а старший прогрохотал: «На то он и Четунув, черт побери!» Стало ясно, что открытие археологов не имеет никакого отношения ко второй впадине, все это произошло в совершенно ином месте и все муки его, Четунова, были напрасны. Ему стало так обидно, что он едва не заплакал, а начальник вновь и вновь похлопывал, затем гладил его по плечу и советовал отдохнуть.

А затем все исчезло, Четунув стоял один посреди пустой ночи, и постуденевший ветер, словно мокрой тряпкой, охлестывал его потное лицо.

«Какой же я дурак! — стиснув пальцы, думал Четунув. — Вообразить, что надгробья могут находиться внутри карстовой воронки! Такая нелепость не придет в голову даже малолетнему школьнику. Нет, надо взять себя

в руки, иначе черт знает до чего дойдешь. Завтра я начну новую жизнь...»

И он так ясно представил себе эту новую жизнь, что ему нестерпимо захотелось, чтобы скорей пришел завтрашний день. Он уже видел себя иным: прямым, честным в каждом слове, в каждом душевном движении, решительным, не ведающим ни страха, ни колебаний, таким отличнейшим человеческой...

Толкнув парусиновую дверцу своей палатки, Четунов вошел внутрь. Горел ночник. Постель Стручкова была пуста, верно, он, по обыкновению, пропадал на буровых, а Морягин спал, уткнувшись лицом в подушку и тяжело сопя. На столике, под стеклянным колпаком, в той страшной духоте, какую он и сам сегодня познал, подыхала ящерица. «Почему я не освободил ее утром? Слабость, нерешительность, вот с мелочей все и начинается!» Четунов посмотрел на рыхлую, смятую подушкой щеку Морягина, шагнул к столику и резким движением скинул банку. Упав на ребро, банка тренькнула, но не разбилась. Морягин чмокнул губами, как будто поцеловал подушку, и продолжал спать. Ящерица оставалась неподвижной. Свет ночника играл на ее глянцевиной, будто отлакированной коже, холодно и бледно отражался в мертвых бусинках глаз.

Четунов шатнулся, как от удара в грудь, упал плашмя на свою кровать и заплакал.



---

## Юрий Нагибин

### СЛЕЗАЙ, ПРИЕХАЛИ...

Около восьми часов утра в пустынной приемной директора Замостьевской МТС сидел пожилой человек с бурым от зимнего загара, худым, морщинистым лицом. На нем был черный, пробелевший в проймах нагольный полушубок, ватные штаны и валенки в самодельных калошах из автомобильной камеры. За поясом — старым солдатским ремнем — торчал кнут с новым кленовым кнутовищем. Человек сидел в кресле, на самом краешке, упершись руками в колени, рядом с ним на полу лежала старая шапка с вытертой лисьей опушкой и большие брезентовые рукавицы.

Достаточно было беглого взгляда, чтоб сразу угадать занятие человека — ездовой. Да, Сергей Данилович Марушкин работал ездовым Замостьевской МТС, расположенной в маленьком районном городке.

Кроме ездового, в приемной, за столом, уставленным телефонами, сидела молодая женщина в кокетливой шелковой кофточке и больших валенках, секретарь директора Марина Петровна. Она что-то быстро-быстро писала, уронив на бумагу густую прядь волос. Ездовой не раз с тоской взглядывал на секретаря, видимо желая о чем-то спросить, но не решаясь оторвать ее от работы. Наконец он не выдержал:

— А не скажешь ли, Марина, что это я нынче ни свет, ни заря понадобился?

— Агроном из Москвы прибыл, в колхоз повезете.

— Агроном — это хорошо! — одобрил ездовой.

Марина подняла голову, как-то разом утратив интерес к тому занятию, которому только что самозабвенно предавалась.

— Девчонка, от горшка два вершка! Видать, только институт кончила.

— Ну, это ты зря, Марина,— строго сказал ездовой.— Знаешь поговорку: мал золотник, да дорог... Куда же мне ее везть?

— Не знаю, мне не докладывают,— отрезала Марина.

Ездовой вздохнул и отвернулся к окну. На дворе медленно расцеживалась ночная мгла, переходя в сумеречное, пепельное утро. Как будто без зари, без солнечного восхода рождался из ночи хмурый февральский денек. Но, охватив привычным взглядом даль меж городских построек, ездовой увидел, что над черной полоской леса мглистое небо чуть тронуте желтизной, будто мазнули кисточкой.

Он еще подвинулся к окну и увидел двор и свою лошадь, впряженную в розвальни. Ладный меринок с гладким, сытым крупом в колечках влажной шерсти пытался ухватить зубами обросшую ледком стойку крыльца.

— Балуй, чтоб тебя!..— любовно выругался ездовой, как-то не сообразив, что меринок не может его услышать, зато отлично слышит Марина. Его дубленое лицо стало цветом в медь; искоса, одним глазом, глянул он в сторону секретарши, но Марина, по счастью, вышла из приемной.

В глубине двора стояла эмтеэсовская «Победа» с сопревшим брезентовым верхом, до самой крыши облипшая снегом.

«Значит, со станции агронома на «Победе» доставили,— подумал ездовой.— Ну, а в колхоз-то после вчерашнего снегопада разве на ней проедешь? Дудки! Тут четырехногого вездехода подавай!.. А куда, интересно, ее направят? Скорей всего к петровцам, им без специалиста зарез... А может, в «Богатырь»? Ихний председатель давеча шумел насчет агронома...» По привычке пожилых одиноких людей ездовой не заметил, как стал размышлять вслух:

— В Стрельникове и Двориках тоже агронома ждут... Ей-то, конечно, в «Богатырь» интересней. Там и клуб, и житуха поважней...

— Только председатель ой-ой! При нем не разгуляешься! — произнесла за его спиной Марина.

— А у тебя одни гулянки в голове,— через плечо бросил ездовой.

Марина не успела ответить. Дверь, ведущая в кабинет, распахнулась, и показался директор МТС Окунчиков в сопровождении маленькой девушки в городской шубке с серым барашковым воротником и такой же шапочке. Из-под шапочки на лоб, на круглые румяные щеки выбивались тонкие светлые волосы. В руке она держала чемодан с привязанной к ручке авоськой, набитой какой-то снедью.

У Окунчикова за последние горячие месяцы появилась новая привычка: он, словно конь, наскочивший на препятствие, то и дело закидывал голову назад и немного вбок. Так и сейчас, поздоровавшись, он кивнул головой и сказал:

— Вот, Сергей Данилыч, отвезешь товарища агронома в Петровское, в колхоз имени Первого мая, да! — Он снова мотнул головой и добавил с улыбкой: — Только вези поаккуратней. Ну, счастливо вам устроиться,— обратился он к агроному.— Если что — связывайтесь прямо со мной.

Окунчиков протянул девушке руку, та подала свою и быстро отдернула, точно боясь, что директор причинит ей боль.

Пока Окунчиков говорил, ездовой со смешанным чувством симпатии и жалости разглядывал агронома. Ей можно было дать лет шестнадцать—семнадцать. А вообще-то птичка-невеличка, она рядом с крупной Мариной казалась совсем крошечной. Серые хмуроватые глаза и надутые пухлые губы придавали ей вид девочки-буки. В легкой шубке, шелковых чулках и отороченных мехом ботинках она выглядела ужасно не приспособленной к суровому февральскому простору Замостьевской глубинки.

«Будто на прогулку оделась, дите малое!» — с насмешливой нежностью подумал ездовой и обрадовался, что захватил овчинный тулуп, а в розвальни напихал чуть не воз соломы.

Они вышли на улицу.

— Прошу,— сказал ездовой.— Саночки неказисты, зато по нашим дорогам в самый раз! — И когда девушка уселась, он закутал ее в тулуп, подоткнув полу ей под ноги, обложил соломой. Хозяйствуя так, ездовой коснулся

ее холодных ножек, и сердце его облилось давно забытой, да лишь в мыслях изведанной отцовской нежностью. «Ведь и у меня такая могла быть, не помри Марья Васильевна двадцать два года назад», — подумал ездовой.

— Ну как, тепло? — спросил он вслух, а про себя добавил «дочка».

— Ничего, — низким, как у обиженных детей, голосом произнесла девушка.

— Н-но, мила-а-ай! — пропел ездовой и странно неловко, после всех своих ладных движений, боком упал в сани. Левая нога его деревянно выторкнулась из саней, и стало видно, что это протез...

Запущенная недавним снегопадом, дорога была почти неприметна на снежной равнине. Но меринок, чувствуя под копытом, целиком уходящим в снег, твердый наст, бежал уверенной, ходкой рысью. Однообразный, унылый в бесцветье дня простор окружал путников. И по правую и по левую руку от них разворачивались ровные поля. Лишь бегущие цепочкой телеграфные столбы, то высокие, в полный рост, то короткие, чуть-чуть не до проволоки ушедшие в снег, говорили о том, что под навалом снега равнину пересекают балки, а кое-где и небольшие всхолмья. Порой мимо проплывали редкие перелески и вдруг скрывались из виду, будто таяли в тускло мерцающем свете дня.

Долгое молчание утомило ездowego, он повернулся к закутанной в тулуп неподвижной фигурке.

— Из Москвы, значит? — спросил он и подмигнул девушке, словно намекая на какое-то тонкое, им двоим известное обстоятельство.

Верно, она не была расположена к разговору, а в глубоком воротнике тулупа не видно кивка, но ездовой угадал «да» по движению длинных ресниц.

— Вы это как, позвольте спросить, по разверстке или добровольно?..

— Добровольно!.. Или клади билет па стол, или добровольно, — тихо и сумрачно донеслось из пещерки воротника.

Ездовой то ли не понял ответа, то ли услышал в нем то, что хотел услышать.

— Хорошее дело! Обживетесь у нас — домой не потянет!

Девушка промолчала.

Сани, легонько покачиваясь, плыли по белому, ни конца ни края, снежному морю.

— Как пусто здесь, голо...— тихо, словно для себя, проговорила девушка.

— Так то зимой! — встрепенулся ездовой.— Посмотрели бы летом — ковер! Тут у нас как раз луга Стрельниковского колхоза, а в старое время одна болотная топь была. Хорошая трава только по обочинам да кой-где под кусточками росла...— Тыкая кнутовищем то вправо, то влево, ездовой принялся рассказывать, где какие лежат земли, угодья, владенья и почему у одних хозяев дело спорится, а у других вразлад пришло.

— Вы местный? — прервала его девушка.

— А то как же! — чему-то обрадовался ездовой.— Самый что ни на есть местный! Тут родился, тут всю жизнь прожил, тут и в войну партизанил и ногу свою схоронил, — он повел кнутовищем за поля, на черный валик леса, обрамлявший равнину, и уселся поудобнее, готовый к неизбежным в таких случаях расспросам, но девушка вновь замолкла, ушла в себя.

Ездовому было немного обидно, что родной его край предстал перед москвичкой в таком невыгодном свете. Сам он никак не ощущал эту землю пустой и голой, каждый ее клочок был связан для него с какими-то воспоминаниями, с чем-то милым или грустным, добрым или печальным. Но как поведать об этом ей?..

Будь она мужчиной, ездовому было бы легче. Он бы мог рассказать ей вон о тех, чуть темнеющих вдаль камышах Пучикова болота, где по осени с ружьем да резиновой лодочкой за одно утро набьешь два-три десятка чирков. А за Пучковым болотом — невидное под снегом Сватеево озеро, да бывают ли где такие уловы карасей и карпов! А богатейшая охота в том дальнем лесу, едва выступающем над краем земли: и птица всякая и зверь — мелкий и крупный!..

Будь она мужчиной, ездовой рассказал бы ей о том, как на опушке этого леса, в памятном сорок третьем году, горстка партизан держала оборону против батальона немцев, и сколько хороших товарищей схоронено там, под усыпанным хвоей дерном, и там же спит его добрая, живая, теплая нога. Но ни к чему все эти рассказы молодой девушке. Ездовой вздохнул и произнес вслух:

— Места у нас грибные, ягодные...

Все еще думая о своем, он сказал эти слова безотчетно и услышал их как бы потом, они показались ему бедными, жалкими. И он усмехнулся над собой, старый человек, и быстрее погнал коня. Дорога пошла под уклон, затем, круто изогнувшись, мимо еще закрытой чайной, взбежала на новый железный мост через Ворицу. Ездовой попрिдержал меринка.

Живая голубизна проточила серую хмарь неба, и слабый солнечный свет подзолотил снега, зажег крест на колокольне старой церкви, стоявшей над обрывом другого, высокого, берега реки. Ложе Ворицы не было заснежено, его постоянно обдували оскользящие с кручи ветра, ясно и чисто сверкал зеленоватый лед. Близ одного из быков моста чернела огромная прорубь, уже подернутая игольчатым льдом. Несколько человек в ватных куртках и штанах тащили из проруби ровно вырубленную глыбину льда. Глыбина ворочалась, показывая из воды толстенные, склизло-голубоватые бока. Люди то в лад тянули льдину, выпевая что-то, то вдруг начинали суетиться, размахивать руками и громко ругаться, затем они вновь тянули, подталкивая ломами тяжелую ледяную плиту.

Немного отступя от проруби, высился штабель ровных кубических глыб и, держа путь на этот штабель, надсадно воя, пробивался по берегу грузовик. Колеса то и дело буксовали в глубоком рыхлом снегу, водитель выскакивал из кабины, швырял под колеса рваный полушубок, затем, раскачав машину, прорывался на несколько метров вперед и снова тонул в снегу.

— К чему все это? — зябко поежившись, сказала девушка.

— Как это — к чему? — засмеялся ездовой. — Лед готовят.

— Ведь холодно им! — испуг прозвучал в ее тихом голосе.

— Чего там — народ от холодной закалки только крепче становится. — Ездовому показалось, что он сказал что-то очень складное, он довольно улыбнулся, и от этой большой, доброй улыбки лицо его даже несколько разгладилось, морщины сбежали на лоб и к углам глаз.

Дорога за мостом пошла круто в гору, и меринок совсем сбавил шаг, но ездовой не стал его погонять, уж больно хороший открывался отсюда вид. Хороша была светлая, льдистая Ворица в поросших темной сосной берегах,

хороша была и горка с церквушкой, спустившей свою голубую тень до самой реки, и даже песчаный, удивительно рыжий карьер, открывшийся за мостом, тоже был хорош. Застенчивое чувство мешало ездovому спросить: ну, какво? Но он и так был уверен, что не может человеческого сердце остаться глухим к этой извечной, милой, простой русской красе. Но вот карьер скрыл ложе реки, дорога вновь пошла ровным полем, и впереди черным пятном возникла деревушка.

Деревушка стояла на взлобке косогора, над ручьем. По заснеженному ложу тянулась черная ниточка живой воды, ручей был теплый, незамерзающий. Окраинные дома и риги лепились низко по откосу, и казалось, деревенька сползает к ручью.

— Н-но, резва-а-ай! — гаркнул ездovый, приподнявшись в санях.

И послушный меринок заскакал каким-то странным козлиным галопом. Промелькнуло скромное деревенское кладбище, обросший льдом сруб колодца с длинной ногой журавля, и мимо побежали темные избы небольшой, в одну улицу, деревни.

Въезд получился хоть куда. Народу на улице было как в праздник, стар и млад провожали взглядом лихие сани. Жаль, не пришлось осадить у самого крыльца правления, ездovый еще издали приметил крупную фигуру председателя колхоза Жгутова.

Андрей Матвейч Жгутов, восемнадцатый председатель Петровского колхоза, стоя посреди дороги, беседовал с группой колхозников. Трудно быть восемнадцатым. С одной стороны, велика цифра, тяжело знать, что столько людей уже сложили голову на твоей должности, а вместе, хоть и велика, да не кругла, все кажется, что быть и девятнадцатому и двадцатому. Может, оттого и казался Андрей Жгутов, мужчина крупный и статный, с черной, словно налакированной, щетиной на сытом румяном лице, то ли робким, то ли смиренным.

— Здорово, Матвейч, принимай гостей! — закричал ездovый, натянув поводья, и сани будто вмерзли в землю перед председателем.

Жгутов поздоровался, приподняв шапку, что-то сказал своим собеседникам и не спеша, с какой-то слабой, неразвернутой улыбкой на сухих, лиловых губах подошел к саням.

— Вот агронома к вам привез, товарищ прямо из Москвы,— гордясь, сообщил ездовой.— Просим любить и жаловать.

Кивая головой и улыбаясь своей слабой улыбкой, Жгутов сверху вниз смотрел на агронома и не знал, что сказать. Наконец он нашелся:

— Добро пожаловать...— и потянулся за чемоданом.

Но девушка не дала ему чемодан; крепко держа его за ручку, она выскочила из саней и быстрой походкой, впереди председателя, засеменила к правлению.

А ездовой привязал меринка к крыльцу и подошел к колхозникам. Народ все был ему хорошо знакомый, впрочем, как и повсюду в районе.

— Что это Жгутов у вас недоваренный какой-то? — спросил, поздоровавшись, ездовой.— В бригадирах он побойчее казался.

— Да нет, мужик добрый, только трудно ему,— отозвался счетовод.— А ты кого это привез? Не газетчика ли? Сейчас повелось о плохих колхозах писать.— Счетовод хрипло засмеялся, обронив с губы недокуренную папироску.

— Агронома я привез...

— А не брешешь? — вскричал бригадир полеводов, худой, согнутый в плечах.— Эх, мил-друг, нам агроном во как нужен! — он провел ребром ладони по горлу.— А агроном-то стоящий?

— В Москве, в институте училась!..

Событие решили отметить. В маленькой дымной чайной ездowego угостили водкой, и он, раскиснув от угощения и общего внимания, наговорил лишнего, прихвастнул, будто это он уговорил директора МТС направить агронома к петровцам. И хотя все знали, что это неправда, никто не мешал ездovому врать, понимая, что врет он от доброго сердца.

Когда ездовой вернулся к саням, на дверях правления висел замок, значит председатель повел агронома устраиваться на жительство. Выходит, и ездovому можно отправляться восвояси, но ездovому жалко было так вот расстаться с «дочкой». Да и Окунчиков, верно, спросит, как, мол, устроили москвичку. А ездовой уже выяснил, что жилье для агронома только начали строить, дома же для приезжих в Петровском отродясь не бывало.

Ездовой прополоскал рот морозным воздухом и направился к дому председателя, стоявшему наискосок через

дорогу. «Дочка» сидела за крытым клеенкой столом в чистой горнице, спиной к маленькому окошку, заставленному горшочками с резедой. Перед ней стояла крынка с теплым молоком и граненый стакан. На верхней губе девушки, заходя на розовые пухлые щеки, отпечатались молочные усы. Ездовой приметил короткий лучик радости, мелькнувший в глазах девушки при его появлении, и умилился.

— Ну как, устроились? — бодро проговорил он, обводя взглядом скромное жилище председателя. Тут было и тесновато, и душновато, пахло густо и несвежо, по стенам стояли пеструганные лавки, табуреты, комод под красное дерево. На комодѣ фотографии, стаканчики цветного стекла и коробочки из ракушника; на стенах тоже фотографии, отрывной календарь, барометр и засиженная мухами, невесть когда и за что полученная похвальная грамота. Была, конечно, и большая никелированная, пышно застеленная кровать «самих» и две деревянные кроватки для многочисленных чад — сейчас они все помещались на печке, откуда рассматривали агронома с неизбежным в своей полной откровенности любопытством.

На вопрос ездового ответ последовал из кухни, где председателяева жена стирала белье: из-за края печи виднелся угол цинкового корыта с шапкой мыльной пены.

— Поживут куда у нас, мы им угол освободим.

— А может, к Арсенихе лучше?.. — спросил ездовой.

— Чем же это лучше? У нас, по крайности, груднят нету.

— Это правильно, — согласился ездовой и посмотрел на девушку, желая знать ее мнение, но она молчала, будто разговор ее не касался.

— Обижается товарищ агроном, что клуба нет, — тихо сказал председатель, — кино не показываем... со светом вот тоже... — Он вдруг умолк и молчал долго, чуть не целую минуту, затем вздохнул и сказал строго и серьезно: — Верно это, скучно у нас молодежи, скучно...

— Так надо сделать, чтобы весело было, — тоже строго сказал ездовой.

— Надо, конечное дело. Будем с хлебом — все у нас будет. А пока, видишь, не можем даже как следует человека принять. Есть решение — к февралю дом для агронома построить, а покамест только фундамент сложили. Товарищ, конечно, в праве обижаться...

— При чем тут — обижаться? — отчетливым, ровным голосом вдруг произнесла девушка. — Но раз мне не обеспечены нормальные условия для работы, я тут не останусь. — Было такое впечатление, будто она долго складывала про себя эту фразу и подала ее, точно колобок из печи выкатила.

«Ай да дочка! — с восхищением подумал ездовой. — Умеет за себя постоять!» И он стал ждать, что ответит председатель, какие найдет слова, чтоб убедить девушку остаться. А в том, что она в конце концов останется, ездовой почему-то не сомневался.

Но председатель, стыдясь своей бедности, только разводил руками да бормотал что-то несвязное: мол, временные трудности, обживетесь... и щеки его под густой черной щетиной пылали, как костер сквозь чашу. А девушка с неожиданной решимостью и проворством забрала свой чемоданчик и, не говоря ни слова, быстро пошла к двери.

— Сидайте, я через минуту! — в спину ей крикнул ездовой.

У ездowego стало нехорошо на душе. Ему было и досадно за петровцев, обманувшихся в своих ожиданиях, и стыдно за себя, что он так нашумел, нахвастал, да еще и угостился за счет людей. Чтобы погасить в себе неприятное чувство, он стал укорять председателя:

— Некрасиво получается, Матвейч. Знали же, что к вам агроном прибудет, неужто не могли подготовиться?

— Да ведь тебе ведомы наши обстоятельства, товарищ Марушкин, — смущенно и грустно сказал председатель. — Ссуду нам задерживают, с транспортом полный зарез. Телятник и тот никак не добьем, где уж тут дачи агрономам строить?

— Так-то оно так, а понимать надо, какой человек перед вами. Она в самой Москве училась, не нам с тобой чета...

— Да мы понимаем, Сергей Данилыч! — сказал председатель, и ездovому почудилось в сокрушенном голосе Жгутова словно бы далекая усмешка. — Коли ты еще повезешь к нам, так уж нельзя ли кого попроще...

— Проще! — передразнил ездовой, почему-то обидавшись. — Будете так встречать, никто у вас не останется!

— Ну, может, кто и останется, — с той же далекой, сокровенной усмешкой ответил председатель.

Этот разговор решительно не понравился ездовому: выходило, что председатель еще кичится своим убожеством. Он взялся за шапку и, не попрощавшись толком, вышел на улицу.

Девушка сидела в санях, укрывшись тулупом, и больше, чем когда-либо, глядела букой. Ездовой подобрал вожжи и осторожно примостился возле нее.

— И-но! — ездовой прицокнул языком, меринок, посилившись, сдвинул примерзшие сани, и они покатали мимо низеньких, потонувших в снегу изб и черных ветел — на их тонких веточках не держался снег; мимо рослых старых берез — по-сорочьи пестрые стволы и ветви старательно убраны снегом; мимо колодца в толстой ледяной рубашке; мимо похилившейся, слепой Доски почета с толстой шапкой снега на верхней перекладине; мимо погоста, чуть приметного верхушками темных, клонившихся долу крестов, — и въехали в белую пустоту равнины.

Снова жестко прошуршал под полозьями деревянный, в ледяной пупыри, настил моста, и внизу так же бранились и ухали люди, таща крючьями очередную глыбину льда, и с тем же надсадным воем борола снега полуторка. У двери чайной, поминутно выхлопывающей клубы нагретого воздуха, грудились сани, розвальни, машины, и в самой гуще, наводя сумятицу, толстый мужик с багровым лицом разворачивал воз с сеном...

Разговоров не вели. Ездовой сердился на Жгутова и особенно на Окунчикова, пославшего «дочку» в такой бедный, трудный колхоз, считал, что и сам отчасти должен разделять их вину в глазах девушки, и потому помалкивал.

В МТС вернулись в третьем часу. Здесь было людно, как в чайной: полушубки, тулупы, брезентовые плащи с башлыками, меховые куртки. В коридоре и в приемной пахло снегом. Запарившаяся, тоже красная, как с мороза, Мариша не знала, за какую телефонную трубку ей прежде хвататься.

Ездовой думал, что им придется долго ждать вызова, но агроном прямо просеменила к двери и, несмотря на протестующие возгласы Марины, вошла в кабинет директора.

«Бесстрашная!» — подумал ездовой.

— Вы что это назад вернулись? — стрельнула глазами Марина, но тут, по счастью, затрещал телефон, избавив ездового от необходимости отвечать.

Дверь директорского кабинета отворилась, оттуда крадущимся шагом вышел завгар Сапожков и остановился в ожидании. «Наверное, Окунчиков попросил его выйти», — подумал ездовой и тоже подвинулся ближе к дверям, чтоб быть под рукой на случай, если понадобятся его объяснения.

Но объяснений не понадобилось. Дверь вскоре распахнулась, и директор с порога сказал:

— Марина Петровна, оформите товарищу агроному путевку в «Богатырь».

Пропустив мимо себя агронома, директор хотел вернуться в кабинет, но ездовой посунулся вперед.

— Товарищ Окунчиков, дозволю пару слов.

— Ну, чего тебе?

Ездовой хотел пожаловаться на петровцев, не сумевших из-за своей бедности и некультурности удержать у себя московского агронома, но против воли сказал другое:

— Надо бы подсобить петровцам. Не могут они своей силой. Ссуду им задерживают, с транспортом зарез, где ж им для агрономов дачи строить?

— Да... да... знаю, — проговорил директор, мотнув головой, словно наскочивший на плетень конь. — Давай, Сапожков, захеди...

— «Богатырь» — не Петровское! — с довольным видом говорил ездовой, укутывая девушку в тулуп и подгребая ей под ноги солому. — Там и клуб, и радио, и дом для агронома — будьте покойны!..

Они уже успели выехать из городка, а ездовой все продолжал расписывать ожидающую агронома жизнь в передовой артели. Он сознавал, что перехватывает через край, не так уж все гладко обстояло в «Богатыре», но считал нужным подбодрить москвичку после первой неудачи. Тем более, что и дорога в «Богатырь», хоть и шла иной сторонкой, не имела никаких преимуществ перед дорогой в Петровское: та же белая, гладкая, как ладонь, равнина, те же редкие, рваные перелески, та же цепочка телеграфных столбов, убегающих за горизонт.

Девушка за всю дорогу не подарила ездового ни од-

ним ласковым словом, но его нежность к ней не только не убывала, напротив, обрела прочную силу привязанности. Ездовому нравилось, что при всей своей тихости и безответности она сумела проявить характер. «Маленькая, а вострая», — думал ездовой.

Ведя свои успокоительные разговоры, он то и дело оборачивался к девушке, и вдруг заметил, что глаза ее стали будто стеклянные и в их гладкую, округлую поверхность впечаталось отражение окружающего простора.

— Умаялась... спать хочет... — тихо сказал ездовой.

Но девушка услышала, ее длинные ресницы взметнулись, и она сказала испуганно:

— А мы не назад едем?

— Как это назад? — усмехнулся ездовой.

— Ну, назад... туда же...

— Да нет, успокойся, вот чудачка! — ответил ездовой, не замечая, что говорит ей «ты». — В Петровское мы же по солнцу ехали, а сейчас оно вона где. Отдыхай, я разбужу.

Но усталая девушка так и не уснула, до самого «Богатыря» просидела она в молчаливой, настороженной неподвижности.

В деревню въехали на гребне поземки, заснеженные крыши слегка подрумянились, а в окнах, глядевших на закат, зажглось по румяному яблочку. У околицы несколько ребятишек катались на коротких самодельных лыжах с небольшой горюшки. Ездовой спросил их, не знают ли, где сейчас председатель.

— В правлении, где ж ему быть? — сказал отчаянно-го вида паренек в распахнутой шубейке и треухе с торчащим, как у зайца, ухом. Глаза его, насмешливые и серьезные, бесцеремонно разглядывали агронома, он подумал немного и добавил: — У них занятия по зоотехнике. — И вдруг, гикнув, стремительно понесся вниз.

Ездовой тронул коня, и вскоре сани подъехали к двухэтажному дому с каменным низом и деревянным верхом, на двери которого за резным кольцом висела добротная, золотом, вывеска: «Правление колхоза «Богатырь». В разрисованных морозом высоких окнах мелькали темные тени, видимо, в правлении былолюдно, и ездовой чего-то вдруг оробел.

— Мне с вами идти или как? — проговорил он неуверенно.

Но девушка уже выбралась из саней и, захватив чемоданчик, быстро взбежала на крыльцо. Хлопнула дверь. Ездовой вздохнул, съехал с дороги, крутившейся низкой, тугой поземкой, и стал под защиту стены. Задав меринку корм, он прислонился к саням и стал ждать. Все эти годы его жизнь проходила в том, что он либо ехал, либо ждал, и ездовой давно притерпелся и к тому и к другому.

Длинная деревенская улица с замутненной далью была совсем пустынна. Значит, размышлял ездовой, у здешних людей и по зимнему времени есть занятие, не позволяющее им, подобно петровцам, зря слоняться по деревне. Да и вообще, видать, здесь живут совсем по-иному. Избы, правда, не больно казисты, лишь немногие под железом, зато перед каждой избой — садик с двумя-тремя яблоньками и вишнями. К каждой избе подведен свет, на многих крышах торчат антенны и — что не меньше порадовало ездового — над каждым домом виднелась скворешня, значит люди живут здесь домовито и раздумчиво, а не впопыхах. В конце деревни слышался ритмичный постуки движка.

И ездовой задумался над тем, над чем много думают и не одни крестьянские головы: почему так по-разному складывается судьба двух хозяйств, лежащих поблизости друг от дружки, а порой и вовсе бок о бок? И земли у них одинаковые, и люди как будто не разнятся, и те же беды пережиты в войну и в послевоенную пору, но одно хозяйство, пусть не легко и не просто, а все же крепло, росло, двигалось к столбовой дорожке жизни, а другое неуклонно катилось под откос...

Меж тем красные пятна вечерней зари погасли в окнах, легкий сумрак сошел на деревню. Заметно похолодало. Ездовой стал притопывать, разминаться, хотел уже пройти в помещение, но тут дверь правления отворилась, из щели показалась рука, держащая чемодан с привязанной к нему авоськой, а затем и вся небольшая фигурка агронома. Дробно простучали ее каблуки по обледенелым ступенькам крыльца, она подошла к саням, положила чемодан, привычно уселась в хранящую след ее тела солому и схоронилась, как в раковине, в торчащем стоймя, залубеневшем вороте тулупа.

— Это как же понимать?.. — растерянно произнес ездовой.

— Кровь с носу!.. А я не хочу — кровь с носу, я не

могу так... — она не говорила, а как-то выфыркивала эти слова. — Я молодой специалист, нельзя с меня требовать...

Вслушиваясь в ее отрывистые слова, ездовой начал смекать, что произошло в правлении. Верно, Губанов, мужик громкий и буйный, с первых же слов запугал делкатную москвичку. Председатель, что говорить, сильный и хваткий, но любит покуражиться. «У меня так: кровь с носу, а сделай!» — любимая его присказка. А агроном — человек молодой, неопытный, ясное дело — смутилась, оробела. Ему бы потоньше, с подходом, а то навалился, как медведь. Эк же неладно вышло! Главное, за дочку обидно, каково ей во второй-то раз в райком возвращаться?

Ездовой немного подождал, не выйдет ли кто из правления, чтобы удержать агронома, но дверь будто приросла к косяку и, вздохнув, он стал снимать торбу с морды меринка. Тот, видать, сильно оголодал, он все тянулся к торбе, шевеля мягкими ноздрями. Ездовой толкнул его локтем в храп, вложил удила в теплый, скользкий рот, пристегнул их к уздечке и, снова вздохнув, вернулся к саням.

— Может, пойдете поговорите?.. Он ведь только на подходе такой, председатель-то...

Девушка букой сидела в розвальнях, насупив брови, плотно сжав красные пухлые губы.

— Хозяйство зажиточное, — говорил ездовой, жалея эту маленькую, неприкаянную фигурку. — Житье сытое, а что работы много, так где ж ее мало? Тут не то, что у петровцев, сначала не начинать. И дом тут поставили справный, под железом, и уголь завезли. Вот снежок-то черным припудрен, я так сразу смекнул, что для агронома, сами-то дровами отапливаются...

— Что я, железной крыши не видела! — сипло сказала девушка и снова замкнулась, заперла себя, как кошелек.

В молчании тронулись в обратный путь. Ездовой сердился, он и сам не мог понять, на кого и на что. Девушка, конечно, вправе выбирать, все-таки махонькая, а бросила Москву, дом, мать, единственно по своей комсомольской совести пустилась в этакую даль, в чужую, трудную жизнь. Да ведь и председатель не так уж виноват, что работу требовал, за то и условия дает подходящие. Жаль, что не сладились! Может, надо было ему

вмешаться? Да разве б его кто послушал? Сердитое чувство не проходило, и ездовой наконец понял, что во всем виноват разленившийся меринок, трюхает себе кое-как, будто не видит, что уже ночь на носу, а дела они так и не сделали. Ездовой вытащил из-под соломы кнут и с оттяжкой хлестнул меринка под бочковатое брюхо. Меринок обиженно мотнул головой, ошмотя снега чаще забарабанили о передок саней. Правда, ненадолго,— упрямый конь сошел на прежний шаг, но ездовой не стал его больше понукать. На несытое брюхо откуда резвости взяться?

Ездовой и сам чувствовал себя неважно. От выпитой на голодный желудок водки его клонило ко сну, мысли расплзались в голове какой-то серой мутой. «Сейчас бы горячего хлёбова», — думал ездовой, борясь с дремой. Девушка доставала из своей авоськи по кусочкам какую-то пищу, ела ее. У ездового заворчал в животе, он стал нарочно ерзать и кашлять, но попросить еду посоветился.

Когда они подъехали к МТС, совсем стемнело, на улице зажглись фонари, и в несильном желтом свете, как мухи, зареяли черные снежинки. Ездовой обрадовался темноте и вечернему малолюдству улицы. «По крайности никто не увидит,— подумал он.— А то ведь такой народ, пойдут врать, как ездовой агронома возил...»

Когда остановились у крыльца, девушка уже привычным ездовому движением схватила свой чемоданчик и коротким, с пятки на носок, шагом зачастила к лесенке. Она поднялась по ступенькам, поставила чемодан, двумя руками открыла на тугой пружине дверь, попридержав ее ногой, забрала чемодан и скрылась в помещении. Это однообразие ее беспомощных, но упрямых и ничем не смущаемых движений вызвало у ездового глухое раздражение.

Он тоже вылез из саней и, ощущая какое-то окостенение в своем старом теле, принялся медленно разнуздывать меринка, чтоб задать ему корма.

Меринок захрустел, засопел в торбе, ездовой услышал запах овса, и еще сильнее засосало под ложечкой. Он немного походил, потопал валенками по снегу, а девушка все не шла, и ездовой подумал, что, наверное, директор задает ей перцу. «Ничего, молодежи такая наука на пользу!» — погасил он в себе короткое сострадание.

Из-за каланчи вышла луна, и каждый сугроб и сугробик, каждый бугорок, снежный нарост на суку заискрились тысячью огней, и в этом чудесном, как в сказке, свете невидный городок будто вырос, крышами, коньками, трубами и шпилями поднялся к небу.

Ездовой постоял, полюбовался и не спеша направился к крыльцу. Он миновал пустой коридор, хранивший запах кисловатой овчины да отошедших в тепле валенок, и вошел в такую же пустую приемную. Стол Марины был чисто прибран, лампа потушена, — видно, директор отпустил секретаря домой. Ездовой обрадовался, что избег встречи с языкастой девицей. За толстой, обитой войлоком и клеенкой дверью директорского кабинета была тишина, зеленым глазком смотрела в приемную замочная скважина.

Ездовой отошел к окну в ледяном узоре и от нечего делать стал выколупывать дырочку. Куда же теперь направят агронома? Эх, кабы в Дворики! Там председатель женщина, может легче бы столковались?..

Он не заметил, как открылась дверь, но услышал знакомый, частый постук маленьких ног. Девушка почти бежала к выходу, неся перед собой чемоданчик. Ездовой окликнул ее, и она, словно припоминая, оглядела его, засмеялась чему-то и сказала:

— Ох, а я-то боялась, что вы не дождетесь!

— Как это не дождусь? Я — на службе, — сказал ездовой, радуясь ее оживлению и смеху, который слышал впервые. — Куда прикажете везти? — весело спросил он.

— На станцию!

— Куда-а?..

— На станцию. Домой еду! — Девушка снова засмеялась и помахала в воздухе листком бумажки, на котором подсыхала жирная печать и размашистая подпись Окунчикова. Сложив бумажку, она спрятала ее в карман под шубку и быстро пошла к выходу. Ездовой в смущении последовал за ней.

Девушка уже устроилась в санях, она сидела как-то по-иному, свободно, непринужденно, и болтала ногой.

Ездовой сорвал торбу с морды меринка, приладил сбрую.

— Н-но! — сказал он почти шепотом.

Его удивляла и тревожила легкость, с какой девушка приняла свое поражение.

— Неладно это у вас получилось, а? — осторожно сказал он через некоторое время.

— Ничего! — она опять засмеялась, пригнув голову. — Вот дома удивятся!

Она что-то говорила о доме, о Москве, но ездовой вслушивался не в слова, а в звук ее свежего, чистого, странно незнакомого и чужого голоса.

Вскоре они выехали на укатанный грейдер, ведущий к станции.

— Ох, какая дорога хорошая! — обрадовалась девушка. — Мы так минут за сорок доедем, а поезд через три часа.

Ездовой молчал, выпустив вожжи из рук, девушка продолжала болтать сама с собой.

— Поезд через три часа... у меня нет ни билета, ни брони... Знаешь, дедушка, — тронула она за плечо ездогого, — ты все-таки не спи, а давай побыстрей. Я тебе водочки поставлю.

— Я вам не дедушка, а Сергей Данилыч, — резко сказал ездовой. — А насчет водочки не беспокойтесь, не нуждаемся.

— Сердитый! — капризно и смешливо сказала девушка. — Вы местный? — спросила она через минуту.

— Местный... — опешенно произнес ездовой. Ведь она уже раз задавала этот вопрос. — Местный! — повторил он, и чем-то обидным прозвучало для него это слово, которое он всегда произносил если не с гордостью, то все же не без хорошего чувства. И вдруг всей кровью он ощутил, что смертельно обижен этой маленькой, миловидной девушкой, обижен за себя, за свой край, в котором ни один уголок не пришелся ей по душе, обижен даже за своего усталого, некормленного коня, что без толку вымахивает весь день по трудным снежным дорогам. Он вспомнил, как неприязненно, холодно, исподлобья оглядывала она родной ему простор: поля, перелески, Ворлицу под чистым, светлым льдом; как глубоко безразлично ее маленькому, пустому сердцу то, что его земляки нуждаются в помощи, что они тоже хотят лучше работать и лучше жить, а ведь она училась и на их трудовые деньги. И по-человечески обидно и стыдно было ездовому, что он, старый мужик, так ошибся в ней, называл «дочкой», приняв отсевок за золотое зерно.

Он приподнялся в санях. Впереди ясно обозначились в

ночи стационарные фонари. Вокруг каждого фонаря, словно вокруг луны, сиял переливающийся из голубого в густосинее с золотой окольцовкой ореол. Красными огоньками плеталась топка маневренного паровоза.

Ездовой натянул вожжи. Цокнули копыта о передок саней. Мерник осадил и повел шеей в съехавшем чуть не до самых ушей хомуте, будто хотел спросить у ездовой, зачем тому понадобилось сбивать его с усталой, но ровной рыси.

— Слезай, приехали! — негромко сказал ездовой, повернувшись к девушке.

— То есть как это приехали? — удивленно и подозрительно спросила она.

— А вот так! Довольно лошадь попустому гонять. Освобождай сани, товарищ агроном! — Ездовой наклонился, взял чемодан с привязанной к нему авоськой и поставил его на дорогу. Затем, чмокнув губами, так круто завернул мерника, что сани накренились, взвизгнув полозом, и девушка запрокинулась навзничь. Она тут же выпрямилась, спрыгнув на дорогу, подняла чемодан и, прижав его к груди, закричала:

— Вы не смеете! Я буду жаловаться!

— Давай, давай! — отозвался ездовой и хлестнул мерника.

Сани, раскачиваясь из стороны в сторону, легко побежали по льдистым извилистым колеям, девушка долго смотрела им вслед, но ездовой не оглянулся.



---



---

*Сергей Никитин*

## ПРОПАСТЬ

Поезд пришел на станцию Чигры в сумерках.

Участковый финансовый инспектор Лабутин, зная по опыту, что подводу легче всего найти возле закуской, не мешкая, направился туда.

К вечеру стало подмораживать — грязь на дорогах загустела, лужи подернулись морщинистым ледком, а на карнизах кое-где даже выгнало хилую сосульку. Но тем не менее здесь, за городом, весна была особенно ощутима. И даже облупленный вокзальчик с деревянной платформой и деревянным пакгаузом был тоже как-то особо, по-весеннему, грязен, замусорен и темен от сырости.

В вагоне у Лабутина озябли ноги. Ему хотелось разуться в теплом месте, и, думая теперь о предстоящем пути по бездорожью, он невесело пробормотал:

— Жизнь...

Ему шел тридцать седьмой год. Девять лет назад, вернувшись с войны, он начал работать участковым инспектором в райфинотделе и с тех пор все ездил по колхозам. Там уже привыкли к нему и, завидев издали долговязую фигуру в короткой зеленой шинели, говорили:

— Вон Иван Василич идет.

Сам он сначала думал, что останется на этой работе недолго. Но потом, когда вызнал, кто в деревнях портняжничает, валяет валенки, режет ложки, набивает кадки, и научился мало-помалу извлекать из своей должности кое-какие выгоды, то решил, что лучше работы и не найти. И если роптал на свою кочевую жизнь, то это

всегда было вызвано каким-нибудь преходящим поводом — дождем, распутицей, морозом или просто дурным настроением.

В закусочной он, как и предполагал, нашел себе попутчика.

— К нам теперь только одна дорога — через Черкутино, — затягивая подпругу, говорил ему колхозник из села Яры. — Беда, как воды много. Овраги — те сплошь залито, и в лесу под снегом вода. Кабы не распутица, тебе, Ивап Василич, до Черкутина-то рукой подать, а теперь дадим крюку километров восемь.

— А ты как меня знаешь? — спросил Лабутин.

— Эко! — удивился колхозник. — Да кто же тебя не знает!

— Это верно, — не без тайного удовольствия согласился Лабутин.

— А я, значит, Федор Мешков, из Яров. Был на базаре, сметаной от колхоза торговал... Известное дело — выпил...

— Мешков? — вспомнил Лабутин. — Это ты валенки валяешь?

— Нет, это брат мой, Евсей. Тоже в Ярах живет. А я Федор.

Когда они выехали, было уже темно. Высоко над головой, на фоне неба, мелькали зубчатые верхушки елей. Лес, который начинался прямо за станцией, был полон звуками тсущей и падающей воды, и вскоре ее плеск послышался под ногами лошади.

— Хоть бы луна скорей вышла. Того гляди, угодишь в какую-нибудь чертову яму... — болтал словоохотливый Мешков. — И что за нужда тебе, Иван Василич, таскаться по деревням об эту пору?

— Нельзя дома-то сидеть — работа... — нехотя отозвался Лабутин.

— Это так. Волка ноги кормят, — согласился Мешков.

Лабутин насторожился, но, приняв во внимание дружеский тон, каким была сказана эта обидная поговорка, решил, что Мешков присовокупил ее просто так, к слову.

Лес все тянулся и тянулся. Он был пронизан запахом талого снега и мокрой коры — тем волнующим весенним запахом, который будоражит кровь, путает мысли и за-

ставляет невольно вздрогнуть от каких-то смутных, неясных желаний. Но все это было в жизни Лабутина множество раз, он разучился ценить такие мгновенья и думал теперь лишь о том, как бы поскорей приехать на место, чтобы перестала подпрыгивать под ним эта телега и не толкали его со всех сторон какие-то тюки, бидоны и ящики.

Лес неожиданно кончился. Круто повернули влево и поехали по высокому берегу реки. Пойму уже всю залило, в спокойной воде отражались звезды, и, глядя вдаль, где все, кроме звезд, тонуло во мгле, нельзя было разобрать, где — небо, а где — вода.

— Не нынче-завтра перекроет тут дорогу, — сказал Мешков. — Большая вода идет. Помню, в двадцать шестом году было...

Но в это время копыта лошади стукнули обо что-то твердое, под телегой треснуло, и она глубоко осела передними колесами. Лабутин, чтобы не скатиться, прыгнул наугад в темноту, поскользнулся на каких-то бревнах и почувствовал, что в сапоги ему наливается ледяная вода.

— А черт! — выругался он. — Едешь без разбору... Болтаешь только попусту!

— Мост подмыло, — растерянно бормотал Мешков. — Новый мост... Доротдел строил... Строители!.. Измок ты, что ли, Иван Василич?

— Измок! — передразнил его Лабутин плачущим голосом. — Измокнешь с тобой!

— Да ты не серчай. Тут недалечко бакенщик Ермилин живет, ступай к нему, обсушись. Метров триста пойдешь, и будет эдак на взгорочке его домушка. Ступай. Я заеду за тобой.

Чувствуя с каждым шагом неприятную мокроту в сапогах, Лабутин пошел, не разбирая дороги. Ему пришлось пройти значительно больше трехсот метров, прежде чем он увидел слабый рыжеватый огонь керосиновой лампы и услышал лай собаки. Избушка бакенщика бесформенным сгустком тени темнела у самой воды. На стук вышел Ермилин, прикрикнул на собаку и, подняв над головой фонарь, сказал:

— Эка темень! Не вижу, кто тут...

Лабутин, уверенный, что его узнают по зеленой шинели, шагнул в полосу света.

— Пусти, старина, обсушиться. Ухнул по колена.

— Ну, входи. Тесно только у меня,— предупредил Ермилин.

Нагнувшись под низкой притолокой, Лабутин полез в избушку.

Оказалось, что Ермилин был не единственным ее обитателем. У дальней стены, положив на стол полные руки, сидела женщина, и Лабутин в упор встретился с ее большими темными глазами. На вид ей было лет тридцать пять, и по этим полным рукам, по круглым плечам, по тому, как под серой шелковой кофтой ровно поднималась и опускалась ее грудь, в ней угадывалась крупная, сильная и спокойная женщина.

— Здравствуйте,— сказала она густым, певучим голосом.

И у Лабутина мгновенно сжалось сердце — так бывает всегда, когда вдруг увидишь наяву то, о чем долгое время лишь мечтал. С тех пор как у него умерла мать, он неотступно думал о женитьбе. В мыслях он видел своей женой зрелую, но сохранившую в себе неистраченную силу любви женщину с мощной фигурой неутомимой работницы, ясную в мыслях, простую в желаниях, и теперь ему казалось, что перед ним именно такая женщина, и он смятенно топтался у порога, забыв даже поздороваться.

— На-ко вот, надень,— сказал маленький, сутуловатый Ермилин, кидая к ногам Лабутина разношенные валенки. — Где это тебя угораздило так ухнуть?

— А Николая все нет,— вздохнула женщина, у которой вид мокрого, озябшего Лабутина, очевидно, вызвал беспокойство о ком-то другом, кто блуждал сейчас в этой темной сырой ночи.

Она поднялась и, окутав голову пуховым платком, пошла к выходу. Одета она была красиво, со вкусом, и когда проходила в дверь, то на Лабутина нанесло тонкий запах духов. Очевидно, даже Ермилин почувствовал, что ее присутствие в тесной избушке бакенщика требует объяснений. Едва она вышла, он кивнул на дверь и сказал:

— Дочь. Сегодня приехала.

— Навестить?

— Да как тебе сказать... — замаялся Ермилин. — Вроде бы по нужде. Разошлась с мужем и сразу отца вспомнила. Бывало в полгода раз открытки дождешься, а те-

перь, значит, нужен стал... Ты, смотри, виду не подай, что знаешь.

«Вот бы...» — мелькнула у Лабутина мысль.

«А что, — думал он минуту спустя, подсев к огню и вытягивая ноги, изнывающие в сладкой истоме, — женщина в горе, ей бы сейчас только прилудиться к тихой пристани. А у меня — дом. Работенка ничего себе...»

Он не был ни в чем уверен, но женитьба на ней показала ему хоть и далеким, но вполне вероятным делом.

— Нет ли у тебя, старина, водки? Я бы заплатил, — весело сказал он.

— Не в плате дело, — неуверенно ответил бакенщик. — Есть у меня, да сын должен вот-вот с охоты вернуться, ему берегу.

Вошла Зинаида. Она зябко передернула плечами и прижалась к печке.

— Вода такая жуткая, темная... Беспокоюсь я о Николае.

— Бабьи страхи, — проворчал Ермилин. — Заночевал где-нибудь на гриве, хочет еще одну зорю отсидеть. Вырвется разъединственный раз из города, так уж рад-радешенек. Пускай тешится на доброе здоровье. А ты лучше собирай-ка ужинать, чем без дела-то томиться.

На дворе вдруг неистово залаяла собака, и голос Мешкова позвал:

— Иван Василич!

Лабутин вышел на крыльцо.

— Ну, как ты там, пообсох? Поедешь? — спросил невидимый в темноте Мешков, предварительно обругав за что-то лошадь.

— Нет, ну тебя к лешему. Утром пешком доберусь, — отозвался Лабутин.

— Счастливо, значит, оставаться. Будешь в Ярах, захаживай. Ко мне или к брату — все одно. Брат у меня...

Не слушая его, Лабутин хлопнул дверью. Зинаида накрывала на стол; Ермилин вдруг махнул рукой и, вытащив из-под кровати бутылку водки, решительно бухнул ее на стол. Сели ужинать. Выпив, Ермилин сразу захмелел, глаза у него сузились, заблестели, и в них появилась хитроватая стариковская усмешка.

— Вот так, значит, и ходишь? — спросил он Лабутина.

— Так и хожу, — сказал Лабутин.

Он тоже размяк в жаре, откровенно смотрел во все глаза на Зинаиду, и ему хотелось привлечь чем-нибудь к себе ее внимание.

— Так и хожу, старина, — повторил он. — Каждому свое. Ты вот тут сидишь, у своего дела, а я за своим хожу. Главное в любом деле — выгоду найти. Так я говорю?

Это, казалось, вызвало одобрение Зинаиды, она более внимательно посмотрела на него, и ему показалось, что между ним и ею возникают наконец нити взаимной заинтересованности.

— Я человек одинокий, — многозначительно продолжал он, — мне много не нужно. Сыт, одет, обут. На черный день имею. На моей работе плохо-бедно можно зарплату сохранять в полной неприкосновенности...

— Туманно что-то выражаешься. Это как же? — поинтересовался Ермилин.

— А так, что, пока кустарь не перевелся, нам жить можно, — засмеялся Лабутин. — Вот и смекай, если голова на плечах.

Он говорил «нам», потому что, имея сделки с кустарями при обложении их налогом, он не мог даже представить себе, что эту возможность упускают другие. По его мнению, поскольку такая возможность существовала, ее нужно было, не рассуждая, использовать.

— Не похвалят за это, в случае чего, — сказал Ермилин, очевидно догадавшись о чем-то.

— Кто дознается? Тут вроде игры в третий лишний.

— Ловко! — покачал головой Ермилин. — Выгодная, стало быть, должность?

Лабутин небрежно пожал плечом.

— Кормит.

Он заметил в углу вороха сетей, и перед ним блеснула новая возможность расположить к себе Зинаиду.

— До тебя вот я никак не доберусь, старина, — серьезно сказал он. — Сети, наверно, на продажу плетешь, лодки долбишь. Так, что ли?

— Не-е-е, меня не укусишь, — усмехнулся Ермилин. — Мне это ни к чему. Было прошлым летом, продал старый ботничника студентам за полсотни. Пристали — им, вишь ли, вздумалось по реке путешествовать. А сети — нет, ни к чему мне это.

— Все вы так поете. Только ты, старина, не бойся. Я пройду — глаза закрою. Не думай, что я прижимала

какой-нибудь, — сказал Лабутин, метнув взгляд в сторону Зинаиды.

— Чего мне бояться, — нахмурился Ермилин. — Не тот разговор ты, парень, затеял, ну тебя совсем!

Ужин кончился. Ермилина клонило ко сну, он едва держал голову и один раз даже громко всхрапнул. Зинаида, закутавшись в платок, опять вышла. Лабутин подумал и тоже вышел.

Вокруг все чудесно изменилось. Над поймой висел прозрачный, точно подтаявший, серпик луны; вода металлически блестяла; голые кусты просвечивали, и в них была видна каждая веточка.

Женщина неподвижно стояла спиной к Лабутину, смотрела в сторону поймы.

— Все брата ждете? — спросил Лабутин.

— Да, — сказала она и быстро пошла вдоль берега. «У, дикая», — подумал Лабутин.

Он шагнул с крыльца за ней, но вспомнил, что на ногах у него валенки, и вернулся.

Ермилин дремал, сидя за столом.

— Ты уж разреши мне до рассвету у тебя погостить, — попросил Лабутин.

— Там, за печкой, топчанок — ложись, — пробормотал Ермилин.

Поджав ноги, Лабутин лег на короткий топчанок и укрылся своей шинелью. Он даже не знал, спал или нет — легкая дремота колыхала его, как на волнах; он то проваливался в беспмятный сон, то вновь просыпался. Он слышал, как Зинаида хлопнула дверь, накинула крючок, видел, как по избушке от переставленной лампы метнулась изломанная на углах тень, а потом вдруг очнулся от того, что вся избушка сотрясалась от чьих-то тяжелых шагов и веселый сочный голос громко говорил:

— Если бы не луна, пришлось бы мне ночевать в лодке. В такие дебри заехал, что черт ногу сломит. Зато — смотри!

Не поворачивая головы, Лабутин видел, что посреди избушки стоял высокий грузный человек, очень похожий своей монументальностью и открытым лицом на Зинаиду, и торжественно держал в поднятой руке связку нарядных весенних селезней, краснобровых тетеревов, и от них по всей избушке пахло пером, порохом и еще чем-то непередаваемым — чем-то ветреным, солнечным, снежным...

«Это же Ермилин, директор радиозавода! — вспомнил Лабутин. — Как это я раньше не догадался? Известная личность...»

— Люто есть хочу, Зинка. Дай чего-нибудь. Отца не буди, не надо, — говорил между тем Ермилин-младший. — Вот не ожидал видеть тебя здесь. Из твоего письма я ничего не понял, думал, хоть приедешь прямо ко мне... Почему не приехала?

— Я твоей жены стесняюсь, — сказала Зинаида. — Она не любит меня.

— Ерунда. Она всех любит. Расскажи-ка толком, как у тебя получилось... получилась эта катавасия.

— Что рассказывать! Просто все эти три года он обманывал меня. У него была другая семья, и теперь его потянуло, как говорится, на пепелище... Там дети... Вот и все.

— Мерзавец! Морду ему набить!

— Ты все такой же взбалмошный, — с ласковым укором сказала Зинаида. — Садись, ешь.

Он хотел сказать еще что-то, но, очевидно, уже сунул в рот кусок и только невнятно замычал.

— Я хочу снова вернуться на наш завод, — сказала Зинаида. — Ты знаешь, когда я оправилась после этой, как ты говоришь, катавасии, я почувствовала неодолимое желание работать. Мне показалось невероятным, что три года прошли у меня без работы. Скользнули они как-то незаметно, и теперь памяти даже не за что зацепиться, чтобы вспомнить о них. Я никогда не подозревала, что может охватить такая тоска по работе... Как у тебя сейчас с квартирами? Строите много?

— У меня жить не хочешь?

— Не хочу.

— Ладно, устрою тебе комнату.

— Нет, без всяких «устрою», — сказала Зинаида. — Оставь мне, пожалуйста, дорогое для меня право быть со всеми равной.

У Лабутина затекли ноги, и он зашевелился.

— Кто это? — тихо спросил Ермилин.

— Не обращай внимания, — тоже тихо ответила Зинаида. — Так... дрянь какая-то. Все своими махинациями тут хвастался. Противно слушать...

Они еще долго говорили о своих делах, Ермилин велел Зинаиде вынести дичь на холод, кинул через всю

избушку сапоги к двери, на этом, кажется, успокоился и погасил свет.

Лабутин пролежал остаток ночи без сна. Он знал, что на этом обрывается его мечта о Зинаиде, что не было, да и быть не могло никаких нитей, будто бы связывающих их,— все это он выдумал, что между ним и этими людьми лежит непроходимая пропасть; и когда в потемках избушки наконец прорезалось маленькое оконце и бросило на пол крестообразную тень рамы, он встал, тихо откинул крючок и вышел.


За ночь погода успела перемениться. Ветер натащил сырых облаков, тонко свистел в прибрежных осоках, и через реку, словно черные хлопья, летели стаи грачей.

«Фу, как нехорошо...» — думал Лабутин, шагая по грязной дороге и глядя, как полая бутыльно-зеленая вода катится через затопленные вербы.

Он пробовал думать о другом, говорил себе, что все пустяки, что нет большой беды в том, что его обругала баба, но нехорошее чувство не проходило, и ему было одновременно и досадно и скверно.

Вдали показались избы Черкутина, над ними вились серые, растрепанные ветром дымки. Лабутин перешел по скользкому бревну через канаву, обогнул раскисшее озное поле, стал подниматься на гору и все нес в себе неприятное чувство, от которого никак не мог отделаться.





*Валентин Овечкин*

## НА ОДНОМ СОБРАНИИ...

В Доме культуры проходило собрание районного партийного актива.

Доклад об итогах недавно состоявшегося пленума обкома сделал председатель райисполкома Руденко: первый секретарь райкома Мартынов, простуженный, осипший, с обвязанным шерстяным шарфом горлом, не мог громко говорить, а второй секретарь, Медведев, был в отпуску.

Собственно говоря, доклад был не «сделан», а прочитан, и поручить читку можно было любому человеку, даже техническому секретарю, лишь бы голос у чтеца был звучный. Или даже можно было совсем, для экономии времени, не читать — заранее отпечатать доклад в сотне экземпляров и разослать всем приглашаемым на собрание.

Пленум обкома обсуждал два вопроса: о состоянии массово-воспитательной работы в колхозах и о мерах подъема и развития животноводства. О решениях пленума и докладывал Руденко. Полтора часа монотонного чтения; ни на минуту не оторвался от текста, подготовленного работниками райкома и райисполкома, ни разу не поднял головы, не глянул в зал перед собою. В зале кто дремал, кто шептался с соседом, кто в задних рядах украдкой покуривал в рукав.

Мартынов сидел в президиуме злой, нервно вертел в пальцах карандаш, бросал на Руденко исподлобья бвн-репные взгляды.

Вопросов к докладчику не было. Записавшихся в прениях — только двое.

Первым выступил инструктор райкома Николенко. Все десять минут, положенные ему по регламенту, он перечислял недостатки в работе колхозных партийных организаций его куста: там не проводятся по три месяца собрания, там растеряли агитаторов, там не выпускают стенгазеты, там коммунисты пьянствуют в престольные праздники. Как будто в этом только и заключались его обязанности: ездить из колхоза в колхоз и старательно фиксировать все «упущения», «сигнализировать» о них членам бюро райкома. Его речь не улучшила настроения Мартынова.

После Николенко он предоставил слово колхознице Гончаровой, коммунистке с тридцать девятого года, заведующей свинофермой.

В зале погасло электричество, и, хотя собрание проходило днем, за столом президиума на сцене было темно: обмерзшие, запорошенные снегом окна пропускали мало света. Женщина читала речь по бумажке, мучительно запинаясь на каждом слове.

— Наши достижения... результат упорного... труда и высокосоциального отношения. Исключительно большое внимание... мы уделяем выращиванию поросят... опорос производится в чистом... продез... инфицированном станке... Применяя обильное и разнообразное... кормление свиней... и молодняка, создавая для них благоприятные условия, мы добились... получения от свиноматок здорового и жизнеспособного приплода... Сейчас мы ставим перед собой... задачу... и тем самым повысить... доходность от животноводства...

Запиналась она даже в таких местах речи, где предполагался подъем, пафос.

— Развернув живой... живое... соревнование, мы обязуемся...

Под конец выступления она перепутала листки, сбилась, растерялась и, так и не договорив какую-то фразу, сошла вниз.

В президиуме все сидели, потупив головы от стыда, неловкости.

Мартынов встал, чтобы объявить перерыв.

— Есть здесь секретарь парторганизации «Дружбы»? — простуженным сиплым голосом спросил он.

— Я, — в задних рядах поднялся мужчина в офицерской шинели без погон.

— Это ты, товарищ Мостовой, сочинял речь для нее?

— Я... С председателем колхоза.

— Потрудились!.. Лучший животновод в районе, сделал ферму образцовой, на это у нее хватило способностей, а выступить здесь, рассказать о своей работе без ваших шпаргалок — на это, боитесь, способностей не хватит?.. Не смущайся, товарищ Гончарова, что плохо выступила. Это не тебе стыд, это — нам стыд... Прежде чем объявить перерыв, я вот что хочу сказать, товарищи.— Мартынов покосился на сидевшего в президиуме инструктора обкома, предчувствуя стычку с ним. У него с этим инструктором Голубковым, часто приезжавшим в район, были давние нелады. — Давайте так договоримся: кому нечего дельного сказать — пусть лучше не выступает здесь, не отнимает времени у себя и у других. Нам не нужна активность для отчетности: «На собрании выступило столько-то процентов присутствующих». А о чем говорили, для чего говорили? Николенко вот пересказал здесь докладную записку, которую мы читали уже три дня тому назад. Партактив собирается для делового обсуждения вопросов, а не для речей ради речей. Объявляется перерыв на пятнадцать минут.

Расходились покурить как-то не сразу, в недоумении.

Голубков, задержав Мартынова на сцене, сказал:

— Ты что, Петр Илларионыч, нездоров? Температура? Ну и шел бы себе домой, в постель. Есть тут члены бюро, без тебя проведем. Хочешь сорвать партактив? «Не умеете выступать — не выступайте».

— Не так же я сказал, товарищ Голубков!

— С профессорами, что ли, имеешь дело? Здесь в зале — половина колхозников. Зачем ты их запугиваешь? Эта Гончарова — она же малограмотна! Ей нужно помочь!

— А я не для малограмотных сказал это, — возразил Мартынов. — Для очень грамотных! Для тех, что мозоли на языках понабивали себе уже на таких собраниях!

— Непонятно, — Голубков пожал плечами. — Не знаю, что из вашего партактива получится. Как бы не пришлось Руденко сразу после перерыва делать заключительное слово.

— Может быть и придется... Для тебя, Николай Архипович, это, конечно, большая неприятность. Чрезвычайное происшествие в твоём кусту! Собрание партактива

сорвалось! Два человека только выступили. Как докладывать обкому? Тем более, что сам присутствовал.

— Думаю, что это и для тебя не очень большая неприятность.

Подошел Руденко. Мартынов сказал:

— Черт бы вас побрал, таких читателей лекций о вреде табака!

— Петр Илларионович! — взял его за плечо Руденко. — Ведь не было же времени подготовиться!

— Пять лет работаешь в районе. Людей знаешь. И умеешь ведь поговорить с людьми! Пересказал решение обкома. Да его без тебя все уже успели прочитать! А своих мыслей — ни одной!.. Какой доклад, такие и прения!

— Иссякло мое красноречие. Пятый день заседаем! Я думал, ты будешь делать доклад, а тебя угораздило заболеть.

После перерыва, несмотря на предупреждение Мартынова, первым выступил оратор именно из таких — с мозолями на языке, Коробкин, заведующий отделом райисполкома по сельскому строительству. Без пламенных речей Коробкина в районе не обходилось ни одного собрания.

Долговязый, в длинном черном драповом пальто, с высоким (за счет лысины) лбом, грозно размахивая руками над столиком для тезисов, он выкрикивал каждую фразу как лозунг на площади перед многотысячной толпой. От его голоса вздрагивали и позвякивали стекляшки на люстре под потолком.

«Товарищи! Корма — это основа животноводства! Но некоторые товарищи упорно не желают этого понять, преступно недооценивают заготовку кормов для животноводства!..»

«Вол — это, товарищи, рабочее тягло! Рабочее тягло нужно беречь!..»

«Свинья дает нам, товарищи, мясо, сало, кожу, щетину! Свинья очень полезное животное! А как мы относимся к свиньям?»

«Животноводство, товарищи, нуждается в теплых, благоустроенных помещениях. Корова, товарищи, в тепле и чистоте дает больше молока, чем на холоде, в грязи! А некоторые председатели колхозов, товарищи, недооценивают строительство коровников!..»

«Переходя к массово-политической работе с колхоз-

никами, я должен здесь, товарищи, со всей прямотой сказать, что мы плохо работаем с колхозниками!..»

«Стенная газета, товарищи, — это печать! А печать — это острейшее оружие нашей партии! Но во всех ли колхозах у нас выпускаются стенные газеты? Нет, товарищи, не во всех колхозах у нас выпускаются стенные газеты!..»

Мартынов морщился, как от сильной головной боли.

— Это же нужно уметь, — просипел он на ухо сидевшему рядом с ним Руденко, — десять минут болтать и ни слова путного не сказать!

В зале зашумели:

— Зачем выходил на трибуну, товарищ Коробкин?

— Что ты тут сказал нам полезного?

— Что свинья дает сало?

— А корова молоко?

— Просили же по делу выступать, а не отнимать зря время у нас!

Мартынов постучал карандашом по столу.

— Кто следующий?

Минут пять длилось тягостное молчание. Никто не просил слова. Казалось, действительно на этом и придется закрыть собрание. Голубков, бросив возмущенный взгляд на Мартынова, с треском отодвинул стул, поднялся, ушел за кулисы курить. Видимо, и Мартынов в эти минуты чувствовал себя неважно... Но вдруг в зале поднялась одна рука, другая, третья. Человек пять сразу попросили слова.

...На клубную сцену, к столу президиума, грузно ступая по лесенке, поднялся председатель колхоза «Власть Советов» Демьян Васильевич Опенкин. Не спеша расстегнул пальто, достал из кармана пиджака очки, тетрадь, протер стекла очков полкой пиджака, развернул тетрадь, откашлялся.

— Это у меня не тезисы, товарищи, — начал Опенкин. — Это дневник председателя колхоза. То есть лично мой дневник. Я записываю сюда каждый день: где был, что делал. Ежели меня когда-нибудь за развал работы потянут к прокурору, — это мое оправдание. Прокурор прочитает, поймет и посочувствует. Скажет: «Удивляюсь, товарищ Опенкин, как ты все же успеваешь еще чего-то делать в колхозе!»

При настороженном внимании всего зала Опенкин продолжал, перелистывая тетрадку:

— Вот давайте подсчитаем, на котором это я уже заседания сию за полмесяца и сколько их еще будет до конца месяца?.. Второго был пленум обкома. Я член обкома. Вызвали, поехал. Два дня заседали. Потом депутатам областного совета велено было сразу, не уезжая домой, остаться на сессию. Остался. Еще два дня. Дорога туда-сюда, — в общем неделю дома не был. Потом — здесь в районе: пленум райкома, сессия райсовета, сегодня вот партактив. Короче сказать, за эти полмесяца я был в колхозе всего два дня. Так это же еще не все. Послезавтра сессия нашего сельсовета, мой доклад об итогах сессии областного совета. Двадцатого, по плану, партийное собрание в колхозе, тоже итоги пленума обкома будем обсуждать. Теперь еще подсчитайте, товарищи, сколько раз в месяц вызывают председателя колхоза на бюро, в исполком. А там еще — какие-нибудь комиссии. Да ведь мне времени не остается дома работать! А заседания все по вопросам: как улучшить дело, как то поднять, то укрепить. Но когда же поднимать и укреплять, если на разговоры об этом все наше время уходит?.. Партийное собрание — закрытое, пленум, конечно, — закрытый, партийный актив — закрытый, на сессию тоже только депутаты приглашаются. А речь ведем о том, как с народом работать. Закроемся в четырех стенах и убеждаем друг дружку, что надо лучше с народом работать!.. Двадцать заседаний в месяц — вот работа кипит! А заседания-то все закрытые, сами себя тут агитируем! А общие собрания колхозников в некоторых колхозах раз в году проводятся, от отчета до отчета!..

Опенкин, вообще редко выступавший на пленумах и активах, на этот раз разошелся:

— Я не возражаю, товарищи, посидеть в этом зале и час и два. Послушать, скажем, хороший доклад, лекцию о международном положении, что ли. Пусть знающий человек расскажет нам, чего мы сами не успели прочитать или, может, в чем не сумели глубоко разобраться. Он нам расскажет — мы потом людям передадим. Но когда вот тут товарищ Коробкин доказывает нам, что свинья — животное полезное... Этого же невозможно терпеть! А что греха таить, и на областных заседаниях немало приходится слушать таких речей. Выйдет человек на трибуну и тарыхтит, тарыхтит! После станешь вспоминать: о чем же он говорил? Да ни о чем! Все вот такое же: «Мобилизо-

вать усилия!» «Поднять на высоту!» Иного и председатель не остановит. Кричат все: «Довольно!», «Регламент!» — а он тарыхтит. Будто ему сдельно за каждое слово платят. А мы сидим в зале и думаем: а кто же наше время оплатит? Пятьсот человек сидят здесь — сколько ты нашего времени загубил! Пересчитать бы его на человеко-часы! Шоферов за холостые пробеги милиция штрафует. Там — тонно-километры. Тут — человеко-часы. Тоже ценность немалая! И некому штрафовать этих расхищителей времени!..

Опенкин сошел вниз под одобрителный смех в зале и аплодисменты.

И почти все, кто выступал после Опенкина, — а выступило еще человек десять, так что по «цифровым показателям» собрание партактива прошло «на уровне», — почти все говорили о том, как вредно отражаются на работе обилие заседаний, долгие словопрения, келейность обсуждения таких вопросов, какие нужно бы решать с народом.

Редактор районной газеты Посохов, сидевший в президиуме позади Мартынова, усмехаясь, нагнулся через спинку стула к нему.

— До чего же страшна сила инерции, Петр Илларионович! Смотри-ка, задал ты тему для разговора: о вреде пустословия, и уж который человек об этом ораторствует, повторяют друг друга!.. «Еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!»

Секретарь райкома комсомола Рыжиков говорил:

— В древние времена в Спарте считалось доблестью, если человек сумел в двух-трех словах выразить то, что другой и в часовую речь не уложит. Не следовало бы нам возродить эти спартанские традиции?

Ему бросили реплику из зала:

— А сам не уложился в регламент, тринадцатую минуту уже говоришь!

Выступил секретарь парторганизации колхоза «Дружба» Мостовой, тот самый, что сочинял речь для заведующей свинофермой Гончаровой, и резонно, с фактами отчитал работников аппарата райкома за канцелярские методы руководства.

— Приезжает к нам в первичную организацию инструктор райкома. Что он проверяет, чем он интересуется? Когда партийные собрания проводили, какие вопро-

сы обсуждали. Опять же — сколько человек выступило в прениях, достаточна ли была активность. Ну, решение прочтает, грамотно ли написано. План работы спросит — какие читки, беседы в бригадах наметили, проводим ли их. А что в нашей жизни изменилось после этих собраний — это его не интересует! Вот в такой-то бригаде проводили беседу о решениях пленума. А как оно там после этого пошло дело? Лучше ли стали работать колхозники? Может, новые стахановцы в этой бригаде появились? Соревнование закипело? А ежели никакого сдвига, — как же вы, товарищи, проводили беседы? Чего-то, значит, не довели до сознания народа! А ну-ка, пойдёмте вместе, ещё поговорим с людьми, и я вам помогу! Так бы нужно. Но у нас так не делается. Бумажки, бумажки!.. Как говорится: можешь и не уметь работать — умей отчитаться гладко, по бумажке, и все будет в порядке! Сами вы, товарищи райкомовцы, приучаете нас к этому! А вы, товарищ Мартынов, видимо, совсем не занимаетесь своими инструкторами. Прямо через их голову, по крутой траектории, достаёте в колхозы. Хотите, чтоб в колхозах был порядок, а до сих пор не навели порядок в своём аппарате! Под носом у вас, в самом райкоме — и бюрократизм и канцелярщина, все то самое, за что и нас ругаете!..

Мартынов почесал затылок. Что верно, то верно. До самого близкого у него как-то «не дошли руки». Не собирал он ни разу инструкторов, не беседовал с ними по душам, не учил их на практике живым методам партийной работы. Отношение секретарей к работникам аппарата райкома оставалось старое, по привычке — как к обычным «уполномоченным», которых всех проще и удобнее посылать в колхозы потому, что они всегда под рукой...

И выступила ещё раз, уже без шпаргалки, Гончарова. Женщина, собравшись с мыслями, просто и интересно рассказала, благодаря чему их ферма стала образцовой. Рассказала, как они перевозили из села дома всех работников фермы, и там, в десяти километрах, образовался новый посёлок, люди обосновались на жительство прочно, обзавелись садами, держат много птицы на хуторском приволье, и за последние годы из её свиначок ни одна не ушла с фермы; как добилась — не без скандала в правлении колхоза, — что учеников с их хутора, детей свиначок,

теперь ежедневно возят в село, в школу, на санях. Рассказала, как она, чувствуя ответственность не только за производство, но и за хорошую жизнь колхозников в ее бригаде, организовала людей и прошлым летом в свободное время они своими силами восстановили плотину на речке, у старой мельницы, и с помощью шефов-железнодорожников электрифицировали ферму и хутор. Теперь у них там и светло, и радио, по вечерам работает школа взрослых, все свинарки учатся на зоотехнических курсах. Сообщила, что многие свинарки за зиму по очереди побывали в лучших колхозах области, посмотрели там порядки в животноводстве, перенимают оттуда для себя хороший опыт.

— Вот теперь нам понятно, товарищ Гончарова! — сказал Руденко. — Дело, стало быть, не только в дезинфекции и культурном опоросе? Можно было подумать, что тебя только свиньи и интересуют. А ты со свинарками работаешь. Тут-то и корень успеха.

Мартынов не выступал на этом собрании. Не потому, пожалуй, что потерял голос, — как-нибудь прохрипел бы. Видимо, не все еще обдумал, как отвечать Опенкину и другим коммунистам, которых сам же вызвал на сегодняшний откровенный взволнованный разговор. Так нельзя проводить собрания, как проводили до сих пор. А как надо?..

Проект решения, подготовленный в аппарате райкома, читал заведующий отделом пропаганды и агитации Жбанов. Читал без малого час.

— Черт поberi! — сгорбившись, опустив голову на руки, выругался Мартынов. — Не просмотрел перед собранием их сочинение. Ну, и насобачились же пудовые резолюции писать!..

В проекте решения, в так называемой «констатирующей части», в сотый раз констатировалось то, что констатировалось и в решениях прошлых пленумов и партийных активов: отставание такого-то участка, запущенность такой-то работы. Эти страницы были просто списаны работниками аппарата райкома из старых резолюций. Но и в «постановляющей части» мало было свежих, новых слов. И эта часть подозрительно смахивала на что-то очень много раз уже читанное с этой трибуны, перед таким же собранием. Все то же: «обязать», «обратить исключительное внимание», «направить усилия», «поднять

на должную высоту». В проекте было охвачено буквально все, чем только не приходится заниматься райкому партии и первичным партийным организациям: и радиофикация, и колхозная самодеятельность, и наглядная агитация, и пионерская работа, и агроучеба, и очистка семян клевера, и борьба с эпизоотиями, и ремонт дорог.

После голосования проекта «за основу» Мартынов внес — опять к удивлению и возмущению Голубкова — предложение: сократить его раз в десять.

— В самом деле, — сказал он, — следовало бы, как говорил здесь Опенкин, наказывать тех товарищей, которые не шадят наше время!.. Кто его будет читать, такое решение на пятьдесят страниц в колхозных парторганизациях? Когда его там люди успеют прочитать?

За сокращение проекта взметнулся лес рук.

Голубков встал, хотел, видимо, что-то возразить Мартынову, но раздумал, махнул рукой...

Влопыхах никто не внес никаких изменений и добавлений к проекту.

Схватился Голубков с Мартыновым уже вечером, в райкоме.

— Мне неудобно было обрывать и поправлять тебя, первого секретаря, там, на собрании, — говорил Голубков. — Но это же черт знает что, товарищ Мартынов! Ты воспитываешь у коммунистов неуважение к партийным документам, к нашим решениям!

— Именно из уважения к партийным документам, — отвечал теряющий самообладание Мартынов, — нельзя писать так резолюции! Топим главное в словесной воде! Двадцать раз: «Исключительное внимание!» А что же на самом деле требует исключительного внимания?.. Это вы, вот такие канцеляристы, превращаете важные партийные документы в пустую бумажку! Наш грех — у нас инструктора плохо работают. Но и ты же, когда приезжаешь к нам, обращаешь исключительное внимание только на бумажки: как решения написаны? Это для тебя наши товарищи такие всеобъемлющие резолюции пишут! Чтоб, боже упаси, не придрался к чему-нибудь! «А где же стенная печать? Где работа среди учителей? Стало быть, вы этими вопросами не занимались?» — «Нет, шалишь, не придерешься! Занимались!

Вот тут все записано. В десяти решениях эти пункты записаны!..» Слепая вера в силу бумажки: записано — сделано. Ого! Далеко еще не сделано!..

— Ты увел собрание партактива от основных вопросов! — стоял на своем Голубков. — Вы по существу и не обсудили итоги пленума обкома. Видите ли, сомнения у них появились: не слишком ли часто проводим пленумы, собрания? Не слишком ли много заседаем? Эти собрания — школа коммунистического воспитания!

— Они должны быть школой коммунистического воспитания! — говорил Мартынов. — Какое собрание, как провести его! Если тебе поручить провести собрание, боюсь, что не та школа получится!

— Вот ты провел сегодня актив, так провел!.. Я доложу, что вследствие неподготовленности, твоего мальчишества, несерьезного отношения к делу и еще черт знает каких-то заскоков ты сегодня почти сорвал партактив!

— Валяй докладывай! — У Мартынова лопнуло терпение, и он стал убирать бумаги со стола в сейф. — Докладывай! Только поскорее. Время — к весне, пусть новый секретарь хоть успеет с районом познакомиться... Но только я не думаю, товарищ Голубков, что в обкоме все такне... как ты. Разберутся!

Утром Руденко заглянул к Мартынову домой. Мартынов, Надежда Кирилловна и сын их, Димка, завтракали в столовой.

— Присаживайтесь, Иван Фомич. — Надежда Кирилловна придвинула к столу четвертый стул.

— Спасибо, — отказался Руденко. — На работу иду. Такого случая не было, чтоб жена выпустила меня из дому голодным.

Присел на диван.

— Не жалеешь, Петр Илларионович, о вчерашнем?..

— Нет, не жалею. Будь, что будет!.. — Мартынов допил чай, протянул стакан жене за добавкой. — Вот послушай, Фомич, до чего это доходит. Димка! Расскажи, что ваша пионервожатая на прошлом сборе говорила.

Димка, мальчик лет десяти, очень похожий на отца, такой же синеглазый, черноволосый, встал из-за стола, потянулся к окну, где на ручке переплета висел его ученический портфель с книжками и тетрадами.

— Она нам сказала: «Не надо, ребята, смущаться, когда выходите на трибуну. Это не речь — два слова и назад. Надо долго говорить. Кто научится долго говорить, тот будет начальником, когда вырастет...»

Мартынов и Руденко расхохотались.

— Смеемся, а в общем не смешно — грустно, — сказал Мартынов.

Надежда Кирилловна, убирая со стола, вопросительно взглянула на мужа:

— О чем у вас речь? «Будь, что будет!..» Опять что-то начинается?

— Да ничего особенного, Надя, — успокоил Мартынов жену. — Повздорил с инструктором обкома. Он, конечно, напишет докладную записку секретарям, кое-что переврет, сгустит краски. Но и я же могу дать объяснение.

— Вот сушитель мозгов, этот Голубков! — Руденко покрутил головой. — И зачем держат таких на партийной работе?

— Это он был у нас уполномоченным обкома, когда Глотова заставили свеклу по грязи сеять? — спросил Мартынов.

— Он, он! С Борзовым у них контакт был. В четыре руки кулаками по столу стучали.

На улице, по пути в райком, Руденко говорил Мартынову:

— А Демьян правильно поднял вопрос. Двадцать закрытых заседаний в месяц, а колхозные собрания — раз в полгода. Как же мы работаем? Что это за работа? Есть над чем призадуматься! И проводим мы свои заседания зачастую для формы. «Да выступи, скажи чего-нибудь! Надо же активность проявлять!» И выступают, и болтают «чего-нибудь», лишь бы считалось, что собрание проведено. Иной раз просто стыдно, когда сидишь на таком собрании.

— Основа всему — доклад, — сказал Мартынов. — Если нет жизни в докладе, нет жизни и в прениях, и все собрание тогда впустую!

— Я уж тебе сказал, Петр Илларионович, о вчерашнем своем докладе: выдохся! Пять докладов сделал на этой неделе. Нет, нет, слишком много мы ораторствуем, агитируем друг друга, как Демьян говорит. Нельзя дальше так!

— Согласен с Демьяном? А в заключительном слове ничего не сказал об этом.

— Так мы итоги пленума обсуждали, а не вопрос о количестве заседаний.

— Осторожничаешь, Фомич! Все видят, чувствуют, что нельзя дальше так, а сказать не решаются. Эх вы, друзья, помощники! Пусть Мартынов начинает? На чужом лбу шишку видеть приятнее, чем на собственном?..

Через неделю Мартынова вызвали в обком партии.

Мартынов сидел у заведующего сельхозотделом со своими перспективными планами, когда туда позвонили из приемной первого секретаря и пригласили его зайти.

Секретарь обкома в этой должности, в разных областях, пребывал уже лет десять. Пожилой, за пятьдесят, участник гражданской войны, командир эскадрона в Чапаевской дивизии, в Отечественную войну — член Военного Совета одной из армий на юге. Небольшого роста, сухощавый, с непокорным, молодившим его чубом прямых русых волос, то и дело спадавших на лоб. Страстный любитель, как говорили о нем, парусного спорта и охоты: все выходные дни проводил либо на Монастырском озере, на водной станции, либо в Чугуевских лесах.

Это у Мартынова была первая встреча с ним, первый большой разговор, не считая коротких встреч на пленумах и на двух заседаниях бюро обкома: когда снимали Борзова и второй раз — когда его, Мартынова, рекомендовали первым секретарем райкома.

— У вас, Алексей Петрович, это, может быть, не так наболтело, как у нас, низовых работников, — говорил Мартынов. — А нам, поверьте мне, это уже невтерпех, невыносимо! Вам меньше приходится видеть плохих собраний.

— Ты что хочешь сказать, — секретарь недовольно поморщился, — что мы, обкомовцы, жизни не знаем, оторваны от жизни?

— Нет, я не это хочу сказать... Если вы приезжаете на собрание и видите, что оно идет вяло, люди выступают без души, лишь бы только чего-то для протокола наговорить, вы же не выдержите, вмешаетесь, разожжете страсти. Повернете, в общем, собрание куда нужно. При

вас собрание хорошо пошло. А вот как оно без вас прошло бы, этого же вы не могли видеть!

— Хитер, вывернулся! — рассмеялся секретарь обкома. — Пей чай. — Придвинул к Мартынову стакан крепкого чая с лимоном. — Больше, прости, у нас в обкоме посетителей ничем не угощают. Возьми печенье.

— Ну у нас в райкоме и чаю для посетителей нет, — сказал Мартынов, разламывая печенье над стаканом. — Ваш финсектор денег нам на это не дает... Алексей Петрович, раз уж заговорили о финсекторе, дело небольшое, но все же три тысячи висят на моей шее...

— За что?

— Мы в декабре проводили районный слет механизаторов. Надо было премировать лучших трактористов и комбайнеров. А денег на это в МТС нет. Что делать? Продали райкомовскую кобылу по решению бюро. Она нам не нужна была. Две машины в райкоме, в райисполкоме четыре лошади, да и кобыла-то уже стара и упряжи на ней нет. Продали в лесничество, для объездчика. А ваш инструктор, из финсектора, составил на меня акт: «Не имели права продавать! Лошади, как и все имущество райкомов, числятся на балансе обкома». Но мы же ее не пропили, ту кобылу. Не на банкет деньги истратили. Купили пять штук часов, отрез на костюм, велосипед. Слет провели хорошо! Принародно вручили премии!..

— Счета есть?

— А как же! И счета, и расписки от тех, кого премировали.

— А в следующий раз — надумаешь свекловичниц премировать, — что будешь продавать? «Победу»?.. Ладно, напиши заявление, оставь помощнику. Разберем.

Секретарь обкома раскрыл папку с бумагами, перелистал их.

— Так вот, товарищ Мартынов, я прочитал протокол вашего нашумевшего собрания партактива... — Он долго молчал, нахмурившись. Мартынов перестал отхлебывать чай, осторожно, чтобы не звякнуть ложечкой, отодвинул стакан. — Вот выступление Опенкина... Вот еще выступления председателей колхозов... Неглупо... Но я с ними не согласен. Они, как хозяйственники, сугубо практические люди, все переводят на человеко-часы, в этом видят зло — в потере времени. А я как партийный работник вижу еще зло и в другом... Самое страшное — не в потере

времени... Если в организации такие болтуны, как ваш Коробкин, не в единственном числе, — во что они могут превратить наши партийные собрания, которые мы называем школой коммунистического воспитания? В школы пустословия?..

У Мартынова радостно забилося сердце:

— Алексей Петрович!..

— Погоди... Коробкины всерьез думают, что все это и есть самая настоящая работа — произносить изо дня в день такие речи: «Корма — это основа животноводства!» «Свинья — полезное животное!» Создается видимость работы. Одни кричат так, что стены дрожат, другие бубнят эти же слова по бумажке — цена их речам одна. Пустословие — это душевная отравка, какой-то усыпляющий сознание дурман... Люди думают, что они действительно делают что-то нужное, большое, полезное обществу. Что они таким образом руководят, воздействуют на колхозную жизнь. Отсидел на заседании шесть часов, и совесть его чиста: он сегодня славно поработал! Слушал речи о необходимости усиления массово-воспитательной работы в колхозах, сам выступал до хрипоты в горле, уставший идет домой пообедать, отдохнуть. Ведь это не работа, а бегство от настоящей работы в разговоры, болтовню о работе... Когда это пустозвонство становится специальностью, профессией некоторых наших товарищей, — вот что самое опасное!..

Секретарь говорил ровным голосом, медленно, с большими паузами, как бы проверяя вслух перед самим собою и Мартыновым мысли, давно выношенные.

— Партийное собрание, актив, пленум — не самоцель. Собрание мы проводим не ради самого собрания, а ради того, чтобы после него коммунисты ринулись в бой! В работу бы ринулись засучив рукава!.. Коллективным умом решаем дела большой важности, вскрываем недостатки нашей работы. На партийных собраниях молодые коммунисты учатся впервые выступать с речами, убедительно, логично излагать свои мысли. Учатся ораторскому искусству, чтобы потом выступать перед народом. Это тоже дело нужное: каждый коммунист должен быть пропагандистом, агитатором... Но не у коробкиных же они должны учиться!

— В том-то и дело, Алексей Петрович! — сказал Мартынов. — Показная активность! Собрание проведено,

выступления были, протокол написан — форма соблюдена. В чем, в чем, но уж в партийной работе формализм совершенно невыносим! С нас берут пример и комсомольцы, и пионеры. Формализм бюрократизму родной брат. А у Ленина в последнем томе, в тридцать пятом томе, в одном письме сказано: если что нас погубит, то именно бюрократизм. Этого-то мы, конечно, не допустим. Но Ленин предупредил нас, какая это серьезная опасность!..

Два коммуниста, два секретаря посмотрели друг другу в глаза долгим изучающим взглядом. Им предстояло работать вместе и, может быть, не один год. Секретарю обкома было приятно совпадение их мыслей, Мартынову более чем приятно — радостно.

Секретарь обкома, пройдя по кабинету, остановился у большого окна, из которого, с четвертого этажа, открывался широкий вид на пригородные заводские новостройки, на заснеженные поля с перелесками на горизонте. Мартынов тоже встал, подошел к нему.

— А слово «оратор» — вообще-то слово неплохое, — сказал секретарь обкома. — Ораторское искусство — очень нужное нам искусство! Жаль, что оно в последнее время стало как-то принижаться. Все речи читаем по бумажке...

Помню, как мы проводили работу в период организации первых колхозов. Те времена очень памятливы! Если бы мы тогда перед крестьянами бубнили речи, уткнувшись носом в бумажку, — вовлекли бы мы их в колхозы?.. Жесточайшая проверка была для руководителя в деревне. Не найдешь доходчивого к народу языка, не умеешь с людьми разговаривать, не увлечешь их за собой словом, делом, личным примером — и месяца не удержишься на своем посту, провалишься!.. Суесловие искореняй, товарищ Мартынов, но само слово «оратор» в обиду не давай! Это слово не для насмешек. Все старые революционеры были ораторами. Учить надо коммунистов этому искусству! Настоящих ораторов нужно ценить, как всяких художников своего дела!.. Да, насчет Голубкова. Больше он к вам не придет. Это он уж не из первого района привозит нам жалобы на местное руководство, которые против него же оборачиваются. Мы его не оставим на партийной работе. Другому инструктору дадим ваш куст... Справился у нас в отделах со всеми делами? Ну что ж, поезжай домой.

Секретарь обкома пожал руку Мартынову.

— На днях приеду к вам в район. Побываем с тобою на «плохих собраниях», которых я не видел, подумаем, как сделать их хорошими... Да, поменьше бы надо агитировать друг друга, а побольше — живой работы с рядовыми колхозниками. Но ведь можно и слет передовиков, скажем, — самое живое дело, народ! — провести так, что пользы не будет ни на грош. «Зачитать» без огонька доклад, заготовить заранее всем речи — вот и казенщина, формализм!.. А ты горяч, товарищ Мартынов! Не укатали бы сивку крутые горки.

Мартынов даже вздрогнул, услышав опять эти слова. Не удержался, сказал секретарю обкома, что уже в третий раз слышит от разных людей это предостережение.


— А что же, поговорка и в применении к нам правильная, — ответил секретарь. — Я же не говорю: укатают, а — не укатали бы! Горки-то есть, чего нам на них глаза закрывать. Вот этот самый формализм с родным братцем бюрократизмом да еще всякие их родственнички — вот и горки... Ты, может быть, думаешь, что мне здесь легче? Выше должность, больше власти, больше силы в руках? Оно-то так. Силы больше, но и горки круче. В другом все масштабе. И у нас есть свои коробчины. Да какие! Ваши нашим и в подметки не годятся. Им еще учиться да учиться у наших! Прямо гроссмейстеры суесловия! Классики!.. Предложишь ему на бюро высказать точку зрения по какому-то вопросу — по персональному делу, что ли, — он встает и начинает метать громы и молнии. Интонация, глаза, жесты! Если слушать его издали, куда слова не долетают, можно подумать, что он произносит смертный приговор человеку. А он всего-навсего предлагает «указать». По интонации — страстный борец, обличающий пороки, а по смыслу речи — либерал, потатчик перерожденцам. Или обсуждаем вопрос: согласиться или не согласиться с министерством по поводу такого-то строительства, не слишком ли растянуты сроки, может быть, изыщем резервы? Опять же он при стенографистке произнесет такую речь, которую потом, в случае чего, можно будет истолковать и так и этак. Не выдержим сокращенные сроки и намылят нам за это шею — скажет: «Я предупреждал, как бы не обвинили нас в мальчишестве! Вот стенограмма!» Похвалят за хорошие темпы — он к этому примажется. Он был в основном «за»! И даже попытается всунуть свою фамилию в список на ордена.

Артисты!.. И скажу тебе, Мартынов, трудновато таких артистов развенчивать. У них и стаж, и безукоризненная анкета, и диплом, и солидная осанка, и многолетнее пребывание в номенклатуре. И — связи. К сожалению, и в наше время не обходится без покровительства. У иного в Москве, в каком-то могучем аппарате, — приятель, свояк. Тронь его — телеграммы, звонки: «Представьте объяснения!», «На каком основании?..» Докажешь, что это ничтожество, беспринципная, прости за выражение, сопля, избавишься от него, глядишь — через некоторое время он выплывает в другой области, в той же должности!..

Секретарь обкома проводил Мартынова до двери:

— Пустословие — это еще не все, товарищ Мартынов. Это, так сказать, частность, признак обывательского отношения к партийной работе... Вот, скажем, в области готовятся к партийной конференции. Для настоящих коммунистов это подготовка к серьезному, большому событию в партийной-жизни области. А сколько обывателей по-своему переживает эту подготовку! Будут или нет большие перемены, то есть останется ли первый секретарь на своем посту? А какие наметки по отделам? Слоняются по кабинетам, шушукуются, разноухивают. Останется ли наш заводделом? Говорят, ему уже предлагали какую-то хозяйственную работу. Ну-у? Значит, другой будет... А меня как бы на периферию куда-нибудь не послали. Эх, дурак, не дал согласия, когда предлагали банно-прачечный комбинат! Баня — это все же в городе. Как загонят в Грязновский район, к черту на кулички, вторым секретарем! Да вторым-то еще ничего, а вдруг на отдел? Их не волнует, какое влияние окажет партийная конференция на жизнь области, какие будут после нее сдвиги, поправятся ли дела в отстающих колхозах. Их волнует лишь одно: как эти большие или малые перемены отразятся на их брэнном существовании? Не сорвут ли их с насиженных мест? Не понизят ли в ранге, зарплате? Столоначальники!.. А в общем не подумай, товарищ Мартынов, что я плачусь тебе в жилетку. Я не жалуясь на трудности. Я только говорю тебе, что обывательщина в разных формах проявляется, и трудновато с нею бороться. Трудно, но не невозможно. А раз можно с нею бороться — давай бороться!..





*Дмитрий Осин*

## АЛМАЗНАЯ ГРАНЬ

Объявление о том, что товарищеский суд будет разбирать жалобу мастера Варфоломеева, висело в клубе несколько дней. К назначенному часу в нем собрались жители поселка, соседи-рабочие, любительницы всяческих происшествий и новизны.

Когда члены суда подошли к столу, все встали. Варвара Мартьяновна, в черном шерстяном платье и самовязке-кофте, постучав карандашом по дорогому хрустальному графину, подождала, пока стихнет шум. Короткие седоватые пряди выбиваются у нее из-за ушей, на щеках просвечивают сизые склеротические жилки.

— Все в сборе? Приступим...

Справа, за столом, опирается на руку остреньким подбородком лаборантка стекольного завода Груня Лешова; слева, поглаживая скатерть, сидит лысоватый, худощавый шлифовщик Казберук. А в первом ряду среди собравшихся нервно шурится, ожидая начала заседания, браковщица хрустального цеха Наста Вострякова.

Она красива тою вызывающей красотой, что знает о себе и, не желая смиряться ни перед чем, оскорбленно недоумевает:

«Что ж я такого особенного натворила? Ну-ка!..»

За ней виднеются свидетели, а у самой двери сутулится стеклодув Кирилл Попилин, больше всего, кажется, желающий остаться незамеченным.

— Разбирается заявление Варфоломеева,— негромко и значительно произносит Варвара Мартьяновна, обведя

всех карими, проникновенно-зоркими глазами, повелительно требующими тишины и внимания. — По поводу неоднократных ссор и недоразумений гражданки Востряковой Анастасии с Кириллом Попилиным. Лешова, огласите жалобу!

Сгоняя улыбку с полных открытых губ, Груня Лешова берет у нее заявление и, старательно напирая на дикцию, выразительно читает:

— «Прошу товарищеский суд принять меры воздействия против постоянного нарушения правил социалистического проживания гражданкой Востряковой Анастасией, которая вот уже месяц, а то и больше, делает невозможной жизнь стеклодуву Попилину К. П. и всем другим соседям в доме номер восемь по Брянской улице...»

Сборные заводские дома вспыхивают разноцветными электрическими огнями. За ними в стылых зимних сумерках — высокая кирпичная труба стекольного завода, круглобокая шатровая крыша. Там день и ночь дребезжат по рельсам вагонетки, слышится певучий звон стеклянных холяв, веет сквозняковое дыхание гуты.

Груня Лешова держит заявление так, словно боится запачкать длинные тонкие пальцы, на одном из которых поблескивает золотое колечко с затейливой ювелирной витушкой и крошечным рубином. Заметно располневшая и осторожно-неторопливая, в темнокоричневой, отороченной серым барашком шубейке на плечах, она будто сохранила еще принесенное с улицы огненное дыхание январской стужи и сказочно опущенные инеем ресницы.

Чем дальше, негодуя и увлекаясь, читает лаборантка, тем задорнее держится Наста Вострякова. Ей жарко, и хотя красиво-победная голова с прямым пробором в пышных, вьющихся волосах клонится к плечу, губы улыбаются чему-то своему, затаенному, что нельзя высказать ни вслух, ни на бумаге. Изредка вскидывая тяжелыми медно-рыжими бровями, она поглядывает на Попилина и чуть снисходительно усмехается не то над его растерянностью, не то над собой.

— Может, хотите добавить что-либо еще, Варфоломеев? — предлагает Варвара Мартьяновна, когда чтение кончается и Груня Лешова, осуждающе умолкнув, передает заявление Казберуку.

— Я скажу потом, — внушительно обещает, приподнявшись, Варфоломеев. Красный старенький шарф на его

шее размотался, обнажив костистый, морщинистый кадык. Бритое лицо с большим, по-стариковски разлатым носом полиловело. — А сейчас пускай лучше Попилин выскажется.

— Гражданин Попилин, — обращается к стеклодуву Варвара Мартьяновна, — что вы имеете сказать по этому делу... — и тут же поправляется, — заявлению?

Тот нехотя поднимается с места и, угловатый, неловкий, в теплом танкистском пиджаке с лычками от спорных погонов, некоторое время молчит.

— Ничего.

— Не может этого быть.

— Я ничего не заявлял. Так что и добавлять... вроде нечего.

Откровенно торжествуя, Наста Вострякова оборачивается к судейскому столу. Все, что, казалось, еще тревожило ее во время чтения, исчезло. Пальто распахнулось; грудь порывисто вздымается.

— Но факты? Факты вы подтверждаете или нет? — напоминает Варвара Мартьяновна, надевая очки, и словно для пушей убедительности показывает ему заявление. Глаза ее светятся требовательно и строго; дужка на переносице обмотана чистой белой тряпочкой.

Кирилл Попилин угрюмо разводит руками.

— Факты как факты...

— Вы их подтверждаете?

— Не все... подтверждаю.

— Ну что от него допытываться? Вы у нее спросите! — негодует соседка-свидетельница — пожилая, опрятно одетая женщина с роговой старинной гребенкой на макушке. — Совсем характеру лишился! Разве не видите?

Варвара Мартьяновна одергивает ее:

— Добрынина, вас в свое время спросим! — И запросто предлагает стеклодуву: — Кирилл Петрович, не отнимай ты у нас зря время. Не хочешь помочь — не надо, сами разберемся.

— Мы, гутари, с бабами не воюем, Мартьяновна, — не без задора подмигивает в свое оправдание Попилин. — Разбирайте как знаете.

— Баб здесь нету! — Груня Лешова возмущена и не в состоянии скрыть этого. — Пора бы знать...

— Ну, с женщинами, — охотно поправляется, потупясь, Попилин. — Извиняюсь!

— Садитесь, — разрешает Варвара Мартьяновна и, посоветовавшись с членами суда, решает продолжать опрос дальше.

Она прожила здесь, на стекольном заводе, всю свою жизнь. С четырнадцати лет работала подносицей, затем — подручной шлифовщика, мастерицей по зимним, виноградным и всяким иным узорам, украшающим дорогой хрустальный товар. Ее знают в поселке все; да и Варвара Мартьяновна знает в нем каждого — если не в лицо, то хоть понаслышке: у кого живет и где работает.

Председателем товарищеского суда ее избрали год тому назад. Долгая и безупречная трудовая жизнь дает Варваре Мартьяновне непререкаемый моральный авторитет при разборе всяческих бытовых дразг и ссор.

Дверь ее комнаты, заставленной цветочными горшками и увитой зеленью, открыта в любое время людскому горю и радости. Для всех находит Варвара Мартьяновна участливое слово и добрый совет, а кому не в силах помочь сама — идет к директору, в завком, добывается того, что следует. И только свое горе, свою беду несет одна, не деля ни с кем.

Особенность дела, которое слушается сегодня, состоит, между прочим, в том, что надо разобраться во всем, не вмешиваясь в интимную жизнь замешанных лиц. И хотя по натуре Варвара Мартьяновна склонна к прямым и откровенным действиям, но продолжает разбор осторожно и неторопливо.

— Гражданка Вострякова, что вы можете сказать по этому заявлению? Начистоту...

Осуждая поведение браковщицы, она от души хочет помочь ей. И Наста сразу чувствует это.

— Что начистоту?

— Да все, — сурово кивает Казберук. — Правда это или нет?

— Не знаю...

— Как не знаете? — удивляется Груня Лешова.

— А так. Как кому покажется...

— Что-то непонятно, — настороженно прищуривается Казберук и шепчется о чем-то с председательствующей.

— Что ж тут непонятного? — Наста Вострякова словно забавляется. — Варфоломееву, может, и правдой кажется все, что он расписал, а по мне — так и полправды нет!

Собравшиеся засмеялись. Варвара Мартьяновна сно-

ва постучала карандашом по графину, внутри которого алел рубиновый чудесный петушок.

— Настасья Григорьевна, ты нам комедии не разыгрывай. Говори по существу.

— Кому, видно, комедия,— несговорчиво передергивает плечами Наста.— А мне плакать впору!

— Как оштрафуют рублей на сто, так заплачешь,— запальчиво грозит ей свидетельница Добрынина, упрекающая Кирилла Попилина в отсутствии характера.

Варфоломеев не вытерпел:

— Я прошу суд проверить факт за фактом конкретно, фактически. А потом уже общие выводы...

— Верно, Осип Васильич! — Груня Лешова тоже всеми силами души осуждает Насту Вострякову, но, помня, что судьбы должны быть беспристрастными и принципиальными, сдерживается, останавливает себя, стараясь спокойно вникнуть в суть дела.

— Перейдем к фактам,— соглашается Варвара Мартьяновна и, заглянув в заявление, спрашивает браковщицу: — Гражданка Вострякова, вы оставляете говорящий репродуктор, уходя из дому, когда Кирилл Попилин отдыхает, возвращаясь со смены? Сколько раз это было? Нарочно?

— Пускай он сам скажет...

— Весь дом знает, как ты ему отдыхать не даешь,— упрекает браковщицу Варфоломеев.— Изо дня в день!

Наста Вострякова сидит как на иголках. Красивое ее лицо покрылось лихорадочными пятнами, губы побледнели, сделались тоньше.

— А как грязную воду под дверь ему льешь,— напоминает Добрынина.— Отопрись-ка... Ну?

— Вот вам и факты,— сурово и невесело устанавливает Варвара Мартьяновна и на минуту задумывается, будто не зная, что с ними делать дальше.— Как из грязного корыта выплеснуть...

Груня Лешова брезгливо морщится.

— Безобразие какое! Другого слова не придумаешь.

— А что ж Попилин? — Казберук заставляет всех обернуться к стеклодуву.— Подтверждает он это или нет?

— Я ее репродукторов не слышу,— каменно помолчав, отрицает тот.— А насчет мусору, может, и случилось... не помню уж.

Наста Вострякова еще ниже опускает голову. Побед-

но-вызывающее выражение на ее лице сменилось растерянно-виноватым; пальцы обрывают концы полушалка.

— Ну как? И теперь не признаешься? — допытывается у нее Варвара Мартьяновна. — Не храбра же ты на ответ перед народом! Я бы на твоём месте...

— Говорите, что хотите, — негромко говорит Наста и запахивает пальто, словно ей зябко.

— По-моему, все ясно, — хмуро и неодобрительно кивает Казберук. — Давайте опросим свидетелей.

Варвара Мартьяновна вызывает Добрынина.

— Свидетельница, расскажите все, что вы знаете об этих фактах. Вы ведь живете в одном доме с Востряковой?

Добрынина вскакивает и, поддаваясь увлекающей значительности того, что происходит, сварливо частит:

— Все-все правильно! Она, Наста эта, кому хотите житья не даст...

— Не Наста, а гражданка Вострякова, — поправляет ее Варвара Мартьяновна. — Продолжайте!

— Ну, пускай себе Вострякова, — повторяет свидетельница. — Попилин — человек одинокий, заступиться за него некому. Вот она и измывается! Вчера напустила перед его приходом целый коридор дыму, грозитя: «Водой не залью, так дымом выкурю!»

Присутствующие расхохотались. Груня Лешова, блестя ровными, чистыми, без единой черинки, зубами, уточняет:

— Чего ж она добивается? Как по-вашему?

Добрынина азартно взмахивает коротенькими пухлыми ручками.

— Это уж вы у нее самой спросите!

Поправив очки, Варвара Мартьяновна останавливает ее:

— Не будем отвлекаться. Значит, вы подтверждаете, гражданка Добрынина, что Настасья Вострякова, проживая в доме номер восемь, систематически нарушает правила социалистического общежития?

— Еще бы! Конечно, подтверждаю, — сразу же соглашается Добрынина. — Как оно там называется по-судейскому — не знаю, а попросту говоря: поедом ест!

Собравшиеся зашептались снова, оглядываясь то на Кирилла Попилина, то на Насту Вострякову. Общее мне-

ние складывается явно не в ее пользу, и все — судьбы и присутствующие — понимают это.

Варфоломеев медленно поднимается.

— Разрешите мне тоже.

Оглядев всех по-стариковски пристальными, покрасневшими глазами, он выпрямляется, проводит костистой, с вздувшимися венами рукой по заседевшей голове.

— Не можем мы, товарищи, равнодушно проходить мимо пережитков капитализма. Они у нас... вроде ореха в стекле!

Старый мастер-стекловар любит поговорить образно и приподнято.

— А раз пошел орех — останавливай печь, меняй шихту... Так?

— Так, так, — слышались одобрительные голоса.

— Это уж иначе нельзя!

Варвара Мартьяновна слушает его, задумавшись о чем-то своем. Варфоломеев прав, но ее тревожит и то, что дело не так просто, как кажется. Надо во что бы то ни стало добраться до истины.

Вчера после дежурства в будке она заглянула к браковщице на квартиру. Наста Вострякова стирала белье. В маленькой прихожей было душно от пара, пахло мылом, щелоком и тем, чем обычно пахнет во время стирки. Мыльные пузыри — радужно-фиолетовые, золотистые, лиловые — плавали над корытом и, опускаясь на горячую лежанку, лопались от жары.

— Ишь, разошлась, — кивнула Варвара Мартьяновна. — Ровно машина какая... даже пузыри полетели!

— Тоже придумала, — рассердилась браковщица. — Есть у меня время забавляться!

Мальчишка-школьник, удивительно похожий на мать, выглянул из горницы, держа в губах тонкую соломенную трубочку.

— Ма-ам, можно я еще разок макну?

— Вот я тебе помакну сейчас, — замахнулась на него выкрученным полотенцем Наста и, обернувшись к Варваре Мартьяновне, негостеприимно спросила: — За чем хорошим пришла?

— Поди, догадываешься?

Наста Вострякова оглянулась на сына, приказала:

— Алешка, ступай-ка к дружкам куда! Мне с Мартьяновной потолковать надо.

— Ох ты-ы? — обрадовавшись, удивился тот. — Я к Мишутке Добрынину! Толкуйте хоть до утра...

— А уроки сделал?

— Сделал, сделал...

Он ушел, не одеваясь. Добрынины жили в этом же доме, на втором этаже.

Наста Вострякова согнала с полных, распаренных рук мыльную пену, выжидающе обернулась.

— Чего мне гадать? Знаю: судить собираетесь!

— Не судить, а заявление Варфоломеева разбирать, — поправила ее Варвара Мартьяновна.

— Все одно и то же.

— Одно, да не то же. — Не раздеваясь, Варвара Мартьяновна присела на освобожденную от мокрого белья табуретку. — Мы хоть повесток не рассылаем, а являться все равно обязательно.

— А если не приду? — поинтересовалась Наста.

— Как это не придешь?

— Так, возьму да не приду, — вызывающе повторила она. — Не признаю я ни вас, ни суда вашего!

Варвара Мартьяновна сдержалась:

— Не придешь — разбирать не станем.

— Ну и что ж такого...

— А то, что, ежели не утихомиришься, передадим в народный суд.

— Так уж и в народный? — не сразу поверила браковщица.

— Думаешь, нянчиться будем?

Наста Вострякова уже поняла, что надо выходить из создавшегося положения любой ценой. Выхватив из корыта чью-то мужскую рубаху, она, не выкручивая, с сердцем шваркнула ее об пол.

— Вот еще лихо на мою голову!

— Чье это у тебя? — пригляделась Варвара Мартьяновна. — Уж не соседово ли?

— Еще что? Стану я чужие обноски стирать... ищи дуру!

Варвара Мартьяновна не подала и виду, что сомневается. Подоплека соседской неприязни, кажется, совсем не такова, как обрисовал в заявлении Варфоломеев, и хотя еще не очень понятна, но уже начинает приоткрываться.

Неторопливо поднявшись с табуретки, она напомнила браковщице:

— Так завтра в семь часов. Не опаздывай...

— А Кирилл Попилин будет? — проверила Наста.

— Будет, а как же.

— И зачем только вызываете? На позорище?

— Не на позорище, — успокоила ее Варвара Мартьяновна, — а ответ держать. За свое поведение.

— Вы лучше его поведение рассудите, — не сдержавшись, выкрикнула Наста. — Думаешь, у меня сердце не кипит?

Варвара Мартьяновна ожидала, что она расскажет обо всем откровенно, но вместо этого Наста только отчаянно шлепнула тряпкой по стиральной доске.

— Что ты у меня пытаешь? Я свою душу от всех на замке держу.

— Держи, держи. — Варвара Мартьяновна завязала платок и на пороге добавила: — Так приходи обязательно! Заочно разбирать не станем.

Наста устало отвела с лица волосы, подняла брошенную рубаху и, яростно намылив, принялась за стирку. А на лестнице уже топотали спускавшиеся ребята, и Алешка отчаянно уверял Добрынина:

— Весной я тоже турманка добуду, вот увидишь. Как запущу над крышей... под самые облака!

Осудив поведение Насты Востряковой, Варфоломеев предложил вынести ей общественное порицание и подвергнуть штрафу за неоднократное нарушение правил социалистического общежития.

— Пускай почувствует и сделает идейные выводы, — заканчивает он, садясь. — Как полагается!

Груня Лешова выступила еще резче. Выходки браковщицы возмущают ее с морально-этической стороны.

— Такие люди, как Вострякова, не любят и не уважают никого, кроме себя, — раскрасневшись, режет она прямо в лицо браковщице и сама себе кажется не в пример ей сознательной и передовой, совсем не затронутой теми пережитками, о которых говорит.

Наста слушает ее со смешанным ощущением обиды и горечи.

— Что ты понимаешь в любви-то... тараторка? — не выдерживает она. — Небось, кроме мужа, никаких пережитков и в глаза не видала?

Казберук лукаво прищуривается, а Варвара Мартьяновна сердито обрывает ее:

— Здесь не балаган, Вострякова! Ведите себя достойно.

В ответ на это Наста оскорбленно вскакивает.

— Ей, значит, можно, а мне нельзя? — И, неожиданно сорвавшись с места, бросается к выходу, низко опустив голову. — Кругом обвиноватили...

Казберук попытался остановить ее.

— Вернись, Вострякова! Надо же сознательность иметь, а не один только ветер в голове...

По комнате будто дохнуло жаром. Все зашевелились, заговорили.

Стекло графина зазвенело снова.

— Тиш-ше! — требует Варвара Мартьяновна и, когда порядок водворяется, как ни в чем не бывало говорит: — Ничего, остынет на холоду и тут будет! Продолжаем дальше. Говори, Лешова!

Вот-вот залысится заводской гудок, сзывая вторую смену. За окнами в морозном дыму играет багряная, ветреная заря. Словно в стекловарной печи, там громозлятся, рдеют причудливые очертания диковинных городов, дворцов, садов.

Потребовав, чтобы Кирилл Попилин рассказал суду все откровенно, а не покрывал выходки соседки, Груня Лешова садится. Варфоломеев глядит на нее с явным одобрением.

«Правильно, дочка! — казалось, подтверждает он, ощущая, как на глаза против воли навертывается предательски-умиленная слеза. — Любовь, она, конечно, любовь, но и без уважения в соседстве нельзя!»

Кирилл Попилин не поднимает головы.

— Да разве я покрываю? — бормочет он, боясь встать, поглядеть на собравшихся. — Чем это?

— Молчанием своим!

— Так, может, я на все свой глаз имею?

Небритое его лицо покрылось румянцем, будто на него дохнуло жаром стекловарной печи; происходящее навалилось на плечи нежданной тяжестью. Вспоминая о том, что было у него с Настой, Кирилл Попилин, похоже, только сейчас, на людях, начинает понимать, в чем дело.

Грубоватый и по-простецки нетребовательный, он по-

зволял соседке заботиться о нем — готовить иногда еду, стирать белье — и в свою очередь помогал ей по хозяйству, больше всего, кажется, опасаясь связать себя какими бы то ни было другими обязательствами. После работы он приходил домой и ложился отдыхать; по вечерам отправлялся на сыгровку струнного оркестра, а возвращаясь, ужинал перед сном грядущим и засыпал до утра.

Заботливость Насты Востряковой и привлекала и страшила его, только отдавая то, что при иных обстоятельствах, возможно, осуществилось бы своим чередом. Но когда соседки шепнули браковщице, что Клавдия Громова похвалялась в конторе женить Кирилла Попилина на себе, всему пришел конец. Насту будто подменили.

Все, о чем упоминалось в заявлении, было, разумеется, правдой. Наста Вострякова последнее время действительно не давала ему житья.

Совсем еще недавно, выведенный ею из себя, Кирилл Попилин грозился:

— Погоди, погоди, сыщется и на тебя укорот! Не судом, так стыдом, может, глаза выест...

А здесь, на суде, после выступления Груни Лешовой он словно прозрел.

«Тоже сказала: покрываю,— попрежнему прячась за сидящими впереди, неподатливо и трудно думал Попилин. — Не покрываю, а зла не хочу! Это она на меня взъелась неизвестно по какому праву, а я... что я ей сделал такого? И дров бывало наколешь, и погребницу вон к зиме обкопал... Всю тяжелую работу справил. Вдова ведь — что она может сама?»

Слушая выступавших, он не мог согласиться с тем, что Наста не любит никого, кроме себя. Какое-то смутное чувство твердило: это не так. Раздумывая о нем, Кирилл Попилин глянул вдруг на случившееся небывало зоркими глазами — и понял все.

«Вот еще дела-то! — не на шутку забеспокоился он, открыв, что соседка любит его и, не дождавшись ответа, давно уже с отчаяния не останавливается ни перед чем. — Как же мне быть теперь?»

По опыту жизни Кирилл Попилин знал: чему по каким-либо обстоятельствам нельзя расти прямо и открыто, все равно будет расти тайно и криво, — и не удивлял-

ся. Он и сам, наверно, поступал бы так же, оказавшись в положении Насты Востряковой.

«Чудак! Чурка долошная! — ругая себя, то преувеличивал он свою вину перед соседкой за все, что случилось и происходит сейчас, то боялся оказаться в еще более тяжком и позорном положении. — До чего довел ее...»

Недавняя растерянность сменилась желанием защитить, уберечь Насту от обид и оскорблений, но как это сделать, Кирилл Попилин не знал. Лучше всего было бы встать и заявить перед всеми: она ни в чем не виновата! А раз так, то не требуется и суда...

Хмуро подыскивая необходимые слова, он поднялся с места, но, взглянув на неожиданно воротившуюся и замершую у двери браковщицу, снова смутился. Не мог он при ней выговорить все, что теснится в сердце.

— Что ж ты, Кирилл Петрович? — подбодрила Варвара Мартьяновна, словно догадавшаяся обо всем. — Сам же говорил: у каждого на это свой глаз должен быть.

— Не укрываю я ее, — с решимостью выпрямляется вдруг Кирилл Попилин и, торопясь, будто боится, что забудет, спутается, не высказав всего, уверяет судей: — Зря вы это все! Меня вроде защищаете, а я ничего против Востряковой не имею, и защиты мне не надо.

Пропаше махнув рукой, он сел на место, даже не поглядев, какое впечатление произвели его слова. А Наста Вострякова встрепенулась, словно раненая птица, и, ожив, подняла голову. Глаза ее заблестели, лицо разгорелось.

— Это не меняет дела, — разъясняет Варвара Мартьяновна и вполголоса совещается с Казберуком и Лешовой. — Суд будет продолжать разбор дела попрежнему.

— А чего его разбирать, ежели стороны мирятся? — замечает кто-то.

— Милые дерутся, только тешатся!

Сняв очки, Варвара Мартьяновна смотрит на браковщицу.

— Вострякова, ты что скажешь?

Стоя у самой двери, та чуть вскидывает попрежнему красивую, небрежно накрытую полушалком голову.

— Мы не миловались, не дрались. Нам мириться нечего.

Но к ее словам все относятся недоверчиво. А Казберук просит:

— Вы бы лучше объяснили... почему так поступали? Наста Вострякова принимает вызов.

— Это уж я сама себе объяснять буду. Да еще разве тому, кому виновата...

— Значит, виновной вы себя все же считаете? В чем же?

— А не испугаетесь... если скажу?

Казберук с интересом ждет.

— Любовью я виноватая, да еще, может, ревностью своей глупой... ежели хотите, — явно через силу тихо признается браковщица.

Варвара Мартьяновна не перебивает ее. От того, чем Наста Вострякова объясняет свои проступки, зависит теперь и мера взыскания.

И, убедившись в том, что разбирательство окончено, она поднимается за судейским столом, невысокая, по-матерински взыскательная, и, полная убежденной в себе правоты, негромко и внушительно начинает:

— Может, кое-кому показалось, что суд вмешивается в личную жизнь, разбирая это дело? Но мы с вами, товарищи, живем не в одиночку, каждый в своей норе, а в коллективе. В нашем трудовом, рабочем коллективе! И правила социалистического общежития обязаны у нас соблюдать все. Выходки Насты Востряковой, конечно, заслуживают самого сурового осуждения, и иначе, чем безобразием, их не назовешь...

Груня Лешова подается к ней, боясь пропустить хоть слово. Варфоломеев удовлетворенно достаёт платок.

Передохнув, Варвара Мартьяновна осуждающе оглядывает браковщицу. Та попрежнему стоит у выхода, уронив руки, и молчит, не поднимая глаз.

— Ты, Кирилл Петрович, говорил: дескать, на все надо свой взгляд иметь, — напоминает стеклодуву Варвара Мартьяновна. — А я так скажу: взгляд на это может быть только один — наш, партийный! И Осип Васильевич правильно сделал, что вмешался, вытащил безобразия ваши на свет божий.

— Не я — другие бы вытащили, — вставляет Варфоломеев. — Кто же на такое безучастно глядеть станет?

Посоветовавшись с членами суда, Варвара Мартьяновна подождала, пока он договорит. Глаза ее поблескивают умно и лукаво, будто обещая к сказанному что-то еще.

— Не прав он только в одном, по-моему. В оценке причин и в мере воздействия нашего. Варфоломеев предлагает вынести Настасье Востряковой общественное порицание и оштрафовать ее. А мы, посовещавшись тут, решили: товарищеский суд считает необходимым только указать им обоим, указать — как бы это попроще — на несознательное, невзаимное, что ли, поведение и высказывает пожелание, чтобы Попилин и Вострякова урегулировали свои отношения.

— Правильно!

— В самую точку, — слышались обрадованные голоса.

— Ревнуйте друг дружку сколько хотите, а соседям жить не мешайте...

Варвара Мартьяновна знаком просит всех помолчать.

— Таково решение нашего товарищеского суда. Кирилл Попилин и Настасья Вострякова, даете ли вы обещание урегулировать свои отношения?

Все оборачиваются к ним.

Наста Вострякова взволнованно отзывается:

— Я-то обещаю. А вот он...

— А я... Что ж я? — повеселев, спрашивает Кирилл Попилин. — Я ее и прежде уважал и теперь...

Он не говорит «люблю», но Варвара Мартьяновна, Варфоломеев и Казберук понимают, что это именно так, и облегченно переглядываются. Можно надеяться, что так оно теперь и будет.

Любители крайних мер расходятся из клуба по домам явно обескураженные. Заседание суда не дало ни новой пищи для толков и пересудов, ни порочащего решения, которое, как им думалось, воздало бы должное Насте Востряковой за все, в чем та была и не была виновата.

Крайних суждений вначале держалась и Груня Лешова. Чистую, еще не потерявшую девической прямоты и непримиримости ее душу возмущали выходки браковщицы, неразборчивость в трудных и тонких обстоятельствах личной жизни. Но затем Груня Лешова разглядела совершенно другое, и теперь во всем согласна с Варварой Мартьяновной и Казберуком, восторженно восхищаясь тем, что они знают жизнь и людей куда лучше ее.

А Кирилл Попилин, расхрабрившись, остановил Варвару Мартьяновну у выхода и признательно пожал ей руку.

— Спасибо, мать! Алмазную грань ты сегодня, сдаётся, в нас открыла и на свету играть заставила. Недаром, видно, в шлифовальном мастеричей слыла...

— Ну, тоже скажешь, — устало отговаривается та и улыбается. — Иди-ка догоняй свою хрустальную. Да бережней, гляди, обращайся — не разбей ненароком!

Звезды над поселком, над гутой горят резким, морозно-хрустальным блеском. Певуче скрипит накрахмаленное стужей снежное полотно.

Варвара Мартьяновна, покашливая от холода, спешит по улице. На ней серый пуховый платок, черный, с лоснящимися рукавами полушубок.

— Мороз-то к ночи вон как засвежел, Осип Васильич!

— А как же? Солнце — на лето, зима — на мороз! Это уж всегда так-то, — поддакивает, не отставая, Варфоломеев.

— Как бы он трубы нам не порвал? Зайти протопить разве? На всякий случай...

Водопроводную будку к концу зимы заносит снегом чуть не вровень с крышей. Наружу высовывается только похожая на изогнутый клюв труба, а под ней намерзает такой скользкий ледяной глетчер, что и не подступиться.

Осторожно шаркая валенками, Варфоломеев предлагает:

— Давай-ка я лед пообколю, Мартьяновна. Где у тебя лом?

— Да ведь только перед вечером скалывала, — беспокоится та. — И трех часов не прошло...

— Ну, что ты сколола-то, — необходимо корит Варфоломеев. — Поклевала, как курица!

Несмотря на годы, он еще силен той неуходившейся, привычной к постоянному физическому труду силой, что легко справляется с любой работой и не осрамится нигде. Раскатисто хекая, Варфоломеев скалывает лед. Осколки со стеклянным звоном брызжут во все стороны.

Огонек пятилинейной керосиновой лампешки освещает замерзшее, в розовых пальмах, оконце. Из трубы над крышей начинают сыпаться жаркие, веселые искры, как будто в будке запустили алмазный круг.

Возвращая лом и ничем не отзываясь на благодарность Варвары Мартьяновны, Варфоломеев спрашивает:

— Теперь у вас что на очереди?

Подкидывая чурки в огонь, та вздыхает:

— На той неделе Куманиных мирить будем. Свекровку с невесткой...

— Тоже вздорная бабенка, — Варфоломеев туже завязывает шарф. — Не по-людски живет, да и только!

Прощавшись, он уходит, шаркая валенками по скользоте. Ртутные дробинки воды посекали снег дорожки.

Варвара Мартьяновна остается в будке. После перехода на пенсию ей показалось неумоготу без завода, без дела, и шлифовщица взялась отпускать воду. Она сидит — тихая, молчаливая, глядя на огонь какими-то особенно грустными глазами. Подобраные, в частых морщинках, губы ее шевелятся, пальцы задумчиво перебирают опушку полушубка.

На кладбище, за поселком, Варвара Мартьяновна бережет две дорогие могилы, старую, с темным, покосившимся крестом могилу мужа и недавнюю — много ли прошло — могилу младшего сына. Там, рядом с ними, надеется, положат и ее.

«Вчера Володин день рождения был, — не то думает, не то шепчет она вслух. — Двадцать третий годок пошел бы ему!..»

О старшем, Павле, она вспоминает реже. Тот погиб на Десне в самом начале войны; а младший, Володя, — в сорок третьем году, во время налета карателей на партизан в соседних лесах.

Соседки советовали ей взять на воспитание какую-нибудь девочку-сироту.

— И тебе веселей будет, и дело доброе...

Но Варвара Мартьяновна отказалась:

— Не по мне это.

Характер у нее словно бы с какой-то черствинкой. Боялась она, что не найдет в сердце любви и нежности, выплаканных на родных могилах; а без них не под силу окажется и ей и ребенку.

И соседки вздыхали, догадываясь о том, что у нее на душе:

— Может, и так...

— Однолюбка ты!

За оконцем слышится дребезжанье ведер. Кто-то не очень смело стучит пальцем в стекло.

— Мартьяновна... водички!

«Кого там еще принесло?» — спохватывается та и сердито отзывается:

— Нету, нету воды! Краны на ночь перекрыты...

Дверь будки распахивается. Оглянувшись, Варвара Мартьяновна узнает Насту Вострякову. Плечи браковщицы покрыты наскоро брошенным полушалком, руки — без варежек и по локоть обнажены.

— Такой морозище, а ты в одной кофтенке...

Обжигая ее огненными, диковатыми глазами, Наста смеется.

— Ничого! Это бабы возле мужиков угрелись, так им и холодно. А мое дело вдове...

Варвара Мартьяновна добреет:

— Снохватилась, на ночь глядя? Ладно уж, иди, открую! Грань алмазная...

— За суетой да за судом этим во-время и сходить не управилась, — нескрываясь счастливо оправдывается браковщица. — Пришли сейчас, затеяли самовар на радостях ставить, а воды ни капли!

— Ставь ровнее, — приказывает Варвара Мартьяновна и, продвув глазок в оконце, с трудом открывает застывший кран.

Вода тяжелым тском ударяет в подставленное ведро, звенит, брызжет на браковщицу. Все в ней нравится Варваре Мартьяновне: бережливая ловкость и задорная лихость, изукрашенное резьбой коромысло и широкие жестяные ведра, в которых плавают вырезанные фестонами липовые кружки.

Наста Вострякова стоит, следя за тем, как наполняется ведро, и смахивает с ресниц не то иней, не то еще что-то.

«Ничого, без муки счастья не бывает!» — сочувственно вздыхая, думает Варвара Мартьяновна. Вода давно уже льется через край, а кран все еще не закрыт.

— Спасибо! — Прижимая подбородком концы полушалка к груди, Наста подхватывает дужки коромыслом.

— Песи скорей, а то замерзнешь... чудушко! — приоткрывая дверь, выглядывает из будки Варвара Мартьяновна.

— Еще что, — отмахивается та и, не качаясь, уверенно идет по скользкой, обледеневшей тропинке — высокая, прямая и, сдается, сбросившая с себя после суда тяжкую, давящую ношу. А ведра дымятся, будто под стать характеру — в них не вода, а кипяток.



*Константин Паустовский*

**ПО ТУ СТОРОНУ РАДУГИ**

Тучу передернуло синим пламенем. Медленно загремел гром. Он то усиливался, то почти затихал. И дождь, как бы подчиняясь грому, начинал временами идти сильнее и широко шуметь по листве, потом останавливался.

Вскоре сквозь тучи пробилось солнце. Старый пушкинский парк в Михайловском и крутые берега Сороти запылали рыжей глиной и мокрой травой.

Стройная радуга зажглась над пасмурной далью. Она сверкала и дымилась, окруженная космами пепельных туч.

Как всегда при виде радуги, писатель Сергеев подумал, что радуга похожа на арку, воздвигнутую на границе заповедной земли.

Уже несколько дней Сергеев жил на Псковщине, в деревушке Вороничах рядом с Пушкинским заповедником. Сергеев бежал сюда из Москвы, чтобы хоть немного поработать спокойно. Все время — и в поезде и здесь в деревне — он думал о сюжете своей новой повести. Но сюжет расплзся, уплывал, и Сергеев за несколько дней так ничего и не придумал.

Он успокаивал себя тем, что его состояние, конечно, от московской усталости. В Москве легче всего было писать по праздникам, когда молчали телефоны, не было заседаний и не работали редакции, издательства и учреждения.

Особенно мучительны были постоянные заседания с ораторами, не умевшими во-время остановиться, с кислым табачным дымом, со стенографистками, измученны-

ми бесконечным кружением фраз. Русский язык на этих заседаниях как бы выцветал на глазах, превращался в набор безжизненных звуков.

С особенной силой возникали эти мысли о языке именно здесь, в пушкинских местах. Здесь Пушкин бродил с непокрытой головой, со спутанными осенним ветром холодными волосами, слушал важный гул сосновых вершин, смотрел, прищурившись, откуда несутся осенние тучи, толкался по ярмаркам, подолгу просиживал на полу около горящей печки, шутил с няней, пел, смеялся. Здесь чудесные слова переполняли его, стесняли душу лирическим волнением и, наконец, слагались под огрызком гусяного пера в звенящие и ясные строфы.

Сергеев, оставшись в Вороничах с глазу на глаз с колхозниками, с повседневным суровым трудом, со сжатыми полями и бледным застенчивым небом, понял наконец, каким далеким от подлинной жизни было недавнее его комнатное существование.

«Надо проветрить сердце, — говорил он себе. — Иначе я никогда ничего не сделаю. Иначе я начисто разучусь писать».

Решение пришло в этот сырой и серый день. Приближалась осень. Никаких явных ее признаков еще не было видно, даже ни одного пожелтевшего листа на деревьях. Но в пасмурной и теплой тишине и запахе мокрой коры уже чувствовалась горечь увядания.

Решение пришло, на первый взгляд, сумасбродное. В нем была повинна радуга. За ее многоцветной дугой лежала загадочная земля.

«Что же все-таки там?» — спрашивал себя Сергеев.

Он был уверен, что по ту сторону этих небесных ворот он увидит необыкновенные вещи. И он, не колеблясь, решил взять рюкзак и уйти на несколько дней в те земли, что лежали за радугой.

Вышел Сергеев из Вороничей ближе к сумеркам. Сначала он торопился, чтобы до темноты отойти подальше от деревни. Заночевать он решил в стогах. Хотя заросшая проселочная дорога шла лесом, но кое-где на полянах стояли поднятые над землей на подпорках маленькие стога.

Чем дальше шел Сергеев, тем лес делался глуше. В глубокой песчаной яме светилось маленькое озеро. Цепляясь за ветки лещины, Сергеев спустился к нему и напился воды. Она была такая холодная, что у него заны-

ли зубы. В глубине озера неясным рогом отражался молодой месяц.

Сергеев удивился, что не заметил месяца раньше, поднял голову и увидел его на головокружительной высоте над собой. Месяц казался клочком дыма и поблескивал слабым розовым светом.

Этот тусклый свет был разлит вокруг и окрашивал воздух. Должно быть, за пеленой туч заходило солнце и создавало это угрюмое и странное освещение.

После недавнего дождя лес был полон осторожного шороха капель, стекавших с листьев. В чистых лужах стояла под водой густая трава, и среди травинки тоже отражался месяц.

Быстро темнело. Сергеев прошел несколько полей, по стогам на них не было. Вдалеке возник дрожащий свет.

Сергеев остановился. Впереди на просеке паслись стреноженные лошади, трещал костер. Около него сидели люди.

Сергеев поколебался, но все-таки подошел. Он не был готов к этой встрече. Он еще не придумал, что отвечать, если его спросят, кто он и куда идет ночью. Сергеев знал, что деревенские жители не любят ничего непонятного, особенно — непонятных людей.

Так и не придумав, что сказать о себе, Сергеев подошел к костру. У костра сидели женщина в ватнике и резиновых сапогах, вихрастый человек в замасленном комбинезоне и двое мальчиков в глубоко надвинутых на уши кепках. Все они давно заметили Сергеева и следили за ним, когда он подходил.

— Здравствуйте! — неуверенно сказал Сергеев.

— Здравствуйте, прохожий, — протяжно ответила женщина. — Ты что же, монтер, что ли? Телеграфные провода проверяешь?

Выход был подсказан, и Сергеев с облегчением сказал, что — да, он монтер.

— Новенький, — заметил один из мальчиков. — Прошлый год другой ходил. Тот был конопатый.

— Что же ты не заночевал в Вороничах? — спросила женщина. — Ночью тут и заплутаться недолго. Садись, грейся.

Сергеев подсел к костру, достал пачку папирос. Вихрастый человек зашевелился. Заволновались и мальчики. Сергеев протянул вихрастому пачку, но мальчикам курить не дал.

— Правильно! — сказала женщина. — Нечего их ба- ловать. Ты лучше мне дай покурить. Я с войны курить понемногу начала, никак теперь не отстану.

— Это верно! — сказал вихрастый. — На войне прямо кричит в тебе каждая жилка. За табак золотые горы отдашь.

— С войны я и закурила, — второй раз сказала женщина. — Со страха.

Мальчики засмеялись.

— Эй вы! — прикрикнул на них вихрастый. — Иль давно вам уши не драли?

— Да мы так... — оправдываясь, пробормотал мальчик постарше.

— Ну то-то! «Так» да «не так», Глаше сам Михаил Иванович Калинин орден давал, а вы все берете в смешки. Носы сначала утрите.

Мальчики обиженно засопели, но промолчали.

— За что у вас орден? — спросил Сергеев женщину.

— За могилу Александра Сергеевича, — неожиданно ответила женщина и улыбнулась, глядя на растерявшегося Сергеева. От улыбки лицо ее стало совсем молодым и задорным.

— Да это она с могилой Пушкина вас путает, понарочну, — предупредил вихрастый.

— А я так иногда мечтаю, что за могилу, — возразила женщина.

— Ну и мечтай, раз тебе нравится, — сердито ответил вихрастый. От него тянуло бензином. По всей видимости, это был тракторист. — А ежели говорить по-серьезному, как на собрании, — сказал он уже одному Сергееву, — то орден она получила за то, что больше ее никто льна не перетренил по всей нашей области. У Глаши лен как золотой шелк. Перебираешь его пальцами, а он поет.

— Слово знает, — сказал мальчишка постарше.

— Я те покажу слово! — прикрикнул тракторист. — Наслухался у бабок ихних предрассудков и вякаешь.

Женщина молчала и, улыбаясь, смотрела на огонь. Из-под платка выбилась прядь ее русых волнистых волос.

— А что же было с пушкинской могилой? — тихо спросил Сергеев.

Женщина очнулась и подняла на Сергеева темные глаза.

— Я в ту пору при немцах, — ответила она очень ти-

хо, — в Святых Горах жила. Пряталась. У нас в деревне, в Зимарях, так уж с давних времен заведено, что все от самого малого до старика Александром Сергеевичем очень гордятся. Да и как не гордиться? Все-таки свой. Земляк.

— Земляк! — согласился тракторист.

— Я его много читала. Не все, правда, брала в понимание. Не все! Но как там хотите, — понимайте или не понимайте, — а сердце все равно так забьется, так больно забьется, что прижмешь руки к груди, чтобы его унять. Да разве уймешь! Ты вот ходишь тут со своим телеграфным инструментом, а не ведаешь, где ходишь. Я многое у Александра Сергеевича обожаю, а больше всего про наши места, про глушь лесов сосновых. Как услышу или прочту, так просто плачу.

— «Где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил», — неожиданно сказал тракторист.

— Не надо, Тиша, — тихо попросила женщина. — Мне этого слушать нельзя.

Она замолчала.

— Так что же было с могилой Пушкина? — снова спросил Сергеев.

— Были цветы, — ответила женщина. — И всякая трава. И ветки. Да не я одна их клала. Еще Клава со мной ходила. Нарвем в лесу цветов, проберемся тишком мимо немцев на его могилу и положим. Старались, чтобы никогда не увядали цветы. Я тогда так думала — вот все увядает на свете, даже любовь...

Она снова замолчала. Тракторист досадливо крикнул, а мальчики лежали совсем тихо, — не дышали, слушали.

— Даже любовь, — повторила Глаша. — А уж чему-чему, как не любви, жить на сердце весь человеческий век. Вот, думаю, все увядает. А цветы на его могиле никак не должны так увясть, пожухнуть, как сохнет, пропадает любовь...

Голос у Глаши дрогнул. Она отвернулась, долго смотрела в темноту, и Сергеев заметил, как по ее щеке сползла и блеснула слеза.

Мальчики вскоре уснули. Уснул и тракторист, укрывшись с головой ватником. Одна Глаша еще долго сидела, смотрела на огонь, подкладывала в костер ветки. Потом сказала Сергееву:

— Ты что ж не спишь? Небось умаялся.

Сергеев лег, положил под голову рюкзак.

Было холодно. Сон от этого все рвался, как тонкая пряжа. Глаша сняла с головы теплый платок и укрыла Сергеева.

Где-то, казалось, за краем земли, в немыслимой ночной дали пели, надрываясь, петухи, возвещали перелом ночи.

Сергеев проснулся на рассвете. Тракторист уже ушел. За лесом тархтел его трактор. Мальчишки проснулись, потолкали друг друга в бока, похихикали и пошли сгонять лошадей. Глаша все так же сидела у догоравшего костра.

— Я ведь тоже запоздала,— сказала она Сергееву.— Шла со станции к себе в Зимари. И запоздала. А вам теперь куда?

Она почему-то сказала Сергееву «вы», и он понял, что чем-то себя выдал и Глаша догадывается, что он совсем не монтер.

— Да мне все равно,— ответил Сергеев и смутился.

— Я и вижу. Тогда пойдите к нам в Зимари. Хоть чаю попьете, согреетесь. Видите, какая роса.

Сергеев согласился.

Они вышли из леса в широкую ложбину. Багряное солнце подымалось над туманом в утренней тишине. Только изредка несмело попискивали в кустах какие-то птицы.

На пригорке Глаша и Сергеев остановились. Внизу, у берега озера, пряталась под сенью черных ив маленькая деревушка. Это и были Зимари.

Небо поглубело. Утренний ветер прошел порывом и затих. Как будто он прошумел только для того, чтобы стряхнуть росу с деревьев и освежить воспаленное от костра лицо.

Глаша провела Сергеева в свою избу. Она стояла над самым озером. Отблески воды качались на потолке.

В избе было пусто и чисто. К стене была приколота кнопками карточка матроса с прищуренными веселыми глазами.

«Вот по ком она плакала ночью,— подумал Сергеев.— Кто он? Спросить или нет?»

Он поколебался, но все-таки спросил, чья это карточка. Глаша вышла из-за перегородки умытая, причесанная

на две косы, посмотрела на Сергеева строгими темными глазами и спросила:

— Вы-то сами книги пишете? Или нет?

— Пишу,— сознался Сергеев. Он был захвачен врасплох.

— Я догадалась,— сказала Глаша.— В Михайловское, говорят, писатели приезжают.

Она помолчала, глядя за окно, сняла со стены карточку моряка и спрятала ее в ящик дощатого стола.

— Вот теперь,— сказала она,— никто и спрашивать про него не станет.

Она застенчиво улыбнулась, и Сергеев подумал, что никогда еще в жизни он не видел такой открытой улыбки, сияющей тихой и еще не совсем ему понятной красотой. Что было в ней, в этой улыбке? И что могло быть краше русской женщины, певучих ее слов, доверчивых глаз, трепещущей и милой ее души?..

Глаша собрала чай, но Сергеев отказался от него и ушел. Он пошел не туда, куда звала его радуга, а обратно, в Вороничи.

Он шел быстро, спешил. Внезапно пришло ощущение счастья. Почему — он не знал.

Сразу, лавиной обрушилось на него все: пока еще беспорядочные, но удивительные и радостные мысли, дым облаков, блеск мокрых листьев, лесная тишина, легкое сожаление, что он так внезапно ушел, и глубокая радость от сознания, что через час-два, как только дойдет до дому, он тотчас начнет писать. И никакая сила уже не сможет остановить тот душевный подъем, что сейчас невооруженно несет его, как бурный поток несет сломанные ветки, листья и пену.

«Ничего как будто не случилось по ту сторону радуги»,— думал Сергеев. Но вместе с тем случилось так много, что трудно было все это обнять сознанием. Но главное, что случилось,— это прикосновение к простой душе человеческой.

А Глаша сидела у стола, вытянув перед собой руки, задумавшись. Вот пришел чужой человек, незнакомый, и ушел, но осталось после него ожидание. А она знала, что ожидать — это тоже предчувствие счастья.





*Константин Паустовский*

**КОРЗИНА С СЛОВЫМИ ШИШКАМИ**

Композитор Эдвард Григ проводил осень в лесах около Бергена.

Все леса хороши с их грибным воздухом и шелестом листьев. Но особенно хороши горные леса около моря. В них слышен шум прибоя. С моря постоянно наносит туман, и от обилия влаги буйно разрастается мох. Он свешивается с веток зелеными прядями до самой земли.

Кроме того, в горных лесах живет, как птица пересмешник, веселое эхо. Оно только и ждет, чтобы подхватить любой звук и швырнуть его через скалы.

Однажды Григ встретил в лесу маленькую девочку с двумя косичками — дочь лесника. Она собирала в корзину словые шишки.

Стояла осень. Если бы можно было собрать все золото и медь, какие есть на земле, и выковать из них тысячи тысяч тоненьких листьев, то они составили бы ничтожную часть того осеннего наряда, что лежал на горах. К тому же кованые листья показались бы грубыми в сравнении с настоящими, особенно с листьями осины. Всем известно, что осиновые листья дрожат даже от птичьего свиста.

— Как тебя зовут, девочка? — спросил Григ.

— Дагни Педерсен, — вполголоса ответила девочка.

Она ответила вполголоса не от испуга, а от смущения. Испугаться она не могла, потому что глаза у Грига смеялись.

— Вот беда! — сказал Григ. — Мне нечего тебе подарить. Я не ношу в кармане ни кукол, ни лент, ни бархатных зайцев.

— У меня есть старая мамина кукла,— ответила девочка.— Когда-то она закрывала глаза. Вот так!

Девочка медленно закрыла глаза. Когда она вновь их открыла, то Григ заметил, что зрачки у нее зеленоватые и в них поблескивает огоньками золотая листва.

— А теперь она спит с открытыми глазами,— печально добавила Дагни.— У старых людей плохой сон. Дедушка тоже всю ночь храпит.

— Слушай, Дагни,— сказал Григ,— я придумал. Я подарю тебе одну интересную вещь. Но только не сейчас, а лет через десять.

Дагни даже всплеснула руками.

— Ой, как долго!

— Понимаешь, мне нужно ее еще сделать.

— А что это такое?

— Узнаешь потом.

— Разве за всю свою жизнь,— строго спросила Дагни,— вы можете сделать всего пять или шесть игрушек?

Григ смутился.

— Да нет, это не так,— неуверенно возразил он.— Я сделаю ее, может быть, за несколько дней. Но такие вещи не дарят детям. Я делаю подарки для взрослых.

— Я не разобью,— умоляюще сказала Дагни и потянула Грига за рукав.— И не сломаю. Вот увидите! У дедушки есть игрушечная лодка из стекла. Я стираю с нее пыль и ни разу не отколола даже самого маленького кусочка.

«Она совсем меня запутала, эта Дагни»,— подумал с досадой Григ и сказал то, что всегда говорят взрослые, когда попадают в неловкое положение перед детьми:

— Ты еще маленькая и многого не понимаешь. Учись терпению. А теперь давай корзину. Ты ее едва тащишь. Я провожу тебя, и мы поговорим о чем-нибудь другом.

Дагни вздохнула и протянула Григу корзину. Она действительно была тяжелая. В еловых шишках много смолы, и потому они весят гораздо больше сосновых.

Когда среди деревьев показался дом лесника, Григ сказал:

— Ну, теперь ты добежишь сама, Дагни Педерсен. В Норвегии много девочек с таким именем и фамилией, как у тебя. Как зовут твоего отца?

— Хагеруп,— ответила Дагни и, наморщив лоб, спросила: — Разве вы не зайдете к нам? У нас есть вышитая

скатерть, рыжий кот и стеклянная лодка. Дедушка позволит вам взять ее в руки.

— Спасибо. Сейчас мне некогда. Прощай, Дагни!

Григ пригладил волосы девочки и пошел в сторону моря.

Дагни, насупившись, смотрела ему вслед. Корзину она держала боком, из нее вываливались шишки.

«Я напишу музыку,— решил Григ.— На заглавном листе я прикажу напечатать: «Дагни Педерсен — дочери лесника Хагерупа Педерсена, когда ей исполнится восемнадцать лет».

В Бергене все было по-старому. Все, что могло приглушить звуки,— ковры, портьеры и мягкую мебель — Григ давно убрал из дома. Остался только старый диван. На нем могло разместиться до десятка гостей, и Григ не решался его выбросить.

Друзья говорили, что дом композитора похож на жилище дровосека. Его украшал только рояль. Если человек был наделен воображением, то он мог услышать среди этих белых стен волшебные вещи — от рокота северного океана, что катил волны из мглы, и ветра, что высвистывал над ними свою дикую сагу, до песни девочки, баюкающей тряпичную куклу.

Рояль мог петь обо всем — о порыве человеческого духа к великому и о любви. Белые и черные клавиши, убегающая из-под крепких пальцев Грига, тосковали, смеялись, гремели бурей и гневом и вдруг сразу смолкали.

Тогда в тишине еще долго звучала только одна маленькая струна, будто это плакала Золушка, обиженная сестрами.

Григ, откинувшись, слушал, пока этот последний звук не затихал на кухне, где с давних пор поселился сверчок.

Становилось слышно, как, отсчитывая секунды с точностью метронома, капает из крана вода. Капли твердили, что время не ждет и надо бы поторопиться, чтобы сделать все, что задумано.

Григ писал музыку для Дагни Педерсен больше месяца.

Началась зима. Туман закутал город по горло. Загрязненные пароходы приходили из разных стран и дремали у деревянных пристаней, тихонько посапывая паром.

Вскоре пошел снег. Григ видел из своего окна, как он косо летел, цепляясь за верхушки деревьев.

Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы ни был богат наш язык.

Григ писал о глубочайшей прелести девичества и счастья.

Он писал и видел, как навстречу ему бежит, задыхаясь от радости, девушка с зелеными сияющими глазами. Она обнимает его за шею и прижимается горячей щекой к его седой небритой щеке. «Спасибо!» — говорит она, сама еще не зная, за что она благодарит его.

«Ты как солнце,— говорит ей Григ.— Как нежный ветер и раннее утро. У тебя на сердце расцвел белый цветок и наполнил все твое существо благоуханием весны. Я видел жизнь. Что бы тебе ни говорили о ней, верь всегда, что она удивительна и прекрасна. Я старик, но я отдал молодежи жизнь, работу, талант. Отдал все без возврата. Поэтому я, может быть, даже счастливее тебя, Дагни.

Ты — белая ночь с ее загадочным светом. Ты — счастье. Ты — блеск зари. От твоего голоса вздрагивает сердце.

Да будет благословенно все, что окружает тебя, что прикасается к тебе и к чему прикасаешься ты, что радует тебя и заставляет задуматься».

Григ думал так и играл обо всем, что думал. Он подозревал, что его подслушивают. Он даже догадывался, кто этим занимается. Это были синицы на дереве, загулявшие матросы из порта, прачка из соседнего дома, сверчок, снег, слетавший с нависшего неба, и Золушка в заштопанном платье.

Каждый слушал по-своему.

Синицы волновались. Как они ни вертелись, их трескотня не могла заглушить рояля.

Загулявшие матросы рассаживались на ступеньках дома и слушали, всхлипывая. Прачка разгибала спину, вытирала ладонью покрасневшие глаза и покачивала головой. Сверчок вылезал из трещины в кафельной печке и подглядывал в щелку за Григом.

Падавший снег останавливался и повисал в воздухе, чтобы послушать звон, лившийся золотыми ручьями из дома. А Золушка смотрела, улыбаясь, на пол. Около ее босых ног стояли хрустальные тупфельки. Они вздрагива-

ли, сталкиваясь друг с другом, в ответ на аккорды, долетавшие из комнаты Грига.

Этих слушателей Григ ценил больше, чем нарядных и вежливых посетителей концертов.

В восемнадцать лет Дагни скончила школу.

По этому случаю отец отправил ее в Христианию погостить к своей сестре Магде. Пускай девочка (отец считал ее еще девочкой, хотя Дагни была уже стройной девушкой с тяжелыми русыми косами) посмотрит, как устроен свет, как живут люди, и немного повеселится.

Кто знает, что ждет Дагни в будущем? Может быть, честный и любящий, но скуповатый и скучный муж? Или работа продавщицы в деревенской лавке? Или служба в одной из многочисленных пароходных контор в Бергене?

Магда работала театральной портнихой. Муж ее Нильс служил в том же театре парикмахером.

Жили они в комнатухе под крышей театра. Оттуда был виден пестрый от морских флагов залив и памятник Ибсену.

Пароходы весь день покрикивали в открытые окна. Дядюшка Нильс так изучил их голоса, что, по его словам, безошибочно знал кто гудит — «Нордерней» из Копенгагена, «Шотландский певец» из Глазго или «Жанна Д'Арк» из Бордо.

В комнате у тетушки Магды было множество театральных вещей: парчи, шелка, тюля, лент, кружев, старинных фетровых шляп с черными страусовыми перьями, цыганских шалей, седых париков, ботфорт с медными шпорами, шпаг, вееров и серебряных туфель, потертых на сгибе. Все это приходилось подшивать, чинить, чистить и гладить.

На стенах висели картинки, вырезанные из книг и журналов: кавалеры времен Людовика XIV, красавицы в кринолинах, рыцари, русские женщины в сарафанах, матросы и викинги с дубовыми венками на головах.

В комнату надо было подыматься по крутой лестнице. Там всегда пахло краской и лаком от позолоты.

Дагни часто ходила в театр. Это было увлекательное занятие. Но после спектаклей Дагни долго не засыпала и даже плакала иногда у себя в постели.

Напуганная этим тетушка Магда успокаивала Дагни. Она говорила, что нельзя слепо верить тому, что происходит на сцене. Но дядюшка Нильс обозвал Магду за это «наседкой» и сказал, что, наоборот, в театре надо верить всему. Иначе людям не нужны были бы никакие театры. И Дагни верила.

Но все же тетушка Магда настояла на том, чтобы пойти для разнообразия в концерт.

Нильс против этого не спорил. «Музыка,— сказал он,— это зеркало гения».

Нильс любил выразаться возвышенно и туманно. О Дагни он говорил, что она похожа на первый аккорд увертюры. А у Магды, по его словам, была колдовская власть над людьми. Выражалась она в том, что Магда шила театральные костюмы. А кто же не знает, что человек каждый раз, когда надевает новый костюм, совершенно меняется. Вот так оно и выходит, что один и тот же актер вчера был гнусным убийцей, сегодня стал пылким любовником, завтра будет королевским шутом, а послезавтра — народным героем.

— Дагни,— кричала в таких случаях тетушка Магда,— заткни уши и не слушай эту ужасную болтовню! Он сам не понимает, что говорит, этот чердачный философ!

Был теплый июнь. Стояли белые ночи. Концерты проходили в городском парке, под открытым небом.

Дагни пошла на концерт вместе с Магдой и Нильсом. Она хотела надеть свое единственное белое платье. Но Нильс сказал, что красивая девушка должна быть одета так, чтобы выделяться из окружающей обстановки. В общем длинная его речь по этому поводу сводилась к тому, что в белые ночи надо быть обязательно в черном и, наоборот, в темные сверкать белизной платья.

Переспорить Нильса было невозможно, и Дагни надела черное платье из шелковистого мягкого бархата. Платье это Магда принесла из костюмерной.

Когда Дагни надела это платье, Магда согласилась, что Нильс, пожалуй, прав — ничто так не оттеняло строгую бледность лица Дагни и ее длинные, с отблеском старого золота косы, как этот таинственный бархат.

— Посмотри, Магда,— сказал вполголоса дядюшка Нильс,— Дагни так хороша, будто идет на первое свидание.

— Вот именно! — ответила Магда. — Что-то я не видела около себя безумного красавца, когда ты пришел на первое свидание со мной. Ты у меня просто болтун.

И Магда поцеловала дядюшку Нильса в голову.

Концерт начался после обычного вечернего выстрела из старой пушки в порту. Выстрел означал заход солнца.

Несмотря на вечер, ни дирижер, ни оркестранты не включили лампочек над пультами. Вечер был настолько светлый, что фонари, горевшие в листве лип, были зажжены, очевидно, только для того, чтобы придать нарядность концерту.

Дагни впервые слышала симфоническую музыку. Она произвела на нее странное действие. Все переливы и громы оркестра вызывали у Дагни множество картин, похожих на сны.

Потом она вздрогнула и подняла глаза. Ей почудилось, что худой мужчина во фраке, объявлявший программу концерта, назвал ее имя.

— Это ты меня звал, Нильс? — спросила Дагни дядюшку Нильса, взглянула на него и сразу же нахмурилась.

Дядюшка Нильс смотрел на Дагни не то с ужасом, не то с восхищением. И так же смотрела на нее, прижав ко рту платок, тетушка Магда.

— Что случилось? — спросила Дагни.

Магда схватила ее за руку и прошептала:

— Слушай!

Тогда Дагни услышала, как человек во фраке сказал:

— Слушатели из последних рядов просят меня повторить. Итак, сейчас будет исполнена знаменитая музыкальная пьеса Эдварда Грига, посвященная дочери лесника Хагерупа Педерсена Дагни Педерсен по случаю того, что ей исполнилось восемнадцать лет!

Дагни вздохнула так глубоко, что у нее заболела грудь. Она хотела сдержать этим вздохом подступавшие к горлу слезы, но это не помогло. Дагни нагнулась и закрыла лицо ладонями.

Сначала она ничего не слышала. Внутри у нее шумела буря. Потом она, наконец, услышала, как поет ранним утром пастуший рожок и в ответ ему сотнями голосов, чуть вздрогнув, откликается, как эхо, струнный оркестр.

Мелодия росла, подымалась, бушевала, как ветер, неслась по вершинам деревьев, срывала листья, качала тра-

ву, била в лицо прохладными брызгами. Дагни почувствовала порыв воздуха, исходивший от музыки, и заставила себя успокоиться.

Да! Это был ее лес, ее родина! Ее горы, песни рожков, шум ее моря!

Стеклянные корабли пеннили воду. Ветер трубил в их снастях. Этот звук незаметно переходил в перезвон лесных колокольчиков, в свист птиц, кувыркавшихся в воздухе, в ауканье детей, в песню о девушке — в ее окно любимый бросил на рассвете горсть песку. Дагни слышала эту песню у себя в горах.

Так, значит, это был он! Тот седой высокий человек, что помог ей донести до дому корзину с еловыми шишками. Это был Эдвард Григ, волшебник и великий музыкант! И она его укоряла, что он не умеет быстро работать.

Так вот тот подарок, что он обещал сделать ей через десять лет.

Дагни плакала, не скрываясь, слезами благодарности. К тому времени музыка заполнила все пространство между землей и облаками, повисшими над городом. От мелодических волн на облаках появилась легкая рябь. Сквозь нее светили звезды.

Музыка уже не пела. Она звала. Звала за собой в ту страну, где никакие горести не могли охладить любви, где никто не отнимает друг у друга счастья, где солнце горит, как золотая корона в волосах сказочной доброй волшебницы.

В наплыве звуков вдруг возник знакомый голос. «Ты — счастье, — говорил он. — Ты — блеск зари!»

Музыка стихла. Сначала медленно, потом все разрастаясь, загремели аплодисменты.

Дагни встала и быстро пошла к выходу из парка. Все оглядывались на нее. Может быть, некоторым из слушателей пришла в голову мысль, что эта девушка и была той Дагни Педерсен, которой Григ посвятил свою бессмертную вещь.

«Он умер! — думала Дагни. — Зачем?» Если бы можно было увидеть его! Если бы он появился здесь! С каким стремительно бьющимся сердцем она побежала бы к нему навстречу, обняла бы за шею, прижалась мокрой от слез щекой к его щеке и сказала бы только одно слово: «Спасибо!» — «За что?» — спросил бы он. «Я не знаю...»

ответила бы Дагни.— За то, что вы не забыли меня. За вашу щедрость. За то, что вы открыли передо мной то прекрасное, чем должен жить человек».

Дагни шла по пустынным улицам. Она не замечала, что следом за ней, стараясь не попадаться ей на глаза, шел Нильс, посланный Магдой. Он покачивался, как пьяный, и что-то бормотал о чуде, случившемся в их маленькой жизни.

Сумрак ночи еще лежал над городом. Но в окнах слабой позолотой уже занимался северный рассвет.

Дагни вышла к морю. Оно лежало в глубоком сне, без единого всплеска.

Дагни сжала руки и застонала от неясного еще ей самой, но охватившего все ее существо чувства красоты этого мира.

— Слушай, жизнь,— тихо сказала Дагни,— я люблю тебя.

И она засмеялась, глядя широко открытыми глазами на огни пароходов. Они медленно качались в прозрачной серой воде.

Нильс, стоявший поодаль, услышал ее смех и пошел домой. Теперь он был спокоен за Дагни. Теперь он знал, что ее жизнь не пройдет даром.





## Александр Письменный

### В СЕЛЕ УНГОРЯНЫ

Говорили о медицине.

Пассажир с толстым и добрым лицом большого упитанного мальчика запальчиво доказывал, что медицина — наука несостоятельная. Мелочь возьмите, бородавка какая-нибудь вскочила на руке, отчего это произошло, какая тому причина — ничего толком неизвестно. А если не бородавка, а случилось что-нибудь посерьезнее?

Второй пассажир, коротко стриженный, рослый, худой, усмехался, покачивал головой.

— Уж будто она такая несостоятельная, эта медицина?.. А вы мне вот что скажите: если занедужите ненароком, врача зовете? Лекарства принимаете? Что врач вас вылечит, верите? Значит, бородавка-то бородавкой, а медицина ваша все-таки нужная, а?

Третий пассажир лежал на вагонном диване и притворялся, что читает. На самом деле он не читал, а прислушивался к тому, о чем говорят попутчики.

Накануне он видел в городе этого рослого, немолодого человека при несколько странных обстоятельствах и запомнил его. В тот день было даже для Молдавии очень жарко, и на какой-то неказистой горбатой улочке, выходящей к кишиневскому базару, старик в обтрепанном брезентовом пыльнике и в синем выгоревшем старомодном картузе с треснувшим лакированным козырьком продавал муст из лилового деревянного бочонка. Мустом называют в Молдавии неперебродивший виноградный сок, божественное питье.

Человек, заступившийся сейчас за медицину, не глядя на старика, сунул ему пятерку и попросил стакан муста.

Старик узнал покупателя. Он заулыбался, и его бурое лицо с тощей пегой бородашкой покрылось сеткой мелких пыльных морщин. Протягивая стакан, наполненный рубиновым соком, он сказал неприятно заискивающим и, пожалуй, испуганным голосом:

— Алексей Михайлович, мое вам почтеньице! Как изволите здравствовать?

Успевший поднести ко рту стакан с виноградным соком человек, названный Алексеем Михайловичем, приостановился, глянул на старика и, не притронувшись к стакану, выплеснул муст на пыльную землю. Затем он поставил на бочонок стакан и, не взяв сдачи, пошел прочь.

Старик злобно сверкнул глазами и позвал жалобным голосом:

— Алексей Михайлович!

Тот не обернулся...

Теперь, в вагоне, посматривая изредка на Алексея Михайловича, третий пассажир раздумывал о том, что же такое произошло у них со стариком, торговавшим мустом, какие нити связывали этих ничего, казалось бы, не имеющих общего, людей.

А четвертый пассажир, красивый малый с оливковой матовой кожей на лице, тонкими щегольскими усиками и иссиня-черными, как пишут в романах, зачесанными назад блестящими волосами, ехал вместе с Алексеем Михайловичем. В разговоре он участия не принимал, немного погодя поднялся и вышел из купе — в соседнем вагоне схали его приятели.

Поезд отошел от Кишинева, перегруженный пассажирами, фруктами и вином, как только и может быть перегружен поезд, отходящий с юга в конце лета. Тучные, уже пожелтевшие молдавские поля поражали воображение буйным своим изобилием. Это было какое-то безудержное торжество всего растущего, зреющего, наливающегося соком. Вдоль железнодорожного полотна бежали голенастые подсолнухи, похожие на мальчишек в соломенных брылях, измазанных в дегте. Тянулись виноградники с огромными гроздьями, припудренными изумрудной пылью. До самого горизонта простирались кукурузные поля, им не было ни конца ни края; каждый кукурузный куст с седобородами початками был так мо-

гуч и так величествен, что походил скорее на какое-то неведомое тропическое растение, невесть каким путем занесенное в эти края, чем на привычный и тривиальный источник мамалыги.

Поездные пассажиры, как известно, много едят и много болтают о всякой всячине, проявляя при этом свойства, превосходно сформулированные Тимирязевым, — «знать все о чем-нибудь и что-нибудь обо всем».

Поговорив о медицине, они перешли к вопросу о квадратно-гнездовом способе посева...

— А я вас видел в Кишиневе, — сказал Алексею Михайловичу пассажир, лежавший на диване, и сообщил, при каких обстоятельствах.

— Верно, было такое дело, — отозвался Алексей Михайлович и покачал головой. — Старик этот, который мустом торговал, бывший мой фельдшер, некто Гусаков. Препаршивейшая личность. До сих пор как увижу его, так прямо пепел Клааса стучит в мое сердце... И ненависть к нему и сознание собственной вины в какой-то мере. А в общем, бр-р-р, омерзение!.. — Алексей Михайлович замолчал, заинтересованные попутчики ждали продолжения. — Возвращаясь к вопросу о медицине, нужно рассмотреть еще один аспект, так сказать... Видите ли, я сам врач, и я мог бы рассказать одну историю... Хотите послушать?..

— Давайте попробуем, — сказал пассажир с толстым лицом.

— Тогда начну с того, что сюда, в Молдавию, я попал сразу после демобилизации. Ну и наследство оставили нам гитлеровцы, я вам доложу! Прежде всего, разоренный, взорванный, сожженный край, — представить страшно! Потом никаких запасов продовольствия. Все, подлецы, вывезли подчистую! Сейчас мы с вами едем, благодать кругом какая, а тогда засуха, недород. В общем, что вам говорить... И голод и эпидемии, горе-гореванское!

Приехали мы с женой в село Унгоряны, куда я получил назначение, ночью.

Слезли на шоссе с попутного грузовика; на дворе — ранняя весна, снег сошел, грязища по шею. Луна светит на полный накал, и все вокруг блестит каким-то чертовски таинственным светом, как на дне морском...

Впрочем, это уже беллетристика.

Подхватили мы свои чемоданчики и вещевые мешки и

пошли в село. На окраине прохожий солдат показал нам белый дом с полуснесенной черепичной крышей — это, дескать, и есть фельдшерский пункт. Подходим. В окнах — ни зги, одно высажено начисто и заколочено фанерой да заткнуто каким-то тряпьем. На крыльце стоит большая белая собака, в лунном свете зеленеет ее шерсть.

Что за черт! Стоит собака молча, смотрит на нас и не лает, но и хвостом не виляет. Шею опустила по-гусиному, глаза в лунном свете блестят, — попробуй сунься к двери.

А тишина в селе такая, точно вымерло все, — ни огонька, ни шороха. Только где-то далеко-далеко, за три-девять земель, в тридесятom царстве, ревет, надрывается застрявшая машина. Может, та самая, на которой мы и приехали. Неприютно все, незнакомо, тоска за душу берет. Как-то будет тут нам работаться? И одна мысль: хорошо хоть, что нас двое.

А надо вам сказать, поехал я именно в Молдавию по одной весьма, так сказать, деликатной причине. У меня была язва двенадцатиперстной кишки: Собственно говоря, я бы и на войну не попал из-за язвы, да сам, так сказать, напросился. Я хирург по специальности. А для хирурга, как известно, нет лучшей школы, чем полевые госпитали.

Жена, конечно, была против: «Куда тебе на фронт с твоим здоровьем. И сам пользы не принесешь, и других отвлечешь от дела». Она, может, и была права, да суть состояла в том, что в области медицины я придерживался одной, так сказать, теории. Впрочем, я и сейчас в нее верую, а именно в то, что сильный духовный подъем настолько повышает внутреннее сопротивление организма, что всякие там язвы, ишиасы, нарушения обмена веществ и прочие партикулярные болезни исчезают бесследно.

Короче говоря, я добился отправки на фронт. Воевал я на Западном, на Северо-Западном, на Втором Белорусском. Особенно тяжело было на Северо-Западном. Знаете, сплошные болота и леса. Землянку иной раз отыскать и не думайте. Вода и вода! Сапоги и то просушить негде. Но и на других фронтах ни о диете, ни о каких-нибудь там удобствах, конечно, думать не приходилось. Я выкуривал по полпачки табаку в день, а при моей болезни нет ничего вреднее курения; случалось, неделями сидел на консервах да на черных сухарях; тысячи операций сделал собственноручно да сколькими еще руководил, потому что был ведущим хирургом госпиталя. И ни разу, заметьте,

за все четыре года не чувствовал себя плохо со стороны своей язвы. Ни разу! Через каждые пять-шесть месяцев я становился под рентген, меня мяли, шупали, кормили бариевой кашей, будь она неладна, и ни разу рентгенологи не обнаруживали признаков болезни.

Ну, а как война кончилась и больше не нужно было думать, куда разместить раненых да как с подвозом медикаментов, и не приходилось больше по трое суток простаивать за операционным столом, как случалось во время крупных боев, я вскоре захандрил, почувствовал свою хворобу, а там вскоре мой ливер и вовсе взбунтовался.

Посоветовался я с товарищами-терапевтами, нашли, что с хирургическим вмешательством можно повременить, а попробуй-ка ты, говорят, податься куда-нибудь в благодатные края, испытай какое ни на есть целительное питание.

Подумали мы с женой, погадали и выбрали Молдавию, виноградную страну.

Откуда мы знали, какая тут сложилась обстановка?

Уже в Кишиневе входим в гостиничный номер — баюшки-светы! Госпитальные белые койки с подъемными изголовьями, на потолке — дыра, прикрытая незаштукатуренными досками, умывальник с разбитой раковиной — все, как было после бомбежки. Разве только мусор вымели, да и только. В общем, понятно без слов: в лечебном отношении дали мы некоторую промашку.

А когда в Министерстве здравоохранения рассказали мне, в каком состоянии врачебные участки и каков вообще был уровень медицинского обслуживания во времена Антонеску и оккупации, я понял окончательно: да, тут будет не до виноградного сока и прочих благодатных вещей.

В районе, куда предстояло ехать, в селе Унгоряны, прежде работал один частнопрактикующий врач. А теперь и он куда-то сбежал. Остался фельдшер Гусаков, так о нем только и славы: взяточник, знахарь, спекулянт. Представляете, какая картина?

Прихожу на прием к заместителю министра, он еще подбавляет краски:

— В отношении эпидемиологического неблагополучия, — говорит, — мы сейчас стоим на первом месте по всему Советскому Союзу. Что успели сделать в сороковом году, после освобождения Молдавии, все пошло насмарку.

Одним словом, обрадовал!

Однако не в моем характере, видите ли, отступить — раз выбрал такое местечко, значит, давай попробуем. На войне похуже было, выдюжил, самомобилизовался. Ну и тут, раз такая обстановка, тоже должен самомобилизоваться...

И вот мы в селе Унгоряны. Весна, ночь, луна, и перед нами на крыльце полуразрушенного фельдшерского пункта — диковинная белая собака.

Поставил я на землю чемодан, поднялся на крыльцо. Собака еще ниже опустила голову, но отодвинулась, не издав ни звука, потом сбежала с крыльца, чувствую — стоит на земле, уставилась мне в спину.

Постучался я — молчание. Я — сильней. Потом еще сильней.

Наконец слышу: за дверью зашуршало, загремели запоры, дверь приоткрылась, кто-то, держа дверь на цепочке, нацелился в меня электрическим фонариком. Свет слабый, желтый. С трудом можно разглядеть за дверью человека в валенках и в старой шинели, наброшенной на плечи.

— Батарейка села, — говорю я вместо приветствия, догадываясь, что передо мной собственной персоной фельдшер Гусаков.

— Вам что угодно? — спрашивает он.

Я хоть перешел на штатское положение, а погонов с шинели еще не снял. Все-таки майорская звездочка!

— Это фельдшерский пункт? — спрашиваю. — Мне фельдшера Гусакова. Вы будете?

— Так точно, — по-солдатски отвечает Гусаков и, чувствую, с беспокойством поглядывает на мои погоны.

Объясняю, кто я такой. Оказывается, Гусакова предупредили о нашем с женой приезде, он только не ждал, что военный.

Снимает фельдшер цепочку с двери, а белая собака в два прыжка — и на крыльцо, меня даже в ногу толкнула боком. Гусаков на нее истошным голосом:

— Пошел вон, пес окаянный! — А собака никакого внимания: отошла к краю крыльца и смотрит на хозяина. — И представить нельзя, что за исчадие ада, вот так подойдет молча и укусит, — говорит фельдшер.

Я сошел с крыльца за вещами и, возвращаясь назад, еще раз взглянул на собаку. Ну, ясно! Это донельзя оголодавшая собака.

— А ведь вы ее попросту не кормите, — говорю Гусакову.

— Ее еще кормить? Сама найдет! — отвечает фельдшер и опять с визгом на своего пса: — Пошел вон, голодранец!

В помещении, куда мы вошли с женой вслед за Гусаковым, освещавшим путь своим тусклым фонариком, было сыро и, как всегда в плохих медицинских заведениях, пахло дезинфекцией.

На некрашеном кухонном столе горит семилинейная лампочка, на дощатом топчане — грязный бараний тулуп; здесь, видно, и спит фельдшер. У стены — белый шкафчик с медицинским инвентарем, лекарственными коробками, баночками и пузырьками, кюветами с инструментом, замызганным стетоскопом. В разбитое и заткнутое рваным одеялом окно задувает ветер. Пламя в лампочке колеблется, мажет стекло языками копоти. Худо, одним словом.

Оглядевшись, я спрашиваю:

— И при румынах так было?

— Стол иной был. Преотличный. Кушетка была. На стене висел портрет королевы Елены, королевы-матери.

— О-о, портрет королевы-матери вещь существенная, — говорю. — Ну, а инвентарь? Инструментарий?

— Все, что зрите. Слава богу, это хоть уцелело, — говорит Гусаков, шаркает ножкой, нагибает голову. Видно, очень человек уважает военных.

— Ну, а много у вас больных? — продолжаю спрашивать.

— Дак разве кто знает? Я обследования не производил, помилосердствуйте. Много, конечно. У нас всегда много больных. Народ дикий, — отвечает Гусаков.

Стоит он передо мной маленький, бороденка пегая, всклокоченная, как из пакли, и брови взъерошенные, нависли над глазами, точно их гладили, как говорится, против шерсти; глаза бегают, юлят. И речь у него с каким-то церковно-библейским оттенком. Старовер, может быть, или от русского языка отвык?

Жена обмахнула варежкой табуретку, села, сидит, молчит.

— Народ-то вы оставьте в покое, — говорю. — Давно здесь работаете?

— Лет тридцать, почитай, — отвечает фельдшер.

Однако ничего себе стаж!

— Ну, а стекло когда выбили? — спрашиваю.

— Еще в сорок первом, когда началась война.

Тут и жена моя не выдержала.

— Неужели не удосужились вставить до сих пор? — возмутилась она.

А Гусаков в ответ:

— Стекло пустяки, что стекло? Аспирина нет! Медицинских банок осталось три штуки. Немецкие солдаты растащили шнапс пить. Если, обратно, у кого теперь пневмония, так с места на место приходится переставлять, как в шашки играем. Или возьмите камфору. Без нее как без рук.

— Ну хорошо, пускай режим Антонеску, война, оккупация, но неужели сами не могли что-нибудь сделать? — настаивает жена. — Ну стекло-то хоть с сорок первого могли сами вставить?

Представьте, это Гусакова насмешило. Он даже ручками всплеснул. А потом говорит, и голосок у него унылый, скорбный:

— Здесь это не принято...

Я присел на подоконник, спрашиваю:

— Сегодня вызовы к больным были?

— Как не быть! Даже вечером, стемнело уж совсем, девочка приходила из Топора, окрестность здешняя имеет такое название. Мать, рассказывает, заболела.

— Ну, и вы были уже?

— Кто ж вечером пойдет, что вы! Завтра схожу. Сходить вообще надоть, конечно. Там у них в Топоре чуть не в каждом доме сыпной или возвратный. Боярское наследие.

— Хорошо, — говорю я и встаю с подоконника. — Мы сейчас пойдем. До утра это вы при Антонеску ждали.

— Помилуйте, — говорит Гусаков. — Сейчас два часа ночи!

— Вот и хорошо. До утра много времени.

— Воля ваша, конечно, но здесь так не принято!

— Курочка, яички, килограммов пять зерна, — так принято? — говорю я и смотрю в упор в его рыжие воровские глазенки.

Больше Гусаков не поминал о том, что здесь принято, а что не принято, вышел в сени, и слышно было, как он там одевается, топает, натягивая сапоги, кряхтит.

Мы с женой помолчали, и вспомнилось мне, как маль-

чишкой батрачил я с отцом в рязанских деревнях. Вот разве там, в старые дореволюционные времена, было такое же запустение. Но с тех пор сколько воды утекло, какие перемены свершились!..

В самом деле, знаете, живешь и свыкаешься как-то с завоеваниями советской власти, забываешь, чего достигли, какими были и какими стали, как изменилось все вокруг, да и мы с вами. Помните, об этом Жданов хорошо сказал. А вот столкнешься где-нибудь с прошлым, вспомнишь какую-нибудь картинку, эпизод из детства — и тут-то со всей осязательной, так сказать, полнотой почувствуешь, как далеко мы в советские годы шагнули! Никакие книги, театры, выставки с такой силой вам этого не покажут.

Жена подошла ко мне, положила руки на плечи и говорит:

— Послушай, Алеша, как же ты будешь здесь работать?

Я отвечаю:

— Это, Сонечка, ты оставь. Раз приехали, значит — все. Может, именно такая обстановка мне и нужна.

— Опять эти мистические теории! — Она ни за что не хотела признавать мое упование на самообилизующиеся способности человека.

Известное дело, жену не переспоришь. Отошла она от меня опечаленная, встревоженная, недовольная.

Гусаков между тем оделся, и мы пошли с ним по темной сельской улице на далекую окраину. Дорога разбита военными машинами, в рытвинах блестит черная вода. Топорщатся по краям дороги ветки молодых акаций. В первый год листья у них распускаются совсем на акацию непохожие, острокопечные, на второй или па третий год они меняют форму. Шлепаем мы по лужам, блестят в лунном свете на придорожных крестах раскрашенные распятия, а кругом холодно, сыро и, как в погребе, — тишина. Даже застрявшей машины не слышно, выбралась она, что ли, или мотор заглох?..

Гусаков шагал впереди меня, поскольку он знал дорогу.

Должен вам сказать, что в тот вечер чувствовал я себя весьма неважно: ныло в боку, мучила изжога. Скверно я почувствовал себя еще накануне, в Кишиневе; жене об этом я не сказал — к чему лишние волнения? Шагал я

теперь по лужам за этим Гусаковым как придется, вспоминал фронттовую распутицу, когда бывало промокаешь по пояс в дорожной грязи. На душе, признаться, было у меня скверно.

Оглянувшись, Гусаков говорит мне кротким-прекротким голоском:

— Вот вы дивитесь, почему стекло до сей поры не вставлено, а вы обзрите, как здесь народ живет. Молвинь ему: «Пойди помойся», а он в ответ: «Я никогда не мылся. Родился — искупали. Помру — обратно искупают», верное слово. И с этой стези ты его не сдвинешь. Так сказать, предрассудки капиталистического строя, — объясняет он мне.

Наконец доплелись мы к тому дому, откуда вечером приходила девочка. Долго нам не отворяли, потом в окошке засветился огонь, и мужской голос что-то спрашивает по-молдавски. Гусаков отвечает. Молчание, раздумье, наконец дверь открывается.

Молодой хозяин, красивый, как на картинке, с узким бронзовым лицом и щегольскими тонкими усиками, встречает нас неприветливо. Лицо напряженное, взгляд настоженный.

— Скажите ему, что я врач, — приказываю Гусакову.

— Сказывал. Не любят они нашего брата, — отвечает Гусаков, имея в виду под словами «нашего брата» медиков, к каковому числу он и себя безоговорочно причислял.

Злость меня берет. Совершенно ясно, не любят молдавские крестьяне «нашего брата» потому, что такое посещение совсем недавно стоило пять-шесть миллионов лей. Как им втолкуешь сразу, что теперь это бесплатно?

Входим в хату. На земляном полу, вижу, на домотканых шерстяных коврах лежит покрытая овчиной молодая женщина. Ее знобит — у порога слышно, как она стучит зубами. Рядом с больной — девочка лет десяти, она, должно быть, и приходила вчера за Гусаковым. У стены спит на полу мальчишка поменьше. Ножки он выпростал из-под рваного одеяла и во сне перебирает ими, шаркает по стене, верно, кусают насекомые.

Я приказываю Гусакову:

— Детей положить отдельно. Спросите, нет ли у хозяина лампы поярче? Да скажите ему, что денег за визит я не беру! Бесплатно, бесплатно! — пытаюсь я самостоятельно внушить хмурому хозяину.

Молдаванин переступает с ноги на ногу, вздыхает и говорит недоверчиво, исподлобья поглядывая на меня:

— Та нам не трэба...

— «Не трэба»? А девочку зачем посылал?

— Сама пийшла.

Вижу, Гусаков с этакой ухмылочкой жметя в сторону. В чем дело? Ага, догадываюсь, крестьянин посылал за фельдшером — его таксу он знал, а доктора, да еще нового, он испугался.

Я опять начинаю втолковывать:

— Ты не бойся. Говорят тебе, бесплатно. Ведь сам заболеешь, если уже не заболел. И дети заболеют. Понимаешь?

В тот год все заново рождалось в наших Унгорянах, и во всем, возникавшем запово, мы с женой должны были принимать самое непосредственное участие. Детвора впервые шла в школу учиться на родном языке, и не хватало учителей-молдаван; люди, окончившие четырехклассное училище, преподавали в седьмых классах, такая была картина. Нам с женой приходилось помогать им. С опаской входили в читальню молодые парни: это бесплатно? И приходилось советовать, что почитать, объяснять непонятное. Прибывали сортовые семена; мы объясняли крестьянам их достоинства. Во время обходов больных, а постепенно в крестьянских домах стали с благодарностью принимать мои визиты, угощать вином и брынзой, я, как записной агроном, уговаривал мужиков торопиться с севом.

Для организации медицинского обслуживания в районе не было самого элементарного, самого необходимого — не было помещения для больницы: выстроенное в сороковом году, когда эта часть Молдавии была воссоединена с Советским Союзом, разбомбили, а то, которое собирався выделить райисполком, не имело ни оконных рам, ни дверей, в нескольких комнатах, видимо, на растопку выломали полы. Райздравотдел не имел в своем распоряжении ни постельных принадлежностей, ни посуды, ни кроватей, ни стульев. Даже дрова для кухни неизвестно было как достать, — председатель райисполкома честно признался: на себя эту задачу он взять не может.

Все приходилось делать самим. Я, жена, заведующий райздравотделом, у которого, в сущности, еще не было отдела, Гусаков сами вставляли оконные рамы, насти-

дали полы в доме, отведенном под больницу, ездили в Кишинев за медицинским инвентарем и медикаментами. Сами организовали экспедицию в лес за дровами: машину я выпросил у командира воинской части, остановившейся на дневку в нашем селе.

В такой обстановке, когда на собственном опыте испытываешь прелести разрухи, с особенной остротой чувствуешь свои обязанности, свой долг. Ты не просто врач. Ты — советский человек, полпред советской культуры! В особенности, если ты член партии и с тебя спрашивается сторицей.

Сейчас мы едем с вами в скором поезде, в цельнометаллическом вагоне; зеркала, полированное дерево, комфорт, и это нам не кажется чем-то особенным. А в тот год в наших краях окопы еще не заросли лопухом, еще валялись на дорогах обглоданные добела лошадиные кости, еще свежи были могильные насыпи с деревянными надгробьями и дощечками из снарядной латуни.

В общем, как бы там ни было, начал я работать. Приходилось принимать больных не только по своей специальности, но в первое время заменять терапевта, выполнять функции районного врача. Ежедневно я обходил село, чтобы выявить больных, так как крестьяне не торопились обращаться в больницу. Я недоедал, недосыпал, жена, признаться, иногда плакала, боялась, что я не выдержу.

Но так же, как на фронте, о своей хворобе думать мне было некогда; в Кишиневе, когда мы приехали, и в первые дни в Унгорянах я чувствовал сильное недомогание, а теперь все прошло, хотя и не было целительного винограда и пищу приходилось есть такую, какая случалась. И курил я опять полным ходом. И спал недостаточно. И так изматывался, что еле на ногах держался... Что же касается винограда, то в тот год урожай погиб от засухи и филлоксеры.

Нашу жизнь с женой в Унгорянах осложнял фельдшер Гусаков. Жене он сразу внушил такое отвращение, что у нее буквально начиналось сердцебиение, едва лишь Гусаков входил в комнату. Жену приводил в содрогание его голос, жалкий голос человека, готового ко всем превратностям судьбы, готового снести и невзгоды и лишения, быть униженным, быть оскорбленным. Она испытывала мучение, когда случайно взглядывала в его лжи-

вое лицо. Она не терпела Гусакова за то, что он лицемерно удивляется моей энергии и работоспособности, за плохо скрываемое недоброжелательство.

Как-то жена слышала, фельдшер говорил печнику, присланному райисполкомом печь ремонтировать:

— И что за люди, не пойму! Наш хирург сам на могильном пороге, а других врачует, ночей не спит. — Голос у него был сокрушенный, негодующий. — Вот схватит, сердешного, в одночасье ко мне прибежит. Не минет его сия чаша.

Подозреваю, что Гусаков догадывался о ненависти моей жены и специально приходил, чтобы подразнить ее, когда знал, что меня нет дома. Придет, сядет без приглашения и начнет:

— Трудненько вам будет здесь, Софья Семеновна, помяните мое слово. Вернее всего, нужно бы вам отсель уезжать, покуда ноги носят. — И тон у него, жена рассказывает, и заискивающий, и робкий, и в то же время насмешливый, угрожающий. — А это что за книжица? Верно, что-нибудь политическое? — спросит он и тычет, прохвост, в «Хождение по мукам» Алексея Толстого или в «Карабугаз» Паустовского. — А я вот читал как-то, что в скором времени предвидится кончина Земли. Предусматривается четыре возможности... — и он загибал свои короткие, волосатые пальцы. — Во-первых, всеобщий пожар по причине солнечной вспышки, смерч огненный. Во-вторых, столкновение нашей планеты с неведомым небесным светилом, тоже, знаете, не сахар. В-третьих, мировое замерзание, поскольку наукой отмечено угасание солнечного пламени. В-четвертых, обратно, если на нас, к примеру, свалится Луна, не исключен и взрыв Земли, сиречь, светопреставление...

Операционную оборудовали мы по-фронтовому — бельевым материалом обтянули стены и потолок в одной из наших палат. Каждые десять дней материал менялся, а перед операционным днем к потолку подшивались стерильные простыни. Конечно, хирург, не имеющий армейского опыта, затруднился бы работать в таких условиях, но мы, военные врачи, только так большей частью и действовали, когда санитарная часть располагалась во вновь занятом населенном пункте.

Очень мешало мне отсутствие квалифицированной хирургической сестры, так сказать, верной помощницы

хирурга. От сложных операций из-за этого я вынужден был отказываться, направлял больных в Кишинев. Иногда призывал на подмогу жену. Услугами Гусакова я предпочитал не пользоваться.

О хирургической сестре я запрашивал молдавское министерство. Оттуда ответ: кадров среднего медицинского персонала покуда не хватает, обходитесь своими силами.

Что прикажете делать? Стал искать себе помощника среди местных жителей.

Случай заставил меня обратить внимание на того крестьянина с подбритыми усиками, в дом которого я попал в ночь приезда. Теперь он уж не говорил: «Та нам не трэба». Наоборот, ему очень понравилось лечиться. Жена его выздоровела, окрепла, а он, как только выпадет свободное время, обязательно придет ко мне на амбулаторный прием и сидит.

— У тебя что?— спрашиваю.— Кто-нибудь заболел?

— Та нэ.

— Может, сам болен?

— Эге ж!

И сует мне под нос руку с какой-нибудь ерундовой царапиной. Или придет и скажет, что грудь застудил, всю ночь пропадал от кашля. А у нас к тому времени уже и терапевты появились, и педиатр, и глазник, что вы хотите — больница!

Я ему говорю, этому парню:

— Если жалуешься на простуду, иди к терапевту, он тебя выслушает, понял? Ну, к врачу по внутренним болезням. Я же хирург. Если болячка какая-нибудь, или перелом, или руку вывихнул, тогда ко мне. Понял?

— Геаге доктор, — это, значит, «дядя доктор», — шибко прошу, побачьте самы.

Ладно, стал его как-то осматривать. Взял стетоскоп.

— Дыши глубже,— говорю.— Так. Теперь задержи дыхание.

Выслушал, как полагается, и отошел к столу записать данные осмотра. У парня действительно была легкая простуда.

— Ну-с, так вот что я тебе скажу,— начал я, поворачиваясь к своему пациенту.

И что вы полагаете? Я даже испугался. Стоит мой парень, посиневший от натуги, выпучив глаза; оказывается, он все еще сдерживает дыхание.

— Да ты задохнешься, дружок! Дыши давай! — кричал я.

И смех меня разбирает и смеяться нельзя — обидишь парня.

— Зараз можно? — глотая воздух, точно он километров пять пробежал, переспрашивает парень.

— Ну, брат, пациент ты исполнительный. А помнишь, как я в первый раз к тебе пришел? «Та нам не трэба!» Помнишь?

Все еще переводя дух, он улыбнулся.

— Та я ж тэмный був, — говорит.

— Сейчас ты светлый! — И тут меня точно осенило. — Ты светлым будешь, — говорю, — когда не лечиться станешь, а сам научишься лечить.

— Та чего вы смеетесь, геаге. Як я можу лечить?..

Тогда я предложил ему стать моим помощником.

Георгий Грассу — так звали этого парня — отмахнулся, таким невероятным показалось ему мое предложение.

— Та цэ не можно!..

Но я настаивал на своем:

— Почему «не можно»? Можно! И даже нужно! И светлым ты будешь, когда это поймешь.

Родители Грассу до революции долгое время батрачили в России, и в семье часто говорили на том смешанном русско-украинском языке, на котором объяснялись батраки, сходявшиеся на полевые работы. Георгий Грассу знал немного и русскую грамоту.

Месяц или полтора возился я с этим парнем. Учить его приходилось, конечно, вещам самым примитивным, основам гигиены и антисептики, тому, как стерилизовать инструмент, как делать простейшие перевязки, уходу за больными. Но парнем он оказался смышленным, вскоре начал понимать меня с полуслова, и дела наши с ним пошли на лад.

Гусакова это все чрезвычайно возмущало.

— Помилуйте, Алексей Михайлович, — говорил он. — Здесь это не принято. Простой мужик, и вдруг — в медики! Мыслите, он усики отрастил да пинджак надел — значит образовался? Да он касторки от валерьянки не отличит. У этих молдаван одна думка — виноград да мамалыга. Ничего другого у них в голове не держится!..

И, будто назло, случилось так, что не успел я прове-

рить, хорошо ли мой парень усвоил учение, как судьба распорядилась испытать его на практике.

В конце октября, рано утром, к нам в больницу привезли девочку двенадцати лет. Девочка подорвалась на mine. В тот год такие случаи бывали — уходя, гитлеровцы понатыкали мины повсюду. При осмотре обнаружилось, что у девочки раздроблена теменная кость и сломана ключица. Крупный осколок застрял в области правого легкого. Если я вам сообщу, что, кроме того, у нее была порвана мозговая артерия и нарушен центр речи Брока, то, насколько плохо было состояние девочки, вам не станет яснее, потому что вы не специалисты. Поэтому скажу только, что девочка была в безнадежном состоянии.

Я немедленно вызвал жену, чтобы она подшила стертые простыни и помогла в случае нужды, а сам вместе с Грассу начал готовиться к операции.

Через двадцать минут можно было начинать.

Приступая к делу, спрашиваю Грассу:

— Знаешь эту девочку?

Он стоит бледный, отвечает едва слышно:

— Сосидская дивчина Мария.

Я не придаю состоянию Грассу никакого значения. В таких случаях, знаете, дорога каждая минута и не приходится особенно вглядываться в своих помощников.

Осторожно вскрыл я кожные покровы. Как водится, брызнула кровь из нарушенных скальпелем мелких артерий. Не оборачиваясь к Георгию, протягиваю назад руку и прошу подать мне кохер — так у нас называют зажимы, которыми останавливают кровь.

Рука моя повисает в воздухе. Сжимаю и разжимаю пальцы, дескать давай скорее, — никакого результата. Я оглядываюсь, смотрю — мой Георгий чуть ли не в обморочном состоянии: глаза застыли, уставился на страшную рану, не движется, ничего не слышит, рот открыт, лицо белей белого. Ну, как в ступоре, ей-богу!

Нарушая, так сказать, все правила асептики, зову на помощь жену.

— Сонечка, — говорю, — ради бога, приведи Георгия в чувство! Только пусть руками ничего не трогает.

Смотрю, а в дверях стоит Гусаков и ухмыляется.

— А я о чем докладывал? Разве такого типа чему-нибудь научишь?

Тут я потерял самообладание.

— Убирайтесь отсюда ко всем чертям!— рявкнул я с бешенством и чувствую, холодный пот выступил на лбу...

И, представьте себе, выжила эта девочка Мария! И не только выжила — довольно быстро поправилась и в школу пошла.

Мы, хирурги, часто спрашиваем себя: твоя заслуга, что пациент выздоровел? Спас ты человека от смерти или это случайность, а ты просто выполнял свой долг? В случае с Марией я такого вопроса себе не задавал. Эту девочку не случай и не я спасли — ее советская власть спасла.

Прошло еще недели две, прошел месяц, другой, и из бывшего виноградаря выработался отличный помощник. Георгий научился угадывать во время операции буквально каждое мое движение, и теперь мне зачастую даже не приходилось называть нужный инструмент. Протягиваю руку, и Грассу передает мне то, что требуется: пинцет с комочком марли, чтобы собрать кровь, или расширитель, чтобы развести края раны, скальпель или лигатуру. С его помощью мне случалось делать операции, которыми могла бы гордиться лучшая хирургическая клиника. В обморок он больше не падал.

В середине февраля начались метели. Закрутила вьюга в полях и на дорогах. С холмов понесло снег в долины, потонули в сугробах молдавские дворы. Заносы отрезали районный центр от внешнего мира, прервалась даже телефонная связь.

В эти дни как раз заболела моя Софья Семеновна скарлатиной. Как обычно у взрослых, болезнь сразу приняла тяжелую форму. Кинулся я к заведующему аптекой за противоскарлатинозной сывороткой, тот лишь руками развел: противоскарлатинозная сыворотка кончилась, новую партию доставить не успели.

Что делать?

Выхожу совершенно обескураженный, а у дверей меня поджидает Гусаков.

— Алексей Михайлович, примите горячие соболезнования, — говорит он своим отвратным елейно-келейным голоском и осторожно вытягивает из кармана картонку с ампулами сыворотки.— Разрешите презентовать от чистого сердца.

Я, конечно, обрадовался.

— Вот это здорово!— кричу.— Откуда у вас?

Гусаков усмехается стыдливо:

— Дак в нашем положении без припасов нельзя.

Тут я сразу осекся.

— Пойдите,— говорю,— а, скажем, камфора у вас тоже есть?

— Найдется и камфора, коли потребуется. Запася в свое время.

Я тогда, вот как стоял, взял его за лацканы пиджака, прижал к себе и говорю как можно тише, потому что чувствую — иначе сорвусь.

— Третьего дня,— говорю,— старику с двусторонней пневмонией нужна была камфора, а вы молчали?

— Дак ведь, Алексей Михайлович, на всех не напаешься,— коротким голосочком отвечает Гусаков.

А я уж почти под собой и ног не слышу.

— Третьего дня умирал старик, потому что камфоры не могли достать, а вы молчали?

— Дак ведь, Алексей Михайлович... — опять тянет Гусаков.

Тут я опомнился, встряхнул его только чуть-чуть, зубы у него лязгнули, и пошел к дому.

Гусаков бежит за мной, кричит вдогонку:

— Алексей Михайлович, помилуйте, дак я вам от чистого сердца!.. Вы как мыслите? С вас я ничего не прошу!..

Я иду, не оборачиваюсь, сердце кипит, он семенит за мной и все кудахчет, объясняет:

— С другого я бы тысячи полторы спросил, а вам за даром. Противоскарлатинозной сыворотки сейчас нипочем не достать. У нас завсегда так — в феврале как на острове. Как можно отказываться?

Я прямым ходом в райком, к первому секретарю. Так и так. Что делать? Брать сыворотку у Гусакова — противно совести. Может, как-нибудь удастся снести по радио с Кишиневом, чтобы выслали сыворотку самолетом?

Секретарь райкома говорит:

— Хороню, попробуем снести. Но пока что надо взять у Гусакова. Это,— говорит,— пустяки и миндальничанье. Судьба человека на карте! Он что, дорого просит? А мы его заставим спекулянтские замашки бросить!

— Не в том дело,— говорю.— Мне он предлагает бесплатно, но ведь подлость какая! Третьего дня умирал ста-

рик с двусторонней пневмонией, нужна была камфора, а Гусаков и словом не обмолвился. Знал, негодяй, что старик гол как сокол, никакого барыша не будет!..

— Придется что-то с этим Гусаковым предпринимать,— говорит секретарь райкома.— Нужно поговорить с прокурором. Но дело ведь и в следующем: кто он такой, ваш Гусаков, задумывались вы когда-нибудь?

— Во-первых,— говорю,— он не мой, а наш с вами общий. А во-вторых, вопрос ясен, кто он такой. Мародер, лихоимец — вот кто!

— Правильно! А думали вы о том, почему он такой?

Вот об этом, признаться, я и не думал.

— А надо было подумать. Ведь это прямое наследие капиталистического строя.

И дальше секретарь райкома говорит:

— У вас нехватка в среднем медицинском персонале. А нельзя ли попробовать перевоспитать Гусакова?

Представляете, какая картина?

Несколько дней все же Гусакова видеть я не мог. Все во мне протестовало. Потом у жены миновал кризис, я поуспокоился, и Гусаков, точно почувствовал, однажды утром сам является ко мне на квартиру — в сенях слышу, орет на своего пса: «Пошел прочь, голодранец!» и затем собачий визг.

Войдя в комнату, Гусаков говорит на своем церковно-бюрократическом языке:

— Алексей Михайлович, дозволейте сделать разъяснение. В некотором роде, как медик с медиком...

И втягивает голову в плечи, точно ждет, что я его ударю.

Я хочу сказать Гусакову: все понятно без объяснений, и поговорить с ним по-хорошему, по-человечески, чтобы он понял, в какое время живет, чтобы изменил свое поведение, и, представьте, ни слова не могу выговорить, словно язык к горлу присох...

А Гусаков продолжает между тем:

— В отношении сыворотки, а также камфоры. Условия какие, я хотел сказать, ежели взглянуть нелицеприятно. Третью века любо-дорого здесь не проработаешь. Тьма, нищета, запустение... А я здесь тридцать лет, как одна копеечка...

Признаться, шевельнулась во мне жалость к Гусакову. Конечно, думаю, секретарь райкома прав, не родился

же наш фельдшер таким плохим да подлым. Но тут, как на грех, Гусакова прорвало после паузы:

— Приходится изворачиваться в некотором роде. Всю жизнь, знаете ли, то так, то сяк...

Я как услышал эту его формулировку, так всякую жалость как рукой сняло.

— По принципу: вы — мне, а я — вам? — переспрашиваю.

Гусаков, видимо, решил, что вот тут-то мы и пойдем друг друга. Он обрадовался.

— Именно, Алексей Михайлович, именно! — говорит он и сняет, если можно представить сияющим его лицо. — Опречь жалованья, какие тут доходы?.. Мизер один.

И я не выдержал, не самобилизовался против этой пакости.

— Вот что, уважаемый, — говорю и зубы стискиваю, — если и считать вас медиком, то, учтите, у нас с вами противоположные взгляды на медицину. Для таких медиков, как вы, выгоднее, если народ живет в грязи и невежестве, — барыша больше. Если бы в нашем селе при румынских боярах существовало, скажем, десять бань, то вы бы по миру пошли, вот как! А мы, советские медики, выигрываем оттого, что народ живет лучше и болеет меньше. Мы камфору из-под полы продавать не станем!

Гусаков ручками развел, губами пожевал, на меня искоса глянул и говорит:

— Темнота наша...

На том разговор и закончился.

Едва Гусаков закрыл за собой дверь, как тотчас слышался его истошный крик. «Бьют его там, что ли?» — подумал я и выглянул, чтобы узнать, в чем дело.

Гусаков сидит на крыльце, ругается вполголоса и стягивает с ноги сапог.

— Что случилось? — спрашиваю.

— Покусала, проклятая, — в ответ шипит Гусаков.

Смотрю — а это, как возмездие, собака фельдшера стоит на дорожке у входа в палисадник, голова опущена, вылупилась на нас, и глаза у нее, не скажешь, что злые, — таинственные, зеленые и, прямо сказать, насмешливые.

Впрочем, это, кажется, уже беллетристика.

Не раз еще говорил я с Гусаковым, пересиливая и

неприязнь и отвращение к нему. Я не терял надежды, что смогу как-то подействовать на этого человека. Фельдшер выслушивал меня покорно, делая вид, что полностью согласен со мной, и продолжал вести себя по-прежнему.

Как-то, помню, должна была состояться республиканская врачебная конференция. Рассчитывая заинтересовать Гусакова, столкнуть его с мертвой точки, я настоял, чтобы и его, хотя бы с гостевым билетом, направили в Кишинев. Такая конференция — событие в жизни районных медработников.

Вы думаете, поездка как-нибудь сказалась на настроении Гусакова, на его интересах? Ни разу ни одного слова о конференции я от него не слышал. Единственное впечатление, которое он вынес, было то, что на кишиневском базаре много отличной битой птицы и что даже за фельдшерский визит в частном доме в Кишиневе дают не меньше четвертной; врач, тот получает и всю полусотенную.

И тут же у всех у нас на глазах совсем иное происходило с Георгием Грассу.

Приходилось вам топить когда-нибудь печку каменным углем? Ежели вы плохо разожгли ее или упустили минуту, когда нужно добавить топлива, жар начинает спадать, уголь, уже разгоревшийся, тускнеет, гаснет. А ежели, наоборот, хорошо подложена растопка, во-время подброшен уголь, печка ваша — точно живая. Она разгорается все сильнее, пылает все жарче, гудит, как мотор, пока весь уголь не засветится белым пламенем, ярким, как солнце. Мне всегда казался удивительным этот процесс.

Нечто подобное происходит с человеком, когда он пойдет в рост. Какая-то внутренняя сила все мощнее разгорается в нем и, наподобие того раскаленного угля, начинает пылать ярким, чудесным пламенем.

Радостно было глядеть на то, с каким жадным пристрастием впитывает в себя Грассу все новое, что удается ему увидеть, узнать. Как ни зайдешь, бывало в кабинет или в дежурку, где он сидит, парень мой то книгу, то тетрадку прячет в ящик стола или под халатом. Я сперва делал вид, что ничего не замечаю. Тогда он сам открывался, попросил учебник общей хирургии. Оказывается, задумал Георгий поступить — в техникум, думаете? — нет, не

в техникум, в медицинский институт, ни больше ни меньше. Хочет человек стать хирургом.

Начали мы с ним изучать арифметику, русскую грамматику, начальную физику. Сперва Георгий ни в какую не соглашался, что ему нужно обязательно знать, чему равняется «а» плюс «б» в квадрате, ведь он собирается на медицинский, а не на математический. Потом смирился.

Между тем врачебная работа в нашей республике все больше упорядочивалась. К весне мы ликвидировали последствия голода, на нет свели эпидемии. У нас в Унгорянах работало теперь больше десятка врачей различных специальностей. Значительно уменьшилась моя нагрузка. С весны я принимал лишь своих хирургических больных, во-время ел, во-время ложился спать, поправился, прибавил в весе. И винограда оставалось теперь ждать недолго, и меда, и прочих целительных даров молдавской природы. Софья Семеновна моя вздохнула, как говорится, с облегчением,— что касается моей хворобы, слава богу, она решила: пронесло!

И вот, понимаете, какая чертовщина,— казалось бы, все прекрасно, а тем временем я чувствую — беда; чем спокойнее и налаженнее становится работа, тем все чаще и чаще моя проклятая болезнь исподтишка напоминает о себе; иногда такое паршивое самочувствие, хоть кричи караул!

В конце лета министерство сообщает, что мне предоставляется отпуск с первого октября; в Кишиневе оставлены для нас с женой путевки в санаторий. Приятное известие как будто бы, а меня совсем не радует — боюсь своей болезни, что ты будешь делать!

Считанные дни оставались уже до нашего отъезда, когда случилась новая и совсем уж бесподобная история с Гусаковым.

Как я вам докладывал, Грассу оказался очень способным парнем. При этом его так увлекла новая профессия, что он дневал и ночевал в больнице. Лучше любой нянюшки, любой медицинской сестры ухаживал он за больными, в особенности за теми, кто поправлялся после операции; их он, что называется, готов был носить на руках.

Как-то оперировал я больного по поводу острого аппендицита. Операция несложная, прошла благополучно,

и вдруг после операции неожиданно-негаданно у больного открывается тяжелый перитонит.

В чем дело, черт побери?

Были приняты, конечно, все меры, чтобы спасти человека, но меня не переставал чрезвычайно волновать вопрос: по какой такой причине возникло это осложнение?

Что же оказалось, вы думаете?

Однажды находящийся на строжайшей диете больной почувствовал себя значительно лучше и пристал к Георгию: дай поесть чего-нибудь «остренького»...

Грассу в ответ: «Никак не можно. Имеем лекарский наказ». Больной не унимался, деньги жена ему передала, так он сотенную сует Грассу, только принеси селедку, чего-нибудь с уксусом, соленого огурца хотя бы. На беду тут повернулся Гусаков. Его мнения не спрашивают, но он суется: «Что ты мучаешь человека? Человек деньги дает. Слушать больше, чего эти ученые доктора приказывают, совсем человеку живот сведет». Грассу стоит на своем: «Да вин же на строгой диете. Не можна!» Гусаков: «Ну, не знаю, чего можно, чего нельзя. Тебе поручен уход, ну и ухаживай. Только мучить больного медицина тоже не велит. Человек деньги предлагает. От пары килек да от соленого огурца какой может быть вред?» Доверчивый Грассу, с трогательным и наивным почтением взиравший на фельдшера, поверил ему. «Значит, ваша думка, вин не пострадае?»—«Да помилуй бог! Острую пищу он всю жизнь ел!»

Только мне не удалось выяснить, что именно и сколько больной съел. Каких-то консервов приволок ему Грассу, каких-то солений или маринадов. Были основания подозревать, что больной и водки выпил с Гусаковым. Как бы там ни было, на другой день к вечеру у больного — температура, выпот, острые боли в животе. Всю ночь он не спит, к утру начался бред.

По существу, Гусаков спровоцировал несчастье. По безграмотности своей или из корысти, а может быть, и по злой воле он подвел нашего Георгия, даже если водки с больным и не пил.

Нужно ли говорить, Грассу был в отчаянии. Во всем случившемся он винил только себя. Не получится из него медика, мучился он. Размечтался стать хирургом, а способностей для этого никаких!

Нужно было принимать в отношении Гусакова какие-то решительные меры.

Не знаю, что рекомендует в подобных случаях уголовный кодекс, но то, что продолжать попытки «перевоспитать» фельдшера мне больше невмочь, это я представлял себе отчетливо. Так я и доложил секретарю райкома. Физические недуги я готов исцелять, сказал я, таково мое призвание, но душевные, да еще такие злокачественные — увольте, на это меня не хватает. Я хирург и хорошо знаю: если ткань омертвела или потеряла жизнеспособность, ее удаляют безжалостно.

Вечером меня и Грассу вызвал к себе районный прокурор. Мы дали свои показания.

Поздно ночью вышли мы с Грассу от прокурора. Ночь безлунная, светят мохнатые молдавские звезды, и тишина такая, что слышно, как шуршит табак, сохнувший в вязанках на крестьянских верандах. До пруда километра полтора, но и то отчетливо можно разобрать журчание воды на плотине. Пролетают по Кишиневскому шоссе автомашины, и каждый раз доносится: у-у-у! — словно порыв ветра, да световой клин лизнет темный склон холма.

Чувствовал я себя в тот вечер сквернее обычного. Я вслушивался в неравномерный, то набегающий, то затухающий гул машин и думал о том, что нет ничего нелепее моего положения. Впервые после засухи, после военных бед молдавская земля разродилась превосходным урожаем; пшеницей засыпаны колхозные дворы; всюду горы подсолнечника, кукурузы, арбузов, дынь; люди не успевают убирать виноград. В каждом доме жмут вино, и все ходят с лиловыми руками и физиономиями; ноги — и те по щиколотку вымазаны в виноградном соке. Бродят по дворам лиловые собаки, кошки; выписывают пьяные кренделя, наглотавшись виноградной кожуры, куры и петухи; самый воздух пронизан пьяным ароматом. А со мной опять старая чертовщина. Да что я, околдован, что ли? Что за напасть такая? Стоило только немного уменьшиться нагрузке, упорядочиться жизни, получить возможность поехать в отпуск, чтобы снова выиграла неодолимо, говоря пушкинскими словами, моя хвороба! Чем хуже, тем лучше, так, что ли? Какая чепуха!

В тот вечер возвращаясь с Георгием Грассу от прокурора, впервые услышал я любовные вопли, какими в мол-

давских селах молодые люди разгоняют ночную тишину.

Молча шли мы с Грассу по сельской улице, и вдруг где-то рядом, за низкой оградой из серых, замшелых валунов раздался надрывный вопль:

— И-и-и-ге-гей!

Я вздрогнул от неожиданности.

— Черт возьми, что это такое?

Георгий рассмеялся.

— Парень свою дивчину выкликае на свидание. Обычай такой.

И верно, где-то за домами послышался в ответ девичий крик:

— Эге-гей!

В противоположном конце села слышно было, как перекликается другая пара. А там я различил голоса третьей, четвертой пары...

Было что-то наивное и веселое в этом странном обычае оповещать все село о своих любовных радостях. Но вместе с тем, помнится, я подумал о могучем и жизнеутверждающем начале, заключенном в трогательной непосредственности, с какой молодежь здесь разглашает тайну своей любви. И на душе у меня стало так хорошо, что на какое-то время я позабыл думать о болезни.

А перед самым отъездом на курорт, когда уже и вещи были уложены и билеты лежали в кармане и когда я в последний раз обходил своих больных, в коридоре я вдруг почувствовал такую острую и резкую боль в боку, точно меня ножом ударили сзади. Признаться, я даже обернулся. В следующее мгновение окрашенные масляной краской стены коридора, окно в его конце, через которое виднелся сельский пруд, плотина и белое, словно выложенное из кости Кишиневское шоссе — все заколыхалось, потемнело, поплыло из глаз...

Катастрофа случилась со мной в час дня, а в пять я уже лежал на операционном столе, и главный хирург Молдавского лечсанупра, прилетевший из Кишинева на санитарном самолете, обрабатывал над умывальником свои руки, чтобы приступить к операции по поводу, как говорится на медицинском языке, прободной язвы двенадцатиперстной кишки.

Представьте себе, в глухом молдавском селе, где, сколько ни существовало это село на белом свете, не было до советской власти квалифицированной медицинской по-

мощи, первоклассный хирург производил сложную резекцию двенадцатиперстной кишки. А больного, то есть меня, готовил к этой операции бывший виноградарь, молдаванин Грассу, всю жизнь боявшийся врачей, потому что привык к мысли: их услуги для него слишком дороги.

Такова история, которую я хотел вам рассказать.

Некогда малограмотный крестьянин Грассу скоро окончит медицинский институт, станет хирургом. Между прочим, вы все его видели — усики он носит такие же, как тогда носил, — это мой спутник; он пошел сейчас проведать друзей в соседний вагон; мы вместе с ним едем в Москву. Я на сессию Академии медицинских наук, он — посмотреть столицу, — дней десять у него есть до начала занятий.

А фельдшер Гусаков, стяжатель и лихоимец, из больницы был прогнан, побывал под судом за разные свои проделки и сейчас возит на комиссионных началах колхозный муст на продажу в Кишинев.

Что еще следует добавить?

Где-нибудь в другом месте я был бы врач как врач. В селе Унгорянах на мою долю выпало быть полпредом советской культуры, советского образа жизни. Здесь я должен был стать лекарем не только физических, но и моральных недугов. Справился я с этой задачей или нет? В отношении Георгия Грассу, мне кажется, я с задачей справился. Что же касается Гусакова, то в его случае медицина, как говорится, оказалась бессильной, да иначе оно и быть не могло.

Гусаков теперь старый, нищий, может быть, больной. И все же, честно говоря, мне нисколько не жаль его! Как мешают нам в нашей жизни эти обломки прошлого! Не знаю, как лучше выразить свою мысль, но думается, что такие, как Гусаков, подобны той язве, которая подстерегала меня, чтобы ударить, как ножом, исподтишка, когда меньше всего ждешь нападения!

И вот что еще должен вам заявить. Я медик, и я убежден, что не болезни, не пороки, не наследственность — пагубнее всего для человека самоуспокоенность. Нет жизни без деяния, а деяние, как известно, это борьба, в этом вся штука, видите ли.

Алексей Михайлович замолчал. Пассажир, первым заговоривший о медицине, улыбнулся и вопросительно произнес в сторону попутчика, лежащего на диване:

— Ну, как история? Одобрим?

— История драматическая,— ответил тот.

— Одобряете вы эту историю или нет, а вот так оно все и было. И ничего уж тут не поделаешь,— сказал Алексей Михайлович.

Поезд замедлял ход. Приближалась станция. В купе было полно всяческой снеди, но, как водится, пассажиры стали собираться к выходу, чтобы на станционном базаре купить еще какой-нибудь еды.



---

## Борис Полевой

### ОЧКИ

Пожалуй, с того самого румяного, хрусткого зимнего утра, когда партизаны после двух лет тяжелой лесной войны выходили навстречу нашим наступающим частям и Анна Михайловна Суворова, идя в середине колонны, вдруг увидела в розовеющей дали, меж заснеженными соснами, своих солдат в заскорузлых полушубках, ушанках и валенках, с того теперь уже далекого дня эта пожилая, спокойная, уверенная в себе женщина не волновалась так, как сейчас, ожидая, что ей вот-вот предоставят слово.

Собственно, поводов для волнения не было никаких. И в колхозе и в своем районе Суворова давно уже прослыла человеком, который за словом в карман не полезет. Районные, да и областные работники, из тех, кто грешил незнанием колхозных дел или невниманием к льноводству, побаивались этой прямолинейной, грубоватой женщины и ее острого, беспощадного языка. Но то было на родине, то были свои, домашние, досконально знакомые дела. А тут конференция, на которую съедутся делегаты со всей страны, тут большой разговор о самом простом и одновременно самом сложном, о том, что кровно интересует не только Суворову, не только ее односельчан из колхоза «Великий перелом», но людей всей, как есть всей земли. И, узнав, что, возможно, на этой конференции ей предоставят слово, Суворова вдруг ощутила такое волнение, будто ей в самом деле предстоит говорить со всеми народами сразу.

Она так и сказала в райкоме, что трусит, что для столь

ответственного выступления ей и слов-то настоящих не сыскать, что в делегации есть люди пообразованней и поречистей. Им, мол, и книги в руки.

В райкоме удивились, стали успокаивать, а с речью обещали помочь. И действительно, перед отъездом Суворова получила пять страничек, аккуратно напечатанных на машинке. В них было все, что положено: и перечисление страшных бед, причиненных их краю фашистским нашествием, и примеры того, как после войны возрождались на пепелищах села и города. Были тут и веские цифры, и правильные слова о войне и мире. Все это Суворовой пришлось по душе: грамотно, культурно. Она вписала в текст кое-что свое, взятое из жизни «Великого перелома», и совсем было уже успокоилась.

Но на конференции, среди делегатов, которых она никогда до сих пор не встречала и которых то и дело узнавала по фотографиям и портретам, напечатанным в разное время в газетах и журналах, беспокойство вновь одолело ее. Вот перед кем говорить придется! После первых же прослушанных речей заготовленный текст вызвал у Суворовой тревогу. Все в нем правильно, все на месте, но чего-то нет. Мысли, что ли, не новы, слова ли слишком уж привычны, тусклы...

Руководитель делегации, инженер-конструктор по профессии, выслушав ее сомнения, усмехнулся:

— Предела совершенства, дражайшая Анна Михайловна, как известно, нет.

Однако он не пошел обедать и весь перерыв просидел вместе с Суворовой в опустевшем фойе над текстом ее выступления. Но и этого ей показалось мало. Странное, жутковатое ощущение, что предстоит говорить не только вот этим людям, наполняющим зал, а всему человечеству, не покидало колхозницу. И она упросила подругу по делегации и соседку по номеру, старушку учительницу, не ходить в этот вечер в МХАТ, куда они имели билеты и где им обоим очень хотелось побывать.

До самой ночи они вдвоем, прихлебывая крепкий чай, взвешивали и шлифовали каждую фразу. Опытная учительница даже отметила на полях, где нужно «нажать на голос». Потом, оседлав очкими свой короткий, вздернутый и теперь, в пожилые годы, все еще весьма задорный нос, Суворова с выражением прочитала соседке результат стольких трудов. Учительница слушала задумчиво, скло-

нив набок голову. Прослушав, она сказала: «Отлично, пятерка!» Речь в самом деле получилась хоть куда.

Чего бы, кажется, и беспокоиться?

И все же сейчас, когда объявлено, что следующее слово будет предоставлено ей, Суворова волновалась. Приближалось что-то большое, небывалое, давно ожидаемое и все же неожиданное, сулящее какие-то неизведанные переживания. Чувства, которые она испытывала в эти минуты, очень напоминали ей почему-то те мгновения, когда, выйдя из леса, увидела она первую колонну советских воинов и когда, вместо того чтобы бежать навстречу им, родным, долгожданным, она прижалась к сосне, чувствуя, что силы оставляют ее, и издали следила за тем, как ее товарищи по лесной войне обнимаются с солдатами на дороге...

Она не слышала, что говорил оратор, не знала, почему короткие аплодисменты то и дело перебивали его речь. Она то снимала, то надевала очки, то перебирала листы своей речи, то принималась ее читать. Ей казалось, что соседи видят, как она волнуется, и, чтобы скрыть дрожь пальцев, плотно прижимала руки к коленям. И, конечно, она прозевала момент, когда освободилась трибуна. Голос председателя, как показалось ей, внезапно произнес:

— Предоставляю слово Анне Михайловне Суворовой, председателю правления колхоза «Великий перелом».

Сразу вдруг успокоившись, Суворова неторопливо поднялась с места, хозяйственно забрала свои записи, футляр с очками, ответила на незаметное пожатие руки своей соседки-учительницы и с достоинством, неторопливо направилась по проходу к трибуне. Два ордена Красного Знамени — боевой и трудовой — тихонько позвякивали у нее на груди, стучаясь друг о друга в такт шагам.

Ощущая растущую уверенность, она разложила перед собою на трибуне листки и спокойно посмотрела в зал. Страдающая острой дальновзоркостью, она не различала первых рядов, но семнадцатый, где сидела ее делегация, она видела четко: разглядела конструктора, глаза которого как бы настороженно таились за сверкающим пенсне, заметила взволнованное ожидание на добром лице учительницы и поняла, что старушка беспокоится за нее. Уверенно улыбнувшись, адресуясь точно не ко всем, а только к этой маленькой, сухонькой учительнице, она произнесла:

— Товарищи!

Обращение прозвучало звонко. Учительница поощрительно кивнула ей в семнадцатом ряду, как кивала она, вероятно, в классе, приготовившись слушать ответ хорошего ученика.

Невысокого роста, крепкая, несмотря на свой возраст, румяная и чернобровая, стояла Суворова на трибуне. Держалась она просто, и делегатам было необычайно приятно слушать, как увесистое волжское «о» округлилось в первом же произнесенном ею слове. Руки Суворовой между тем привычными движениями открыли очечник.

И вдруг пальцы, судорожно шарившие в футляре, оцепенели. На лице оратора, мгновение назад таком спокойном, появилась странная улыбка.

— Товарищи! — повторила Суворова, и теперь слово это прозвучало как вопрос, как выражение недоумения и испуга. Руки ее все еще вертели пустой футляр. Очков в нем не было. Она, должно быть, забыла их там, в семнадцатом ряду, а может быть выронила по пути на трибуну.

На пюпитре, расплываясь, белеют листы бумаги. Вместо букв, сколько она ни вглядывается, глаза различают лишь размытые, нечеткие, сплошь темные строки. Шея и спина у Суворовой сразу стали влажными, ноги подламывались. В напряженной тишине позвякивали ордена, стучаясь один о другой. Это легкое позвякивание казалось теперь колхознице громким, как звук колокола, и она дрожащей рукой прижала ордена к груди.

Зал ожидал. Учительница, сидевшая в дальнем ряду, побледнела и вся устремилась вперед, точно готова была броситься подруге на помощь. Тревожно посверкивали стекла пенсне руководителя делегации. А Суворова думала: «Провалилась! Сорвала выступление! Осрамила делегацию, оскорбила всех тех, кто доверил сказать с этой трибуны о своих чувствах и мыслях. Что делать?! Уходить?.. Проклятые очки!»

Она растерянно оглянулась на президиум. Невооруженными глазами она не четко видела контуры лиц, но ей чудилось, что она различает написанное на них раздражение, сердитые взгляды. Какой позор, господи! Провалиться бы под пол, исчезнуть!..

И вдруг оттуда, из рядов президиума, до нее донесся

сочувственный, полный доброжелательности голос, принадлежащий, как она догадалась, тому знаменитому писателю с серебряной головой и юношеским, даже мальчишеским лицом, что с утра вел заседание:

— Чего же вы смущаетесь, Анна Михайловна? Говорите, что на душе, что на сердце.

И от того, что незнакомый! Этот человек назвал ее по имени и отчеству и что голос у него был совсем домашний, Суворова вдруг спохватилась: в самом деле, что произошло? Ведь в этом великолепном зале, сияющем хрусталем огромных люстр, под сенью торжественных колонн сидят свои, советские, такие же, как и она, люди. Разве ей нечего сказать всем им, озабоченным так же, как и она, делами мира и войны? Да боже ж мой, сколько слов теснится у нее в голове!..

— Вот очки куда-то, шут их знает, запропастились, — сказала она, смущенно улыбаясь, и три микрофона, поймав ее слова, усилили их, передали в зал, записали на пленку, бросили в эфир. — Ну ладно, ничего, я так, без бумажки... Вы уж, товарищи, извините меня...

Что означает этот короткий шумок, что прокатился вдруг по залу, прокатился и стих? Суворова смотрит на свою делегацию. Пенсне конструктора уже не сверкает; он сидит, нагнувшись, сжав ладонями свою лобастую голову, а учительница вся вытянулась вперед, и губы ее шепчут, будто хотят что-то подсказать.

«Переживают», — догадывается Суворова, но это ей уже не страшно. Главное сделано — прервана тишина, сказана первая фраза, — а говорить ей есть о чем.

— Кто я, почему здесь стою перед вами, товарищи? Председатель хорошего колхоза, как вам тут сказали? Правильно. Льноводка умелая? И то верно. Но главное-то разве в этом? Главное в том, что я женщина, по-старому, по-деревенски говоря, баба — баба-вдова. Муж мой погиб в партизанах. Баба-сирота, потому что старший мой убит на войне, а дочка единственная пропала в фашистской неволе. Забрали они ее, и не вернулась. И где сгилла, не знаю. Одни говорят, будто по дороге, когда их на чужбину везли, руки на себя наложила, другие — будто из эшелона сиганула и пристрелили ее... Вдова-сирота, товарищи, вот кто вам все это говорит! А уж кому, как не мне, вдове-сироте, знать, что такое война и что она, проклятая, несет людям.

Суворова на миг останавливается и тыльной стороной руки крепко вытирает горячие, повлажневшие губы. В зале тишина. Попржнему еще сидит, согнувшись, руководитель делегации, но учительница уже не тянется с подскозкой. Она все еще насторожена, но уже поощрительно кивает головой. Колхозница ласково улыбается ей. На душе у нее совсем покойно, будто сидят перед ней свои, односельчане, которых она знает, которые вместе с ней выросли или родились у нее на глазах.

— Да разве я тут одна такая? Вот там, в нашей делегации, учительница заслуженная, Преображенская Вера Николаевна. У нее единственный сын Костя, Константин то есть, под Керчью погиб. А рядом вон, возле нее, в пенсне, это конструктор-лауреат товарищ Блаженков. У него в эвакуации вся семья померла от тифа... Да разве ж мало таких среди нас, что помимо общих-то, государственных, имеют с войной и свои личные, так сказать, счеты? Так ведь, товарищи?

И огромный, залитый огнями зал вдруг ответил этой маленькой полной пожилой женщине таким дружным, согласным гулом, как колхозное собрание отвечало обычно своему испытанному вожаку. И как у себя, на колхозном собрании, Суворова с удовольствием подытожила:

— Ну вот, видите, так оно и есть. Кого у нас война не задела! А главное, что война, она нас от трудов наших отвлекла, от дела оторвала, жизнь нам испортила. И какую жизнь-то!..

Вот послушайте-ка, товарищи, как мы раньше, до революции, в наших лесных краях жили. Хлеба-то своего до рождества ни у кого не хватало. Да чистым-то его, хлебушко, у нас только разве осенью и ели. А уж как падет наземь снежок, так бабы в квашню и картошку толченую и льняной жмых клали, а зимой лебеду да тертую кору... Да разве у нас когда кто с поля своего кормился? С крещенья мужики шли в отход, ну, а бабы, то есть, извиняюсь, конечно, товарищи, женщины да ребяташки, эти по куски — под чужую оконницу корки собирать. Я сама ходила, что вы думаете? В чужую ставню стук-стук: подайте на пропитание... Это еще что! А то бывало мужики сани на костре обожгут да на них на юг и подадутся, на погорелое место собирать. Голь на выдумки хитра. Станешь выдумывать, когда дома все

ребятишки колтуном маются. Вы, чай, товарищи, и не знаете, что такое колтун? А? Колтун — это болезнь, от голоду бывала. На голове корка такая из худой крови образуется, вроде шапки, и никакими силами ее не отдерешь... Я, товарищи, не очень вас задерживаю?

В зале послышался дружный и очень добрый смех. Кто-то одиноко зааплодировал, но тотчас же смолк, и председатель произнес, повидимому, с улыбкой:

— Нет, нет, Анна Михайловна, говорите, пожалуйста.

— Я к чему вам это толкую, товарищи, про колтун, про горелые оглобли да про то, как в мерзлых липовых лаптишках я девчонкой под чужими окнами побиралась? А к тому, что при советской власти все мы в неродившем нашем лесном краю в первый раз досыта наелись, да не только наелись — запасы завели... К тому я вам это говорю, что родная наша мать, Коммунистическая партия, настоящую жизнь народу открыла, свет показала, счастье дала! Меня вот, простую крестьянскую бабу, извиняюсь опять же, товарищи, женщину, вчерашнюю нищенку, в Кремль вызывали для совета с руководителями партии и правительства по важнейшим колхозным делам... Нет, нет, товарищи, не аплодируйте зря, вы меня не так поняли. Не меня лично вызывали, не Анну Суворову, а нас, передовиков сельского хозяйства... Это не мне, партии нашей, советской власти аплодировать надо. Вот и я вместе с вами поаплодирую, и с удовольствием...

Кинооператоры зажгли свои лампы. То ли от яркого освещения, то ли от радостного контакта, установившегося между ней и залом, то ли от мыслей, теснящихся в голове, помолодевшая стояла Суворова на трибуне, радостно рукоплещая своей партии, стояла, смотрела, как в зале точно бы сотни белых птиц махали крыльями. На душе ее покойно, радостно. И, обращаясь ко всем этим людям, которые так хорошо ее понимали, которые, как ей казалось, жили с ней одной мечтой, она продолжала уже совсем по-домашнему:

— Я это к чему, товарищи? А к тому, что есть еще на свете империалисты, которые хотят у нас это счастье отнять. Вот к чему! Гитлер, он — ох силен был, собака! — всю Европу танками подмял, а от нас, простите на грубом слове, и грязных порток не унес. И от страха там, что ли, отравился, как крыса худая, где-то в своей норе... Вот тут многие говорили: «Мы мирный народ». Верно, мир-

ный. Все у нас есть. Нам чужого не надо. И радость наша — видеть, как цветет земля. Я вот, товарищи, летом в поле на своей таратайке раз выезжала, — машины я не завожу, дороги-то еще плохи, на таратайке езжу... Так вот, выехала, а льны в ту пору цвели. А льны у нас представляете, какие? Знаменитые! Двадцать шестым номером в этом году волокно сдавали. А знаете, как они цветут? Небо синее, и поля синие — не отличишь. Вдохнула я поглубже и думаю: «Вот они, Анна, твои труды, твоя краса, твое счастье...» Боже ж мой, как это хорошо! А за льнами на пригорке колхоз. Мы его после войны занова отстроили, по плану, в два порядка — изба к избе, и есть у нас все, что положено: и ферма, и конюшня, и клуб, и ясли. Все новенькое. Бревна обветриться не успели, что медовые... Гляжу и думаю: «Неужели опять дойдет сюда война, и все это в прах, и опять на полях будет красный бурьян, а вместо домов одни печки?»

Но страшно мне не стало, товарищи. Нет. Только злость меня взяла. Мы мирные люди, и войну мы ненавидим, будь она проклята! Но мы не боимся ее, нет! Уж вы мне верьте. Это говорит вам вдова партизана, мать солдата, убитого под Сталинградом, это вам, товарищи, бывшая партизанка говорит... Был у нас в колхозе один человек огромной силы, ну, скажу вам откровенно, мужик мой, культурно говоря, муж. Первым он был на работе, а нрава тихого, мухи бывало не обидит. Двадцать лет с ним прожила, слова бранного не слыхала. Курицу бывало или гуся резать к празднику — несет ко мне: «Не могу, Анна, рука дрожит...» А как война к нам пришла, мой первым и среди партизан стал. Гестапу ихнюю, что в школе размещалась, сжег. Поезд воинский под откос сбросил. Какого-то ихнего бандыфюрера, что ли, в генеральских чинах, в плен взял. Специальный самолет с Большой земли за этим бандыфюрером, чтобы ему пусто было, прислали. О муже моем даже Совинформбюро сообщило: «Подвиг партизана товарища Эс».

Я это все к чему тут толкую? А к тому, что одному Гитлеру мы шею свернули, а другие уж в очередь становятся. Охота, видишь ли ты, в мировые цари вылезть... Так вот я и говорю этим-то новым гитлерам, чтобы помнили они моего Федора-партизана, товарища Эс, и сына моего, под Сталинградом погибшего, и всех нас, мирных людей, помнили и чтобы знали они, собаки, что ненавидеть-то

войну мы ненавидим, а не боимся ее, нет! И чтобы то они еще помнили, что с Гитлером и со всей его сволочью мы в одиночку справились. А теперь нас, мирных людей, вон какая силища: и китайцы, и поляки, и чехи, и румыны, и венгры. Да всех разве перечтешь! Говорят, нас теперь около полмиллиарда. Это — те, кто в ряду стоят, а сколько еще рук к нам со всех сторон тянется!.. Вот пусть они там, в своих конторах, пощелкают на счетах да помозгут, на кого они руку-то, подлецы, поднять хотят и чем все это для них кончится.

Суворова взглянула на часы. На лице ее, таком взволнованном и страстном, вдруг появилось конфузливое выражение.

— Ой, сколько я уже говорю! Вы простите меня, товарищи. Наверное, думаете: «Забралась старая дура на трибуну, посяла очки по дороге и несет, что в голову взбредет...»

В зале вспыхнул дружный смех. Со всех концов слышались голоса: «Нет, нет, говорите!», «Слушаем», «Правильно... Очень хорошо!»

— Да мне, пожалуй, говорить-то больше и не о чем, все сказала. Что же тут хорошего?! Вот здесь у меня, верно, хорошая речь.

Она показала исписанные листки и даже потрясла ими. Зал смеялся, но тем теплым, добродушным, сердечным смехом, возбудить который в слушателях — счастье для каждого оратора.

— Я все сказала, товарищи, что ж добавлять? Давайте уж делом бороться за мир...

На мгновение настала тишина, такая, что все услышали, как шуршит бумага. Суворова собирала листки своей произнесенной речи. Потом будто бы раскатился громовой удар — грянули аплодисменты, такие дружные, веселые, каких конференция еще не слыхала.

Окончательно сконфузившись, колхозница засеменила с трибуны, а люди поднялись и аплодировали стоя. Потрясенная этим, искренне не понимая, почему так понравилась людям ее, как казалось ей, сумбурная и бестолковая речь, Суворова торопливо шла по проходу, и какие-то незнакомые делегаты, высовываясь из рядов, жали ей руки, благодарили.

— Молодец, какой вы молодец! — шепнула ей учительница и тихонько чмокнула в щеку.

Старомодные очки в темной оправе с толстыми стеклами как ни в чем не бывало лежали на сиденье в кресле, нагло подняв вверх свои дужки. И когда Суворова, усевшись, надела их и все вокруг нее прояснилось, строгий конструктор, в сторону которого она все еще не решалась посмотреть, наклонясь, шепнул:

— А я бы на вашем месте, Анна Михайловна, всегда выходил на трибуну без очков. Да, да, именно без очков!



---

*Борис Полевской*

## ХРАБРОСТЬ

Клев прекратился, но летний вечер был так тих, так хорош, отблески заката так задумчиво багровели на потемневшей и точно бы загустевшей воде, а с соседнего луга так аппетитно потянуло терпкими запахами подсыхающего сена, что никому не хотелось уходить. Смотрели удочки и улеглись на посеревшей от росы траве. Рыба судорожно всплескивала то в том, то в другом ведерке. Ленивая волна тихо понлепывала о днище полувытащенной на берег лодки, и только этот мелодичный звук перебивал надсадное верещание кузнечиков.

В такой вечер хорошо думается. Должно быть, поэтому разговор и шел между рыболовами на темы отвлеченные, общечеловеческие. Спорили о храбрости.

Маленький нервный человек с жесткими, точно волоочными, волосами цвета воронова крыла, подмастер с текстильной фабрики, у которого даже тут, на рыбалке, на выцветшей гимнастерке пестрели ленточки орденов, настолько, впрочем, засаленные, что цвет их трудно было уже различить, уверял, что храбрость — это от рождения, и все принимался рассказывать действительно необычайные боевые приключения какого-то своего приятеля, разведчика, о котором он повествовал с таким смаком, что собеседникам невольно думалось, будто речь шла о нем самом.

Другой рыболлов, инженер с металлургического завода, человек грузный, малоподвижный, молчаливый, заявил, что думать так не диалектично, что храбрость — субстан-

ция надстроечная и воспитывается она средой. В подтверждение он рассказал, как в дни войны понадобилось вдруг срочно произвести ремонт еще не вполне остывшего мартена, как ремонтники в страхе остановились у разверстого жерла, из которого еще несло обжигающим жаром, и как один коммунист, обмотавшись мокрым брезентом, полез в печь и, начав там работать, примером своим увлек остальных.

Третий собеседник, черный, как жук, с белками глаз кофейного оттенка и резким ястребиным профилем, точно бы отлитым из темной бронзы, сказал, что все — дело случая. Бывает, когда мужественный парень труса отпразднует и когда вовсе пустой человек храбрецом объявится. Похлопывая таловым прутом по голенищу сапога, он не без юмора вспомнил, как в позапрошлом году в их колхозе пожилая доярка, тетка сырая, рыхлая, боявшаяся лягушек и мышей, однажды застав у телятника матёрого волка, приняла его за собаку и так огрела подвернувшимся под руку ведром, что тот вылетел из ворот, разогнав по пути трех дюжих парней из плотничьей бригады...

— Ну а вы что на сей счет скажете? — спросил инженер, обращаясь к четвертому рыболову, невысокому, крепко сбитому русоголовому человеку в кожаной лётной куртке, в военных штанах и болотных сапогах, что лежал, по-богатырски развалиясь на спине, покусывая травинку, и, не вмешиваясь в беседу, следил, как в потемневшем небе одна за другой загораются острые, колючие звезды.

— Кто-кто, а уж вы, товарищ полковник, толк в этом знаете, — поддержал ткацкий подмастер с орденскими ленточками на гимнастерке.

В голосе его зазвучала та дружеская официальность, с какой ветераны обращаются к офицерам.

— Верно, Андрей Ликсеич. Уж сколько рыбы с вами переловлено, сколько ухи вместе съели, и хоть бы раз вы что о себе рассказали!.. Эдакий выдающийся человек, памятник вам живому где-то стоит, и ничегошеньки мы о вас не знаем.

Человек, которого называли полковником, сел, сердито скомкал и отбросил травинку, которую мгновение назад так безмятежно жевал. Чувствовалось, что уже много раз слышал он такие просьбы, что они ему неприятны — то ли

по свойству характера, то ли потому, что это ему уже давно надоело.

— Вон, вон звезда красноватая. Марс. Говорят, там есть живые существа и будто оттуда снаряд с атомным двигателем и с пассажирами до нас долетал... В Сибири упал. Тунгусский метеорит... А ведь черт его знает, может быть! Во всяком случае, забавная гипотеза.

Он явно уводил разговор в сторону. Но не тут-то было. Никто и не взглянул на бархатное небо, где сверкала звезда, с которой якобы падают атомные снаряды. Друзья по рыбалке уже сидели вокруг полковника, и все трое смотрели на него такими требовательными глазами, что отнекиваться было уже просто неприлично. Полковник нахмурился, раза два прочесал пятерней свои русые, торчащие в разные стороны волосы и, вздохнув, задумчиво начал, не изменяя и теперь своей обычной манеры говорить короткими фразами:

— Ладно. Теоретизировать я не стану. Так, случай один расскажу. Любопытный. Мне и сейчас вот кажется: ничего более запоминающегося не видел за всю войну.

В воде, которая теперь совсем потемнела и над которой уже потянулись первые волокна тумана, туго всплеснула рыба. Полковник весь насторожился, в глазах вспыхнул охотничий азарт, даже ноздри короткого тупого носа раздулись.

— Щука! — почти вскрикнул он.

— Пусть себе живет, в другой раз выловим, — заметил колхозник. — А вы рассказывайте, рассказывайте, как у вас там все было.

— Не у меня... Я тогда был лейтенантиком. Прямо из школы и на фронт. На свой истребитель поглядывал, как на девушку, влюбленно-боязливо: хороша, а какой характер, черт ее знает... Ну и, как водится, мечтал о подвигах, рвался в бой. А командир полка, как назло, до поры, до времени выпускал нас, юнцов, лишь на барражирование, да и то над своим аэродромом. Я считал его перестраховщиком. Бюрократом. Ненавидел всей душой. Ну как же: фашисты у Ржева, бои воздушные то здесь, то там, а он нас, как жеребят, гоняет по корде. Гуляем в воздухе, как в горсаду. Парочками. Явный бюрократ...

Однако я не об этом. Не о себе. Так вот, изнываем мы от тоски на своем аэродроме, и вдруг, на исходе дня, за

ужином, после того как была принята «наркомовская доза» и мы уже хотели расходиться по палаткам, влетает в столовую мой друг Сашка Кравец. Такой же, как я, желторотый птенец. Кричит: «Ребята, потрясающая новость! Утром артисты прилетают. Из областного центра. В полдень будет концерт».

И верно, на следующий день комиссар полка — тогда еще комиссары были — вызывает к себе меня и этого самого распотенного Сашку: встретите артистов. Привезти их в балку, что была недалеко от аэродрома. Весь народ, что будет свободен, созвать. И чтоб без гаму и беготни. Фронт-то вон он, рукой подать, орудия целый день гудят.

Ну, мы с Сашкой, понятно, рады стараться! Грузовик, на котором горючее развозили, как кадку для огурцов, с хвощом вымыли, для приличия обтянули плащ-палаткой. Чистые подворотнички себе подшили. Побрились по два раза. Даже полевых цветов нарвали. Ей богу! Ходим по аэродрому с букетами, как женихи. Народ потешаем... Ну, прилетел грузовой, вырулил, а мы тут как тут: «По поручению командования позвольте нам...» — ну и так далее.

Вылезают. Девять душ. Артисты и артистки. Ну, мы с Сашкой, как положено, артисток разглядываем, расшаркиваемся, цветы, всякие хорошие слова... Молодость! Из артистов, признаться, рассмотрели только одного: старик уж. Толстый. Лицо в красных жилках. Сизый нос. Длинная такая косица, где-то сбоку начинающаяся, довольно ловко к лысине примазана. Еле я его из самолета вытащил: укачало. И такая досада! Пока я этого почтенного дядю на землю извлекал, пока водой его отпаивал, Сашка мой со всеми артистками в боевой контакт вошел, натаскал откуда-то из палаток стульев, расставил в кузове, как в гостиной, и разливается соловьем о трудностях боевой жизни, о всяческих летных боевых делах и на меня, подлец, поглядывает: как, мол, каков я?

Ну а тем временем старикан мой кое-как отдышался, маскировочную косицу свою на лысине разложил аккуратно, с каким-то двойным разворотом, и от этого помолодел даже, и отрекомендовался: такой-то, актер комедийного плана. Ну, сами понимаете, как только в кузове мы всех разместили, я об этом комедийном плане сразу позабыл. Ну как же, у Сашки шумный успех, такие

мертвые петли и штопоры выкладывает, что артистки только ахают: «Ах, Александр Иванович, вы прелесть!» «Ах, товарищ лейтенант, как это безумно интересно!..» И вспомнил я об этом моем комедийном старикане, признаться, только когда он уже в гриме появился на сцене.

На сцене! Сейчас я вам скажу, какая это была сцена. Вот слушайте. Обстановочка следующая: на дне оврага, в кустиках, грузовик. У одного из бортов на палках занавес из плащ-палаток. У занавеса Сашка Кравец сияет, будто его всего с ног до головы песком надраили. А на откосах оврага зрители. Весь наш авиаполк. Все, кто свободен. Беспечные мы, надо сказать, тогда были: первые месяцы войны... Так вот, Сашка наш, уже прочно пришивавшийся к искусству, объявил, что будет показана сцена из комедии Островского «Лес». С одной стороны из-за плащ-палатки выходит здоровенный артистище с басом, как у нашего старшины, Геннадий. С другой выскакивает этот самый комик. Сразу-то я его в гриме и не узнал. Преобразился совершенно. Где она, эта стариковская одышка, эта сипотца в голосе, этот рот, брызгающий слюной? Откуда что взялось! Подвижной, вертлявый, как бес, хитрый, смешной, жалкий. Словом, Аркашка Счастливец. Сами знаете...

Как уж они там гримируются, это мне неизвестно, никогда я в жизни за кулисы не ходил, только преобразился человек неузнаваемо. Рта не успел открыть, а по оврагу хохот... Так и пошло: тишина — хохот, тишина — хохот. На Геннадия, что, как «ИЛ» на бреющем полете, гудит, никто и не смотрит. Все только на комика. И так это он за несколько минут нас всех захватил, что как-то даже удивило нас, когда вдруг рядом в рельсу ударили. Воздух! Только тогда на небо взглянули и замерли... На горизонте «Ю-87». Пикировщики. Колеса у них еще под брюхом не убирающиеся, похоже, как будто ноги в лаптях торчат. Мы их «лаптежниками» звали. А под крыльями — сирены: когда идут в пике, ревут. Для паники... Очень с ними, с этими «лаптежниками», в первые месяцы войны считались.

Так вот, звено «лаптежников» на нас и идет. Высота — километра два. Облачно, но день ясный. Признаюсь, в первый раз их с земли-то видел, и такой обуял меня страх, что я даже окаменел. Точно судорога всего свела.

Это сначала. А потом захотелось бежать. Куда, зачем — все равно, только бежать. Прятаться. Закрывать руками голову. Словом, наделать кучу глупостей. При этом прошу учесть: начало войны, и таких, как я, необстрелянных новичков, большинство. Не только обстреляться, но многие даже и загореть не успели. Наступает страшная тишина, и в ней этакий вибрирующий рев моторов: у-у, у-у, у-у! И сквозь этот рев доносятся слова комика. Ну, там рассказывает Геннадью что-то. Смешные такие слова. И оттого, что они простые и смешные, их тоже страшно слышать, когда это «у-у» все нарастает, а самолеты почти над головой. Комик, должно быть, так увлекся, так в роль вошел, что ничего не замечает.

И тут раздается голос комиссара:

— Слушать мою команду! Ни с места! Не шевелиться!

Только тогда, должно быть, актеры и заметили опасность. Они вдруг замерли в самых неподходящих позах. Глядят на небо. А «лаптежники» меж облаками плывут: появятся — скроются, появятся — скроются. И уже хорошо видны эти их пресловутые лапти, желтые подкрылки, черные кресты. Снизу всегда кажется, будто самолет прямо на тебя летит, в тебя целит. И бежать такая охота, что все тело, точно крапивой остреканное, зудит... Вот вы говорите, что храбрецами рождаются. А сами не испытали такого? Ага, то-то вот! Я полагаю, дорогие товарищи, что нет человека, кто страха не знает. Разве больной какой. Или идиот...

Так вот, страхом таким подстегнутые, двое с места срываются — и бежать.

— Продолжайте, продолжайте спектакль, — это комиссар просит.

И слышу я, как этот мой старый комик, тот, что своим фиолетовым носом да маскировочной косицей так меня удивил, этот больной, одышечный человек дрожащим голосом бросает какую-то смешную реплику. Геннадий ему отвечает. Опять между ними завязывается диалог. Я глазам не верю: играют! А между тем самолеты прошли, делают широкий разворот — и опять к нам. То ли ищут, то ли на рубеж атаки выходят. Я это знаю. И другие, что вокруг сидят, знают. Но почему-то теперь уже не так страшно. Со сцены звучат человеческие слова. Спокойные, обычные. Трагические и смешные. Я слушаю. Другие

слушают. Все бледны, на висках пот, но слушают. Вот уже кто-то засмеялся. Послышались аплодисменты.

А тем временем «лаптежники» развернулись — и на нас. Ишут? Заметили? На бомбежку пошли? Кто ж знает! Но там, на сцене, Аркашка и Геннадий. Разговор. Игра. И какая игра! Может быть, конечно, мне так показалось с перепугу, но и сейчас, спустя столько лет, уверен, что никогда я еще не видел такой актерской игры, как в те минуты. В Малом бывал, в Художественном в прошлом году все постановки видел, а такой игры не помню. Да, да, да... Этот жалкий, смешной Аркашка и надутый, тоже смешной Геннадий точно сковали всех нас своей игрой. Бомбардировщики на нас идут, а мы, несколько сотен людей, сидим неподвижно. Будто одеревенели. Будто загнипнотизировала нас не то эта самая игра, не то самоотверженность артистов. Мы смеялись, переживали, не меняя поз, аплодировали. Аплодировали под это проклятое, вибрирующее «у-у, у-у, у-у»...

Вот вы тут, товарищ инженер, говорили о влиянии среды на характер. Среда — это верно, конечно. Старая истина: с кем поведешься, от того и наберешься. Но ведь за эти несколько минут среда не изменилась. Необстрелянный зеленый полк остался таким же зеленым, необстрелянным. Но каждый из нас в эти мгновения точно бы обнаружил в себе какой-то непочатый запас храбрости, о котором он минуту назад и не догадывался. А почему? Вот вы и подумайте, почему.

Но продолжаю. Когда первый самолет, проревев сиренами, прошел над нами, артист, что изображал Аркашку, сделал вслед ему смешной жест, будто отмахивался от надоевшего комара. И так это вышло неожиданно и уморительно, что все покатались со смеху. Должно быть, шокированный этим, Аркашка повернулся в сторону двух других приближавшихся самолетов и захлопал в ладоши с сердитым видом хозяйки, отгоняющей ворон от куриного корма, и даже сказал бабьим голосом: «Кыш, оканьны!»

Неостроумно? Может быть. Но в то мгновение нам всем показалось, что остроумней ничего и придумать нельзя. Видим, как на нас с ревом летят самолеты, и хохочем. Сотни хохочущих глоток! И не истерично, нет, а эдаким ядреным смехом, каким должны бы смеяться богатыри. Слов уже со сцены не слышно, но почему-то

очень смешно было снова и снова видеть это мимическое «кыш, окаянные!», видеть хладнокровного Аркашку, радостно ощущать собственную свою храбрость и — что там, хлонцы, греха таить! — маленько любоваться самим собой: вот, мол, я какой, под крылом «лаптежников» смотрю и смеюсь...

Когда бомбы падают, всегда кажется, будто они идут прямо тебе на макушку. И нам это тогда казалось. И слышали мы их сверлящий свист, но никто не сдвинулся с места, не схватился бежать. Это даже просто никому и в голову не пришло. Ведь там, на грузовике, актеры продолжали свою сцену. И кто мог решиться в такой обстановке показаться трусливей других?

«Лаптежники», должно быть, что-то все-таки знали о нашем аэродроме. Но он был так хорошо замаскирован, что, не разглядев в лесу ничего подозрительного, не заметив никакого движения, они так и ушли, сбросив наобум несколько бомб. Никого не убило, не ранило. Теперь подумайте: что было бы, если бы при первом их пролете поднялась паника и все — врассыпную? Эти артисты спасли десятки, может быть, сотни людей...

Случайность? Нет, дорогой ты мой колхозный скептик, не случайность... Как только «лаптежники» ушли и опасность миновала, а друг мой Сашка Кравец соединил плащ-палатки, выполнявшие роль занавеса, старому актеру сразу же стало худо. Он упал на руки товарищей, и мы втроем еле спустили его с машины и потом уже на носилках тащили в санчасть. Его лихорадило. Каждый выстрел далекой канонады заставлял его вздрагивать. Вечером, когда гости покидали нас, мы еле уговорили его подняться в самолет. Он все смотрел на небо, все прислушивался и спрашивал, не могут ли опять налететь враги...

И все же, товарищи, храбрее этого человека я не видал. Да, да, да! Воевал много, два раза горел в воздухе. Бывал подбит. Раз спрыгнул на парашюте над самым вражеским передним краем и, направляя полет стропами, тянул к своим. Всяко бывало. А подобного случая не доводилось мне видеть...

Полковник замолчал. Молчали и его собеседники.

Сгустившийся туман, будто снег, подгоняемый вьюгой, волочился над водой, посеребрённый светом большой, ясной луны. Где-то очень далеко, должно быть в колхозе,

что был за горой, не очень умело наигрывали на баладайке незатейливую повторяющуюся мелодию. Она доносилась еле слышная. и, вероятно, от этого казалась задумчивой и красивой.

Рассказчик зябко передернул плечами, пошарил в шароварах, достал коробку папирос, угостил собеседников. Одну взял сам. Когда он зажег спичку, все заметили, что пальцы его слегка дрожат.

И каждый из трех собеседников подумал: «Почему бы это?»



---

## Георгий Радов

### ЗВЕЗДЫ

На пятнадцатый день уборки над районом с утра про шумел короткий освежающий дождь с ветром и положил те хлеба, что устояли после бедовых июньских дождей. Теперь нескошенная пшеница лежала вся, лежала бедственно, уронив наземь колосья, а плодovitейшая земля как бы обрадовалась, что поспевший хлеб не сосет больше влаги, и всеми силами погнала в рост сорные травы. Невесть откуда взявшиеся буркуны, сурепки, молочай буйно полезли в гору, грозя затопить обессиленные хлеба. Район запаздывал. Комбайны вязли в полегшем, схваченном сорной прозеленью хлебе. По сводкам только Игнат Бондарь — единственный в районе Герой — перевалил на четвертую сотню гектаров.

В полдень накоротке собрался пленум райкома. Решили один вопрос: Корнея Слепченко освободили от обязанностей первого секретаря и избрали секретарем Павла Столярова. Час спустя в том же зале сошелся районный Совет и по предложению Столярова выбрал Корнея Слепченко председателем исполкома.

Люди тут же окрестили эту быструю операцию «подсадкой» и разошлись обрадованные и озадаченные: краевое руководство решилось на «подсадку» в разгар страды, значит плохи были дела. И еще говорили, расходясь, что «подсадка» солидная. Павел Столяров — человек известный, шесть лет секретарствовал в Предгорном районе, и туда, в Предгорную, со всего края и из дальних мест ездили ходоки за новниками...

А вечером Павел Столяров и Корней Слепченко выехали в степь торжественно поздравить Игната Бондаря с триста первым гектаром.

Дорогой молчали, погруженные в раздумье. Шофер все поглядывал в зеркальце на обонх пассажиров, примечая, как они разноперы. Столяров — густо веснушчатый, со светлыми, точно приклеенными комочками бровей, был невысокого, даже низкого роста, и когда он днем вошел в зал, то сразу потерялся в толпе. А когда в гудящую толпу вошел Корней Слепченко — крупный, осанистый, с проседью в темных волосах, — все расступились, смолкли.

Машина ходко шла по грейдеру мимо подернутых пыльной наволочью полей, мимо комбайнов, токов, ферм, станов, и Столяров, с беспокойством вглядываясь в незнакомые картины равнинного района, думал, что он уже ответчик за все это: и за людей, и за поля, и за станы, и за фермы. Он ответчик, а район, может, еще не одну неделю будет ползти по-вчерашнему, как тяжелый воз, что всеми четырьмя колесами осел в глубокие колени и никак не может вырваться из них, хотя уже и подпряжены свежие кони...

В зеркальце Столяров перехватил угрюмоватый взгляд Слепченко.

Столяров знал Корнея, встречался с ним в крае и считал его человеком дельным, осмотрительным. Из первых бесед с людьми Столяров заключил, что Слепченко не кабинетный работник, что он знает землю, машины, дока в хозяйстве, да и не рутинер: быстро подхватывал новшества... Словом, всем как будто взял человек, но дело-то, дело хромало на все четыре ноги. «В чем же твоя слабинка? — думал Столяров, сочувственно поглядывая в темные усталые глаза Корнея: — В чем?»

А Слепченко, в упор уставившись в крепкую шею Столярова, с горечью размышлял о несправедливости людской... Ну чем, спрашивается, Павел Столяров сильнее его, Корнея Слепченко? Чем? Тем, что он преуспел в Предгорной? Да надо еще вдуматься, преуспел ли. «Небось, сделает на копейку, а расшумится на рубль», — бередила себя Корней предположениями, вспоминая столяровские затеи: выставки, ярмарки, смотры, слеты, экскурсии за умом-разумом за тридевять земель.

Он покосился на радиоприемник, который они везли Игнату в подарок, и с обидой решил, что и в этом, и в «шуме-громе», он не отстал от Столярова. Были у него, у Корнея, и слеты и смотры. И героев, хотя и поменьше, чем в Предгорной, но и героев было вполне достаточно для торжественных случаев...

«Да разве же в этом дело! — шевельнулся Корней. — Смотры, слеты!.. Вот если б комбайнов подкинули району вдосталь!.. Конечно, теперь Столярову, как новичку, пожалуй, подкинут машин из совхозов — и уборка пойдет веселее».

— Эх! — не выдержав, крикнул Корней и грузно повернулся на сиденье.

— Ты что? — обернулся Столяров.

— Задумался, — отвел Слепченко глаза. — Мне, Павел Иванович, когда в задумчивость прихожу, «Победа» не помощница. Быстро бегаёт. На линейке ездю. Думать вольней...

— Что вольней, то вольней, — согласился Столяров. — Пешком еще вольней. Да, просторы...

«Ох, не уходили бы и тебя эти просторы», — подумал Корней.

...Игната они застали готовым к торжеству. Суховатый, туго подпоясанный, в новом комбинезоне с Золотой Звездой над карманом, Игнат, свирепо вцепившись в штурвал комбайна, застыл в картинной позе, а напротив него, на сиденье трактора, балансировал верткий фотограф.

— Му-учают! — весело зашумел Игнат, заметив Столярова и Слепченко.

— Терпи, Бондарь! — крикнул Корней. — Терпи! То на пользу!

— Терза-ают! — пожаловался Игнат и, отмахнувшись от фотографа, сбежал вниз.

Тракторист повернул фару, осветил приезжих.

Столяров нагнулся, провел рукой по низкой, с парикмахерским тщанием скошенной стерне, похвалил:

— Молодец! Как низко режет! Тут же влежку лежала пшеница! А он ее снял!..

— Мастер! — кивнул Слепченко. — На него всех ориентируем.

Столяров заметил неподалеку рассеченную косою перепелку, дотянулся, достал теплое трепещущее тельце

пичуги, осторожно, чтобы не окровавиться, поднес к глазам.

— Не рассчитала,— вздохнул он и спросил подошедшего Игната. — Что? Не привыкли перепела к низкому срезу?

— Не в курсе рационализации!— усмехнулся Игнат. — Тут ночью гадюке отсекли голову... Все сплошь стрижем! А ну погодите... — Он присел, всмотрелся в помутневшую степь, сказал недовольно: — Великомученик подломался! Сигналы подает...

Столяров тоже присел, приложил ладонь к бровям.

— Что за великомученик?

— Великомученик? — Игнат взял из рук Столярова еще не остывшую перепелку, с силой отшвырнул ее, обтер ладони, пояснил: — Старичишка тут косит... Не поймешь, в чем душа. Семь раз инвалид. И машиненка вся на бечевочках... Нет, косит... Мучает и себя и семейство. А вы и на него план даете! — строго глянул он на Корнея.

— Ну, ну! — насупился Корней. — Что же, одним героям план давать? Подтягивай товарища. Опыта ему подкинь...

— Опыта?! — сплюнул Игнат. — Во что там класть опыт? Ему, старичишке тому, давно на печи лежать... Держат рухлядь! Опыт! Этот великомученик еще дядьку моего учил комбайны водить, а дядько шесть лет в могиле...

Он стоял избоченившись, и Столяров, невольно любясь ладной фигурой хлопца, прикинул, что этот Игнат — находка для фотографов. В лице его, хищноватом, тонком — нос крупный, горбатый, подбородок вздернут к сухим губам, — было столько невыбродившей силы и лихости, что по одной карточке можно судить, что Игнат за человек.

— Плетется! — заметил Игнат, прислушиваясь.

В самом деле, послышались шаги, и на свет шагнула фигура в поношенном ватнике. Размотала, откинула платок, и на мужчин глянуло немолодое женское лицо, худое, остроносое, в оспинках, с заметной щербатиной во рту.

— Подломались, Андреевна? — спросил Игнат.

— Шестеренка! — женщина выпростала из длинных рукавов руки, достала из кармана обломки шестерни.

Крупичатым изломом сверкнул чугуи.— Не найдется? — спросила она виновато.

— Видишь, Андреевна,— прищурился Игнат, разглядывая остатки шестерни,— сказать тебе, что не найдется, так твой Трофимыч тому не даст веры, бо знает, что Игнат Бондарь без запаса не живет. Найдется! А не дам! Бачишь? — он кивнул на маячившего неподалеку фотографа.— Бачишь? — указал он на Слепченко и Столярова.— Политику делают моим комбайном. На район!

— Да, политика,— вздохнула женщина.— То я понимаю... Политика...

Столяров строго глянул на Игната, но тут же решил, что скупость парня извинительна: если еще и Бондарь «подломается», погаснет единственная звезда района.

— Ладно,— выручил Слепченко.— Отдай ей, Игнат, шестеренку, я тебе подкину утречком. Отдай...

Они подождали, пока подошел комбайн. Игнат махнул трактористу, остановил его. Женщина обошла нарядную, залитую светом машину, сказала завистливо:

— Новенькая у вас, Игнат Васильевич!..

— И мы не старенькие!

— Хорошая!

— И у вас была бы такая же! — учительио сказал Игнат.— Пять раз вашу надо было списать. И начальство не против. Кто вам виноватый? Великомученики!

— Никто не виноватый! — потупилась женщина и спросила: — А на прошлогодней вашей Гришка косит?

— Гришка.

— А на позапрошлогодней Петро?

— Петро.

— Счастливые вы!..

— Это счастье, Андреевна, у каждого под мозолями лежит. Понятно? — важно сказал Игнат и добавил негромко: — Счастливый-то счастливый, а дочку за меня не отдала...

— То ее воля, — сдержанно сказала женщина. — Ее, Раисы...

— Вашего роду! — сказал Игнат значительно и подал завернутую в бумагу шестерню.— На! Пользуйтесь! Да скажи Трофимычу: пускай не убивается... Не докосит своей загонки — я помогу. Я хату ставлю, мне грошей много надо...

— Ну-ну! — оборвал его Корней. — Передай комбайнеру, тетка, чтобы не ждал буксиров. Пусть на план жмет. Ты кто у него? Штурвальная?

— Жинка я у него.

— Жинка? — Корней вскинул голову, любопытство на миг осветило глаза. — Жинка? Ишь ты!.. Ну вот что, жинка, — деловито заговорил Корней, — ты жми на старика! Жми, жми! План давайте!

Женщина встrepенулась, проворно спрятала шестеренку, строго-осуждающе глянула на мужчин. Столярову показалось, что она хочет что-то сказать, может, пожаловаться, может, выругаться. Но она, помолчав минуту, резко, наотмашь, махнула рукой и только выдавила злое, презрительное:

— Эх, вы!..

И скрылась в степи.

— Что это она? — встревожился Столяров, вслушиваясь в быстрые удаляющиеся шаги женщины.

— Завидки взяли на Игната, — спокойно объяснил Корней. — Тут так повелось: как выбьется человек в гору, так все и косятся. Завидуший район, ревнивый!.. Черт те что!.. Казачество! Ничего, злее в работе будут! — заключил он и обернулся к Игнату. — Ты только не задавайся, герой!

— Я свое знаю, — с достоинством ответил Игнат. — Мое дело — косить.

— Ну, то-то! — кивнул Корней и сказал Столярову: — Пора, Павел Иванович! Люди, наверно, съехались... Весь район будет слушать! — поднял он палец. — Радистам команда подана...

...Все было, как положено... Игнату поднесли подарок, и он сказал речь. И Слепченко сказал речь. Уверенный, что его слушает весь район, Корней, шурша перед микрофоном бумагами, выкрикивал:

— Тринадцатая бригада! Где темпы? Кожухов! Ты чуешь меня, Кожухов? Почему отстаешь?

И, отвлекшись от микрофона, трижды обрушивался на бригадира Степана Галабурду, сидевшего напротив.

— Ты мне смотри, друг! — грозил он ему пальцем. — К Бондарю на стажировку поставлю. Чуешь?

А Галабурда, небольшой круглолицый казак, по-петушиному всплескивал руками, как крыльями, и оборонялся:

— Да. Корней Тихонович! Да боже ж мой!.. Да за что?!

Отчитав людей, Корней отложил бумаги, откашлялся и спокойно, внятно, дельно стал объяснять, как надо косить полегшую пшеницу. И, странная вещь, Столярову показалось, что выкрикивал: «Почему отстаешь?» — один человек, неумный, грубый, которому больше нечего сказать людям, а о пшенице, о сегментах и косах заговорил другой человек, мудрый, дальновидный, заботливый... Столяров взглянул на комбайнеров и бригадиров. Их съехалось немного. Усталые, пыльные, в масле, с воспаленными от половы глазами, они сидели на земле все в одной позе, обняв руками колени. И по притухшим взглядам, по постным лицам угадал Столяров, что люди томятся, ждут, когда все это кончится, а на Игната, заметил он, косятся, как на чужого...

Слепченко закрыл собрание и позвал бригадиров в вагончик толковать о запасных частях. Столяров вышел из-под навеса, подошел к Галабурде, опустился рядом на бревно и спросил участливо:

— Тяжеленько?

— Ох, тяжеленько! — Галабурда мотнул головой.

Поговорили о том, как трудна эта страда, столкнулись папиросами над зажженной спичкой, и Столяров, глядя в желтоватые, узкие, с хитрецей глаза Галабурды, сказал:

— А Игната не любите...

— Почему? — громко возразил Галабурда, но осторожно оглянулся и, не заметив никого поблизости, признался: — Нелюбимый.

— Плох?

— Игнат! — ахнул Галабурда. — Игнат плох? Да лучший же косарь!.. Да такого хлопца!.. Такого хлопца!.. Э, что там говорить! Такого хлопца... Да боже ж мой! Нет в районе другого такого хлопца... Один! Зимувесну слоняется квелый, сонный, хоть молоко на нем вози... А подойдет хлеб, выкинут команду: «Хлопцы! По загонам!» — он как врывается... И рубит и рубит, день и ночь, день и ночь, как струна, натянутый... Все горит под рукой... Куда там за ним гнаться! Бешеный! Свою загонку кончит, еще и дружков-соседей обкосит по самые колеса... У-у-у! Куда там! А нелюбимый!

— Зазнался?

— Не-ет,— зажмурился Галабурда,— он и до Звезды был такой. Батько его кормил-поил и невестку, жинку Игнатову, кормил-поил с дитем, пока Игнат отбывал службу... А Игнат со службы возвернулся, взял раздел, привел понятых, все домашние чашки-ложки пересчитал, поделил на пять кучек, забрал свою долю и досвиданьничка родному батьке не сказал... Нет, нелюбимый! Людей в упор не видит. Старик его тут учил, а он того старика под смех пустил. Такой! Идет передом, бьет всех нас выработкой, и чтоб я к нему на стажировку пошел? Да боже ж мой!..

— А кто любимый?

— Галабурда!—донесся раздраженный голос Корнея.

— Ой, лышенько! — забеспокоился Галабурда.— Оставит Корней Тихонович без полотен...

— Кто любимый? — повторил Столяров.

Галабурда поднялся, указал в темноту:

— Во-он... Бачите зирочку? Чуть-чуть блеснит. Ото...— И дробным шагом потрусил к Корнею.

Столяров глянул туда, куда указал бригадир, приметил неяркий красноватый огонек, прикинул: далеченько... Но огонек моргал, звал... Столяров оглянулся на Корнея, согнувшегося над бумагами, одернул гимнастерку и, по привычке степного человека, не опасаясь ям на скошенном поле, зашагал по скользкой стерне...

Комбайн светился странно, изнутри, и только подойдя ближе, Столяров, догадался, что это человек орудует внутри машины и светит себе фонарем. Дробно постукивал молоток, потом напильник несколько раз прошелся по металлу, послышалась громкая речь. Женщина очень знакомым звонким голосом что-то рассказывала, а из машины ей отвечал глуховатый мужской голос. Столяров наткнулся на копну, опустил на солому, прислушался.

— Корней сказал, чтоб жали, план давали,— рассказывала женщина.— Ты чуешь, батько?

«Великомученики»,— понял Столяров, припомнив сердитую комбайнерку. Так вот кто любимый...

— Ты чуешь, батько? — допытывалась женщина.— План давайте...

— Чую! — ответили из комбайна.

Напильник с силой врезался в железо, примолк, раздалось тревожное:

— А ты говоришь: скинули Корнея. Опять он?

— Он в райисполкоме. Председатель.

— А-а-а...

Напильник зашаркал сердито, точно бы отчитывая кого-то.

— А нового секретаря бачила?

— Бачила.

— Какой?

— Та лобастенький...

— А-а-а...

Столярову стало жарко, он расстегнул воротник. Вот он и вошел в жизнь этих людей.

Напильник шуршал успокоенно, видно, комбайнер кончал зачищать заклепку. Неподалеку раздались шаги. Кто-то, пригибая стерню, легко скользил по ней подошвами.

— Где тут вы? — спросили молодо.

— Раиса! — отозвалась женщина. — Ты, Раиса?

— Я, мамо, — ответил молодой голос, и тотчас же из машины показался свет, очертил две женские фигуры — одну знакомую, в ватнике, а другую молодую, полную, статную.

— Что там дома, Раиса? — спросил мужчина.

— Ой, притомилась!.. От Ивана письмо.

— Ну? — нетерпеливо спросили из комбайна. — Как там?

— Та ничего. Служит.

— Когда явится?

— Про то не пишет.

— А про что?

— Пишет: батько, не отдавайте наш комбайн, еще я на нем покошу.

В машине промолчали. Застучал молоток, быстро, бойко вызванивая.

— А вы все латаете, батько? — спросила молодая. — Может, подсобить?

— Ой, лышенько! — вздохнула пожилая. — Двадцать первый год на одной машине... И каждый день латать... И все пестаемся... Игнат сказал: никто вам не виноватый, что мучаетесь, давно надо списать комбайн, а то вы как великомученики...

— Как? — усмехнулись в машине. — Великомученики? То истинно... То ж он нам в похвалу...

— Кабы в похвалу! — вздохнула молодая.

В машине молчали.

— Та хай ему грець, комбайну! — с неожиданным ожесточением сказала пожилая. — Пускай списывают, новый дают... На новом Звезду заслужим. Ты чуешь, батько?

— Та чую.

— И рука у тебя пораненная и нога... Хай списывают, все одно спасибо не говорят! Одно знают: план, план... Должен быть конец?

— Ага! — ответили коротко и строго спросили: — Это кто ж тут латал? Ты, Раиса?

— Где? — встрепенулась молодая.

— Под шнеком. По две заклепки в дыру... Эх!

— Я не латала, батько.

— А кто? Иван?

— Я латала, — негромко призналась пожилая. — По две в дыру? То с войны латка...

— С какой войны?! — взволнованно спросили из комбайна. — Я военные твои все поотдирал.

— Видно, не все. То первая. Заклепки из гвоздя?

— Из гвоздя.

— Мои! — вздохнула мать. — То мы с Ванюшкой латали. Я все пальцы пообивала молотком. А Раиса Лидку нянчила. Ты служил, не знаешь...

В машине что-то заскрежетало.

— Не отдирай, батько! — крикнула пожилая. — Хай память останется.

— А говоришь, списать... — глуховато усмехнулись в комбайне. — Как его спишешь, когда он кругом меченый... Вся жизнь на нем...

Столярову, как и всегда, когда подступало волнение, смертно захотелось курить. Он потянулся, нащупал папиросы, но совладал с собой. У комбайна молчали, видно, охваченные воспоминаниями. Лениво, как бы в задумчивости, постукивал молоток. Наконец пожилая сказала дочери:

— А Игнат за тебя укорял, Раиса... Почему не отдали... Помнит.

— Не надо про то, — попросила дочь.

— А любила? — в голосе матери дрогнула тревожная нотка.

— Ой, не знаю, мамочка...

Снова молчали. Мать заметила:

— Опять ему Корней подарок привез. Приемник.

— То надо, Катя! — объяснили из машины.

— И сам Игнат хвалился: моим комбайном политику делают.

— И то надо!

— А мы? Не политика? Хотя б спасибо нам...

— От кого спасибо? От Корнея Тихоновича? — усмехнулась дочь. — Дождетесь... «План есть план!» — она так похоже передразнила Корнея, что Столяров не сдержал улыбки.

— Ну, расстрекотались! — начальственно прикрикнули из машины. — Корней — хлопотун. Ишь, какой район на плечах. Много вы понимаете!

— А чего ж он такой смутный, батько? На людей смотрит, как, скажите, они ему все по тыще рублей должны... План, план, план... Другого и слова нет... Ему что Игнат, что Кондрат — нет разницы...

— Такой уродился, — вздохнули в машине. — Что ему люди? — Комбайнер стукнул два раза молотком, добавил: — А так он ничего, Корней... Безвредный...

Столярову стало так совестно, точно это не Корнея, а его самого оценили люди. А у комбайна журчала беседа. Дочь рассказывала:

— Федько Шкаруба что надумал, батько... Хвалился: мы вашу машину на площадь вытянем, а начальство пускай как хочет...

— Это к чему?

— А чтоб все глянули... Двадцать лет, говорит, сохраняете комбайн... Мы, хвалится, посчитали: шестьсот тысяч пудов ваш батько намолотил... Чуешь, батько? Семьсот...

Из машины не ответили. Застучал молоток. Потом раздалось негромкое:

— То богато они насчитали... Я думаю: шестьсот от силы...

— По бумагам! — живо возразила дочь.

— Ну разве что по бумагам...

— Сказали: будем твоему батьке Звезду просить, а начальство пускай как хочет...

Отец молчал.

— Звезду! — повторила дочь. — Ты чуешь?

— Не положено, — спокойно ответили из комбайна. — Звезда за сезонную выработку дается... Мало ли что я за двадцать лет намолотил...

— А Федько говорит; мы знаем, что за выработку... А мы в Москву напишем, чтоб Трофимычу вашему за все дали... За всю службу...

— А он, Федько, к тебе в женихи не набивается? — усмехнулись в комбайне.

— Батько! — гневно сказала дочь.

— Не положено! — строго ответили из машины.

— Как не положено?! — выкрикнула мать. — Двадцать лет — не положено? Все комбайнеры от тебя науку приняли — не положено? Семейство все...

— Ключ дайте! — попросили из комбайна. — На четырнадцать...

— Тьфу, бесчувственный! — притопнула ногой мать. — Ему про что, а он ключ...

— Ты, батько, слухай! — подхватила молодая.

— Ладно, звезды! — добродушно усмехнулись в машине. — Ты, Раиса, гукни Панька. Я кончаю, пускай трактор заводит.

Теперь надо было выйти к людям. Столяров вытянул затекшую ногу и вздрогнул, ослепленный. Вывернувшись из-за соседней копны, к комбайну, колыхаясь на бороздах, шла «Победа» и поливала все кругом холодным зеленоватым светом.

— Досватались! — с тревогой сказал комбайнер, вылезая из-под машины. — Начальство...

За комбайном звучно распахнулась дверца, и раздался сердитый голос Корнея Слепченко:

— И тут стоят... Ах, черт!

Он грузно шагал к людям, рассыпая вопросы, жесткие, как иглы:

— Давно стоите?.. Что?.. Горючее?.. Поломка?.. Где водитель?..

Комбайнер, стряхивая с себя полосу, шагнул к Корнею, остановился, нагнув голову, как путник, застигнутый в дороге внезапной грозой.

— Степанченко? — строго спросил Корней. — Ты что стоишь, дорогой? Без ножа режешь... План-то...

— Я план тяну, Корней Тихонович,— с достоинством ответил комбайнер.

— Тянешь? Как тянешь? А ну, подверни свет! — обернулся он к шоферу и полез в карман.

Пока Слепченко доставал бумаги и водружал на нос очки, Столяров разглядел «великомученика». Был он еще не дряхл, этот сутулый невысокий человек. Заматеревшая сила угадывалась в округлом, выступавшем из майки плече. Он стоял вполоборота, и Столяров не видел глаз, видел лишь нос, крупный, в таких же оспинках, как у жены, да впалую щеку, да еще короткие, торчком седые волосы...

— Так, Степанченко,— говорил Корней, вчитываясь в бумагу и не глядя на комбайнера.— А ну, как ты тянешь? Ну-ну... Вы, брат, все у меня на персональном учете, все, как один... Ага, вот оно... Двести шестьдесят... Ишь ты! Ну, неплохо, Степанченко. Только учти, у Бондаря триста...

— Кем вы нас дразните!—вспыхнула пожилая.— Бондарь, Бондарь... А не мы вашего Бондаря образовали?

— Катя! — прикрикнул комбайнер.

— Ох, ревнушая у тебя жена! — засмеялся Корней.— Может, и вы образовали, милая, а теперь у него же и поучитесь... А как ты думала?

Столярову снова показалось, что это говорит не тот Корней, какого он привык встречать на совещаниях,— толковый и вдумчивый, а другой Корней — неумный, крикливый, грубый, который потому и «нукает» на людей, что не имеет для них других слов...

«Эх, послушать бы тебе, что люди говорят насчет твоих «ну-ну»!» — зло подумал Столяров и, с силой одернув гимнастерку, вышел на свет.

— Ты? — обрадовался Корней.— А мы всю степь обшарили...

Два часа спустя, подобрав по дороге Галабурду, они возвращались в станицу. Столяров, растроганный разговором со стариком, молчал. Корней сконфуженно посапывал, цедил виновато:

— Признаю, есть наш недосмотр, Павел Иванович... Надо бы этому Степанченко хоть премию дать за сохранение машины...

— Хоть премию! — Столяров поморщился. — Нет, че-

ствовать будем! Всем районом и широчайше... И Звезду ему попросим... Двадцать лет на одной машине! А сколько он комбайнеров выучил? Восемьдесят? А намолотил? Семьсот тысяч? А в семье у него сколько комбайнеров? Четверо? Вот за все за это... И за терпение!

«Ну, начался шум-гром!» — вздохнул Корней.

— А комбайн — это верно придумано — вытянем на площадь, поставим на помост...

— С латками?

— С латками.

— Ой, добре! — причмокнул Галабурда. — Значит, отметим Трофимыча? Ну, за него и я...

— Тебе только дай! — зыкнул на него Корней. — Тебе хоть за Трофимыча, хоть за Максимыча... Абы гульнуть...

— Не-ет, извиняйте! — обиделся Галабурда. — Когда Игната поздравляли, я ни-ни! Ни росиночки! А за Трофимыча? Да это же... — Галабурда защелкал пальцами, как бы вылушивая слово, — это же человек! — выкрикнул он. — Человек! Игнат — первый комбайнер, а Трофимыч — первый человек из комбайнеров...

— Поне-ес... — отмахнулся Корней.

— Нет, первый! Игнат, тот двадцать дней в году геройствует, а Трофимыч — день в день. Скажи ему, самому старому комбайнеру: «Илья Трофимыч! Будь ласка, сложи печку в конюшне», — и сложит, та еще и добре сложит. А гляньте на семейства. У Игната — он комбайнует, а жинка базарует. А у Трофимыча? Та что там говорить!..

— И в безвестности! — раздраженно перебил Столяров. — Такой человек — и в безвестности, да еще под насмешками... А что он от тебя слышал? «Ну-ну», «жми-жми»?..

— А машина? — Галабурда, почуяв поддержку, оживился, сбросил кубанку. — Что мы, такие бедные, что не могли Трофимычу новую машину дать? Та могли! Мало ли их приходят? Так он же не просит... Ладит и ладит свою двадцатилетнюю. «Такой я, — говорит, — к одному приверженный. Жинка у меня на всю жизнь одна, ну, и машина одна». А Игнат? Ему нового комбайна не дадите — не поедет косить. Каждый сезон — новесенький...

— А ты как думал? — рассердился Слепченко. — Кому давать новую машину? Тому, кто от нее все возьмет

— Игнат-то возьмет, — кивнул Галабурда. — Но по-

имейте в виду, Корней Тихонович, когда Игната со Звездой поздравляли, веселья не было.

— А мы и не стремились! — отрезал Корней и метнул быстрый взгляд на Столярова. — Мы без оркестров! Что мне Игнат — сват? Да такой же сват, как и ты... Он мне как фигура нужен, а не как личность. Понял? Мне его опыт взять да другим передать, а так мне с ним не целоваться...

«Что Игнат, что Кондрат», — вспомнил Столяров и подивился: как же метко люди оценили Корнея!

— То воля ваша, — смиренно кивнул Галабурда. — Конечно, как фигура... Как говорится: кому что... Это мне директор в прошлую весну передает по радио: «Послал к тебе, Степан, две фигуры. Враз хлеб выхватят». Выхватили! Расколотили мне машину в пух! А по выработке, заметьте, без малого в фигуры не выскочили...

— Ну-ну! Ты с кем Игната равняешь! Что он — машины бьет?

— Бить не бьет — этого не скажу, не стану грешить на хлопца... Но то-оже, — Столяров уловил в зеркале, как сощурились, растянулись в лукавой усмешке глаза Галабурды, — то-оже от него соблазн идет, от Игната... Он же, я говорю, геройствует месяц в году, когда всякая минута в наградной листочек ложится, а после уборки он не дюже старается. Не-ет, Корней Тихонович, как хотите, может, вам и фигуры требуются, а нам личность давайте... Таковую, чтоб я мог и молодым хлопцам на нее показать... Игнат — он чем берет? Лихостью, моторностью, запалом. То не всякому дается. А Трофимыч чем берет? Он же — как тут поясней? — он приверженностью берет, преданностью... Это любому доступная вещь. Нет, если б Трофимычу Звезду... А то станешь на него показывать хлопцам, а они хоть и не суперечат, а тоже себе прикидывают: а до чего же у нас Трофимыч дослужился? До «великомученика»? Ох, не парадно! Как разумеете, Корней Тихонович?

«Вот привязался же! — ругнулся про себя Корней и с опаской глянул на Столярова. — Как репей!» Строго посмотрел на Галабурду:

— Ты куда гнешь, друг? Нет, любезные, любите — не любите Игната, я вас не приневоливаю, а извольте к нему тянуться! Попробуй-ка мне его опыт не применить...

— Та применю, применю, — струхнул Галабурда. — Но... — замаялся он, — знаете, Корней Тихонович, как оно

брать науку из нелюбимых рук? Это у меня первая жинка такая была нелюбая: и нажарит, и напечет, еще и чарочку нальет... Но и чарка поперек горла, бо нелюбая... Так и тут. А вот если б вы нас сегодня к Трофимычу свезли, вышло б способней. Там и опыт и душа...

— Душа! — отмахнулся Корней. — Ревнуете вы все к Игнату, так и скажи. А то душа... Ишь, тонкости...

Столярова разозлил Корней, и он с удовольствием вслушивался, как ловко одолевает его доводами въедливый бригадир. «Так тебе, так тебе!» — про себя приговаривал Столяров, но задумался и озабоченно глянул в потемневшее, раздраженное лицо Корнея: «Что с тобой? Ведь не чиновник же ты, честно, не для карьеры служишь людям... Людям служишь, а что ж ты к ним так? Небось, если сядешь за график, так все наизнанку вывернешь, пока не докопаешься до сути... А что ж с людьми эдакто — не мудро? «Завидуете» — и весь приговор?»

В первый день негоже было затевать спор. Чтобы рассеяться, Столяров опустил стекло, подставил ладонь ветру. Машина шла по-над Кубанью. В пойменных болотцах, видный издалика под звездным небом, лежал прошитый сотнями острых камышинок туман. За рекой показались огни адыгейского совхоза, и впереди зажглась красноватая цепочка — районная станица.

— Ночь глазастая! — сказал Столяров, выглянув из машины.

— Под такими звездами косить добре, — отозвался Галабурда. — Гляньте, их сколько, Корней Тихонович!

— На нефтебазу заедем? — сухогато предложил Корней. — Как там с автолом?

— Заедем, — согласился Столяров, прикинув, что и это все с утра падет на плечи: и автол, и сводки, и севообороты, и школы — все, из чего складывается жизнь. Но только б это не заслонило людей! Только б не заслонило!

А Корней Тихонович старался думать о деле — об автоле и еще о том, что надо рыть шахтные колодцы, а не артезианские, — это соображение пришло ему в голову дорогой. Но, тесня эти привычные деловые мысли, гудел в ушах неотвязный вопрос: чем же, чем Павел Столяров сильнее его, Корнея Слепченко? Чем?!



---

## Георгий Радоз

### Ш Е Ф

#### 1

Никанора Ивановича Серикова, шеф-монтера завода паровых двигателей, я знал еще тогда, когда он работал слесарем-инструментальщиком.

Человек это был вот какой: роста среднего, фигурой костист — гимнастерка не облегала тело, а гладнем спадала с прямых сильных плеч. В лице у Никанора Ивановича не замечалось ничего примечательного: широкое, желтоватое, несколько угрюмого вида и все в мелких оспинках. Один глаз Никанора не то чтобы покашивал, а как-то не к месту шурился, точно бы говоря людям: «Э, да мы не так уж строги, мы при случае и улыбчивы». Что же до волос, то их, пожалуй, можно было назвать и ржаными, если иметь в виду не ту парадную рожь, что просится на картину, а ту рожь, что уже и вдосталь належалась в скирдах и пообмокла, потемнела от осенних дождей, — волосы Серикова были бурого, блеклого цвета.

Всегда, заговаривая о Серикове, я припоминаю такую сценку: сидит слесарь за верстаком, как генерал в канун сражения, — широко расставив локти, ладонями сжав виски. Верстак завален нарядными блестящими штука-ми — готовой продукцией Никаноровых рук, обычно опытными, экспериментальными вещами. Сзади осторожно подходит диспетчер, касается Никанорова плеча, говорит:

— Ты побойся бога, Никанор Иванович! Что ты держишь готовое на верстаке? Сдавай свои вещицы! Это же триста процентов нормы.

— Готовое-то готовое, — оборачивается Сериков, — да вот соображаю, не разобрать ли их...

— Что ты, что ты! — пугается диспетчер. — К чему это разбирать?

— Сложноваты! — замечает Сериков. — Перемудрили конструкторы. Мыслишка есть — упростить.

— Господи! — вздыхает диспетчер. — Горе с тобой. Что тебе конструкторы! Ты же за них не в ответе. Сдавай. А если хочешь, сделаем так: ты сдай продукцию, мы ее оформим, пропустим, получишь денежки, а потом внеси предложение, упрощай на доброе здоровье.

Но Сериков, как он только услышит эти слова — «оформим» и «пропустим», — тускнеет, отворачивается, а диспетчер уходит восвояси, зная, что теперь к строптивому Никанору хоть министра веди — не поможет.

Сказать по правде, не всем на заводе нравилась сверхпридирчивость слесаря к изделиям собственных рук. Иные считали Серикова зазнайкой, другие говорили, что это в нем желчь разлилась — свет человеку не мил, вот и куражится. Сам же Никанор Иванович, не прислушиваясь ни к одним, ни к другим, знай гнул свою линию.

По рождению Сериков был ленинградец. В наш городок выписали его, как говорится, на развод, для обучения молодежи. И не ошиблись. И слесарем он оказался хорошим и учил отменно, но и тут неприятность: трудно было молодым людям попасть в сериковскую номенклатуру, а вылетали они из этой номенклатуры пачками. Не принимал Сериков бесталанных. Племяннику главного инженера отказал, да не ласково отказал, а обидно: взял за плечи, отвернул от верстака, сказал:

— Катая отсюда, парень! Не будет из тебя слесаря.

— Хорошего не будет? — спросил племянник. — Так я жалованьем и не интересуюсь: батька кормит. А вот работа здесь чистая, это нравится.

— Никакого не будет из тебя слесаря! — безжалостно определил Сериков и подтолкнул: — Иди, не путайся!

И снова бранилось начальство:

— Ты что делаешь, Никанор Иванович? Не одни дамки нужны производству, полезны и пешки...

— Не признаю пешек! — отвечал Сериков. — У меня

вон дядька двадцать шесть лет машинистом ездил на железной дороге, и все так ездил, средненько, не взял машину в руки, никаких новшеств не подарил людям. А стал помирать, признался: ошибся я. Мне бы не в машинисты идти, а на сидячую работу, в портные: там бы я развернулся... Вот вам, пожалуйста! Когда опомнился человек, что всю свою жизнь чужую стежку топтал!.. А вы ругаетесь! Может, в этих хлопцах другие таланты кроются, а я из них буду делать слесарских пешек!

И не заставили. Зато получил цех выводок слесарей таланта тонкого, как вязь кружевная.

## 2

Когда я присматривался к Никанору Ивановичу, всегда хотелось думать, что все это — сверхпридирчивость, строгость, грубоватость, въедливость — черты, так сказать, внешние, а под ними кроется, как это часто бывает и как об этом еще чаще пишут, душа добрая, снисходительная к людским слабостям. Нет, не обнаруживалось в Серикове доброй души. В самом деле, слесарь был строг безмерно и, надо заметить, не всегда справедливо строг. Когда, чуть нагнув голову, шел он к трибуне, по залу непременно ветрился шепоток, и люди ежились, поводили плечами, а кое-кто шептал соседу: «Не нас ли, друг, этот Никанор сегодня зацепит?» Цеплял Сериков грубо, не боялся обнажить большие места, растравлять раны и порой, критикуя человека, напоминал ему и о таких щекотливых предметах, о каких иные ораторы из такта умалчивали.

И, понятно, не все жаловали Никанора. Когда выбирали Серикова в партком или завком, всегда в десятке, а то и в двух десятках бюллетеней фамилия его была вычеркнута, причем, кажется, вычеркивали его не только те, которых он обидел, но и те, кого он еще не успел обидеть, вычеркивали, так сказать, в порядке профилактики... И даже друзья, которые в общем одобряли честного и прямого Серикова, и те твердили ему: «Помягче, дорогой, помягче... Это люди! Нельзя от каждого требовать полного идеала».

Но уже трудно было перевоспитать Никанора: слесарю шел сорок восьмой год.

Из-за характера попал он, между прочим, и в шеф-монтеры. Надоел заводскому начальству! Еще директор, умный человек, тот терпел Серикова, хотя про себя, видно, не раз отпускал по его адресу крепчайшие словечки. Что же до главного инженера, начальника цеха снабженцев, председателя завкома, так те просто стонали — так в них впился Никанор. Что ни собрание, что ни номер газеты, то он их гвоздит, и гвоздит, роздыху не дает...

Вот так и случилось, что, когда открылась вакансия разъездного работника, шеф-монтера, начальник цеха выдвинул Серикова, и так всем понравилось предложение это, что в пять минут был сочинен приказ и выписана первая командировка в Вологду, подальше от заводских дел и заводских начальников. Директор задумался над приказом, усмехнулся про себя, — видно, понял маневр, — подмигнул главному инженеру, но ничего не сказал, подписал.

Словом, сплывили человека с глаз долой, но, впрочем, просчитались. Еще на первом, без Серикова, собрании начальство отдыхало, но на втором взял слово Данилушкин, друг Никанора (при Серикове он только головой кивал в такт Никаноровым речам). Встал этот Данилушкин и точнейшими Никаноровыми словами начал раскладывать начальство. А за ним поднялся Росляков, потом Трифонов — все пошло по старой дорожке. А Никанор этот, правда, месяцами странствовал по деревням, устанавливал там двигатели, а приезжал на завод лишь затем, чтобы отчитаться и получить путевку, и, если случайно попадал на собрание, тоже подливал масла в огонь... Но потом он несколько поотстал от заводских дел, на собраниях сидел молча, посматривал в окно, занятый какими-то посторонними думами. Словом, все решило, что человек укрошен.

Укрошен Сериков! Версты или незнакомая дальняя природа, но что-то развеяло неистового Никанора...

### 3

Развеяло! Года не прошло, как поступило к директору письмо из Орловской области, из-под Кром. Оно и сейчас хранится в завкоме, там я его и списал.

«Дорогой товарищ директор! Пишет вам бывший

председатель колхоза «Рассвет», Лукояновского сельсовета, тов. Постников Сергей Акимович, ныне снятый с должности и пострадавший по причине вашего работника, некто Серикова Н. И.

В первых строках я вам опишу про себя, чтобы вы знали, что пострадал я не за воровство и не за головокружение, а безвинно, чему виноват гр. Сериков.

Я, Постников С. А., рождения 1903 года, в 1936 году был послан в колхоз «Рассвет», каковой я укрепил до Отечественной войны, а потом пошел на Отечественную войну, то есть защищать свою Родину, служил старшиной роты и был четыре раза награжден, а также получил ранение, после чего вернулся обратно в колхоз «Рассвет» и вторично его укрепил, и служил на своей должности бессменно до настоящего времени; и я бы, товарищ директор, служил в этой должности и в будущем времени, если бы не гр. Сериков.

Товарищ директор! Гр. Серикова мы вызвали с вашего завода как монтера, дабы поставить присланный нам двигатель 125 сил, а отнюдь не для подрыва и дискредитирования. И я гр. Серикову предоставил все условия, как-то: поставил его на квартиру к гр. Андросовой В. П., выписал продукты, какие были, а также зарезал для питания телку, каковая была выбракована согласно акта. Но, товарищ директор, я не знаю, какой человек гр. Сериков, может быть, он и хороший работник, но за что он на меня взъелся? Первое разногласие у нас получилось из-за этой телки. Гр. Сериков стал на меня кричать: «Ты что переводишь молодняк скота, ты вредитель!» Я ему говорю: «Это хорошо, гр. Сериков, что вы читаете в газетах про развитие животноводства, но то общая директива — не резать телок, а у нас местные условия. И я отвечаю за свои действия». Но гр. Сериков не послушал, а написал прокурору, и приезжал к нам следователь. Но, товарищ директор! Это же пустые хлопоты и беспокойство людей. Я же двенадцать лет на руководящей работе. Что, я не знаю, как оформить телку? Она была оформлена правильно, с чем следователь и уехал.

А второе разногласие у нас получилось потому, что гр. Сериков Н. И. превысил свои функции, а именно: стал ходить по бригадам и другим отраслям и говорить: это плохо, это плохо, а делайте так и так... И стал про-

тиворечить планам, спущенным вышестоящими организациями, то есть стал подбивать людей, чтобы они требовали от правления всевозможных условий, как-то: автопоение на МТФ, а также запарка кормов и других предметов. Когда же я сказал гр. Серикову, что нельзя подымать панику, а эти предметы будут представлены в надлежащее время, согласно плана, то Сериков заявил: «Что это у вас за зимние каникулы? Весь колхоз не работает, пропадает время». Я объяснил гр. Серикову, что он не в курсе сельского хозяйства, которое нельзя равнять с заводом, так как у нас производство сезонное. Но гр. Сериков ничего не хотел понимать, а самовольно с гр. Андреевым В. Ф. провели собрание в третьей бригаде и заставили людей записать в протокол насчет зимней работы, а именно строительства, которое по плану предусмотрено на летнее время. Но, товарищ директор! Я же не враг колхоза, и хотя Сериков превысил свои функции, я не стал противоречить, сказав: «Спасибо вам, товарищ Сериков, за вашу работу, то есть за проведение собрания». Но в это время к нам прибыл товарищ Пугин из облисполкома, который не знал гр. Серикова и произвел самостоятельный осмотр хозяйства. И товарищ Пугин ничего не говорил насчет зимней работы, а только указал, что у нас не чищены коровы. Я признал это упущение, и мы по директиве товарища Пугина почистили коров, с чем товарищ Пугин хотел уезжать. Но тут явился гр. Сериков и нанес оскорбление товарищу Пугину, сказав ему: «Вы оппортунист». И получился спор, вследствие чего товарищ Пугин уехал, а гр. Сериков написал на него жалобу в Москву, хотя товарищ Пугин все время ездит по колхозам и никаких замечаний от людей ему не было, потому что он входит в наше положение и понимает трудности текущего момента. А гр. Сериков ничего не признает, как будто он самый умный в нашей области.

Товарищ директор! Я бы не стал вам жаловаться на гр. Серикова, но у нас получилось основное разногласие на политической почве. Гр. Сериков в вечерние часы стал ходить по бригадам и по квартирам граждан и рассказывать про хорошие колхозы, в каковых он якобы по своей должности был. Я не противоречил этим беседам гр. Серикова, потому что и мы читаем людям газеты про хорошие колхозы и объясняем все политически, а именно,

что нужно брать пример. И к нам приезжают штатные лекторы, которые проводят работу, не касаясь личностей, то есть чинно-благородно объясняют людям, как удобрять землю, а также как вести животноводство и прочее. Но гражданин Сериков под видом пропаганды проводил агитацию против правления и меня лично, говоря: «Вот как живут в хороших колхозах, а вы живете плохо, и все потому, что у вас неспособное правление и устарел председатель».

Но, гр. Сериков! Я не против критики, но это же несправедливость в ваших словах! Что значит «живете плохо»? Разве это плохо, когда люди получили на трудодень по 1870 граммов зерновых культур и 2320 граммов картофеля и 86 копеек деньгами? Это достижение по сравнению с минувшими годами. И зачем расстраивать людей? Я, как руководитель, обязан объяснять людям, что мы живем сходственно, то есть обеспечены продуктами питания. Но гр. Сериков протестует и говорит: «Ты оппортунист и утешитель. Надо злить людей и дразнить их хорошей жизнью». Но разве это политические слова: «злить» и «дразнить»? Я против этого. Я двенадцать лет на руководящей работе и все время держу людей в хорошем настроении, то есть в спокойствии. А гр. Сериков своей агитацией поднял волнение, и к моменту 8 декабря люди стали кричать на собрании: «Назначайте делегацию смотреть хорошую жизнь и хорошего председателя». Я опять-таки не пошел на личные счеты, хотя вам, как руководителю, понятно, что мне обидно слушать такие слова. Я людям служил двенадцать лет и не жалел здоровья, а теперь гр. Сериков посылает их смотреть другого председателя в Кировскую область. К чему это? Может, он и хороший председатель по своей местности, но не в наших условиях. А мне и районные организации хотя и давали выговоры, но не говорили, что я негодный. Но я, как честный человек, со всем этим не посчитался, а рассудил политически, то есть выдал людям деньги на дорогу, а именно делегатам Андросову В. Ф., Куреновой Е. П., Ноздрачову А. М. А гр. Серикова я тоже не оскорблял, а сказал ему: «Спасибо вам, товарищ Сериков, что вы научили людей поехать в Кировскую область».

И что же из этого получилось? Приехали эти люди, то есть делегаты, и стали вести агитацию, говоря: «Разве это председатель, наш Серега? Вот мы видели председа-

теля, то — орел! А когда я спросил, чем же он орел, то мне люди объясняют, что он выдает колхозникам по 12 рублей на трудодень. Я им говорю: может, там такие условия, что и я бы там был орлом и давал по 12 рублей, а у нас это пока недостижимо. Но люди кричат, что там, в Кировской области, условия якобы хуже, а все идет от председателя. И гр. Андросов В. Ф. сказал на открытом партсобрании: «Давайте мы Постникову вынесем благодарность за его службу и скинем его с должности. А попросим у области такого председателя, какого мы видели, чтобы он нас повел к дальнейшим успехам жизни». Но, товарищ директор, разве это где-нибудь допустимо, чтобы человеку давать благодарность и тут же его снимать? А люди этого не поняли и скинули меня, и теперь через гр. Серикова наш колхоз «Рассвет» остался без руководства, потому что люди расстроены и не хотят принимать местных председателей. Секретарь райкоматов Соколов В. Я. привозил грамотного человека из подсобного хозяйства, некто Андрюхина А. М., но люди его не приняли, говоря: «Нам не диплом нужен, а председатель, а Андрюхина мы знаем, он не соответствует». И позавчера было собрание — привозили к нам Агейченкова К. М., но люди сказали: «Что Агейченков, что Постников — один сорт, давайте другого». И собрание перенесено на неизвестный срок, а гр. Андросов В. Ф., как мой заместитель, ходит по хозяйству, говоря: «Этот Серега задержал нас на шесть лет, и нам тут нужно переделать вот это, вот это и это». А я, товарищ директор, за должностью не гонюсь, должность я получу другую, председателя сельсовета. Но только я обижаюсь, что пострадал безвинно, через гр. Серикова Н. И., и если вы его будете пускать по колхозам, то это местному руководству подрыв. А лучше вы его, товарищ директор, держите при себе...»

4

Директор — полный, бритый, праздничный — читал письмо вслух, усмехался, а обвиняемый Никанор Сериков расхаживал по кабинету.

Был полдень. На заводском дворе на катке играли хоккеисты. Сериков то и дело подходил к окну. Он был ярый болельщик, иногда сам играл, правда, чаще не играл,

а скандалил с судьями и игроками, отстаивая давно отмененные правила. Выглядел он сейчас спокойно, видно, что письмо или было ему известно раньше или не очень его трогало.

— Значит, подрываешь? — спросил директор. — Подрываешь местное руководство, Никанор Иванович! С нами не ужился и людям покоя не даешь. Куда же теперь тебя?

Сериков помолчал, сбросил на ладонь пепел с папиросы, растер его в пальцах, спросил:

— А из Курской области не было письма?

— И оттуда ждешь благодарности? — поразился директор.

— Будет, — кивнул Сериков.

Директор задумался. Чувствовалось, что ему хочется оступенить неистового шеф-монтера, вторгшегося в чужой огород. Но осторожность не позволяла сказать Серикову прямые слова: дескать, брось, Никанор Иванович, не лезь со своим уставом в чужой монастырь, не с твоим характером вести агитацию.

— В сложную историю впутываешься ты, Никанор Иванович, — сказал наконец директор. — Зачем это надо портить отношения с незнакомыми? Поставь двигатель, ну, я допускаю еще, помоги колхозникам в смысле механизации, а уж насчет их внутренних дел пусть сами разбираются, небось учены.

— Учены! — с горечью перебил Сериков. — В том-то и дело, что учены. Еще к такому, какой не учен, приедешь — он глаза раскроет, начнет расспрашивать о хороших колхозах. А вот к такому Сереге Постникову явишься, станешь ему толковать про хорошие и вполне применимые образцы, а он сам в курсе дела. В курсе действительно... Начитан! И библиотечку держит про хорошие колхозы... Библиотечку держит, а дело ведет по-своему.

— Все-таки жалобно он про себя пишет. Обидел ты его. А может, привирает? Жулик? Потому и сняли так дружно?

— Нет, не жулик, — возразил Сериков. — Честный, славный мужик, хоть и жалуется на меня. Славный. Я бы ему, черту, за его двенадцать трудных лет персональную пенсию назначил, как заслуженному учителю. Жаль, пока не назначают председателям денег за выслугу лет...

Им бы, как литейщикам, еще и за высокую температуру полагалось: нет горячей должности, чем председатель.

Директор пожал плечами:

— Что-то я тебя не пойму, Никанор Иванович! «Славный»... «Честный»... И ты сам же свергнул его.

— Сам! — подтвердил Сериков. — Это он верно пишет: я ему подорвал авторитет, а медаль и пенсию я бы ему и сегодня назначил.

— А за что?

— Работник! Здоровье положил, правильно пишет. Но... утешитель.

— Утешитель? Это новое что-то...

— И я только недавно их встретил, — согласился Сериков. — Удивительная публика.

Он закурил, зачем-то осмотрел собственную ладонь. Ладонь была широкая, обкуренная, но чистая, без ссадин и мозолей. Сериков нахмурился, сжал кулак: не понравилась ладонь.

— Серега! — мягко сказал он, прищуривая глаз. — Его там до смерти, наверное, будут звать «Серега», ни разу не скажут Сергей Акимович... Мне женщины рассказывали, как он их еще в тридцать третьем году утешал. Слабовато было в их колхозе на первых порах. Но он и сам не горевал и людям наказывал: «Не горюйте, девоньки! Разве плохо у нас? Это еще сходственно... Вот я батрачил...» Припомнит, как он батрачил, лапти носил, разжалобит, потом шутку пустит: «Эх, мол, картошка — первая еда... Жареная, вареная, печеная... Пока есть картошка на свете, — нет перевода крестьянской породе». Вот так утешал. И после войны в первый год. Пригорюнятся женщины. Трудно. Разбито все. А тут еще засуха. Недостатки. А Серега не унывает: «Переживем! Это еще сходственно, девоньки. Хлебец есть? Картошка есть? Да это же первая еда!...» Молодец, честное слово! Люблю таких. Бодрил людей, поднимал им носы вверх, веселил.

— Нет, ты невозможен, Никанор Иванович, хвалишь и хвалишь этого Серегу, а сам против него подкоп вел.

— Так он же и сейчас такой! Время другое, а он ту же песню поет, про картошку: «Сходственно живем». Куда уж сходственнее — на двадцать третьем году колхозной жизни меньше рубля на трудодень дали. А газеты он как людям читает?! Агитатор! Зачтет статью о хорошем колхозе, люди вздохнут, загорюют, сравнят чужое

хорошее со своей неудалостью, а он ну их утешать: «Не горюйте, девоньки, как-нибудь и мы доживем до такого... Да оно у нас и сейчас неплохо, сходственно: планы выполнили, хлебец, картошка есть... Что надо?» Такая агитация! Тут бы людей после этой читки в атаку поднять на недостатки-непорядки, а он им: «Как-нибудь доживем», «сходственно», «было хуже»... Проспал поворот движения. С такими еще в обороне жить можно; а для наступления не годятся.

— Но постой, — осторожно сказал директор. — Ты не много ли на себя берешь? Колхозные дела... Это же сложно! А ты не агроном. И потом у тебя своя задача.

— Какая задача?! — поморщился Сериков. — Двигатель поставить? Ну, двигатель я поставлю, а дальше? Глаза у меня есть? Душа есть? Вчера я, к примеру сказать, под Москвой был, колхозом любовался. А завтра меня под Воронеж мотнуло, и вижу, сидят люди на богатейшей земле, десятой доли возможного от нее не берут, а утешаются: «сходственно». Как не взяться?

— Но не в лесу же они... есть районная власть.

— А зрение? — сердито перебил Сериков. — Зрение-то у районной власти привыкло к ним, вот в чем вопрос. Вишь, он пишет, Серега: был у них Пугин, заметил, что коровы не чищены; грязь на коровах заметил, а того, что этих коров на весь колхоз тридцать штук, это в его глаза не бросилось. Привык к таким картинам...

Сериков задумался, видно, припоминая что-то, посветлел и сказал довольнó:

— А здорово получилось у Сереги! Я, знаете, их куда адресовал, его земляков? В Кировскую область, тоже пришлось там двигатель ставить. Там председатель — генерал от колхозов! Такой мудрец! Как глянули на него лукояновцы, так сразу ихний Серега на этом фоне всю свою окраску потерял, вот и свергли, другого потребовали.

— Да ты же склочник! — засмеялся директор. — Эдак ты, Никанор Иванович, еще и наших, заводских подбьешь съездить куда-нибудь на смотрины. Съездят, увидят хорошего директора, мне отставку дадут...

Но Сериков точно бы не слышал шутки, сказал, глядя в окно:

— Нет, там, в Лукояновке, только сейчас откроется война. Серега-то не ездил! И его, видите, председателем сельсовета ставят сердобольные души. А он только к од-

ному и приучен: утешать людей, мирить их с недостатками... По его, выходит, что это вековая задача руководителя — приучать людей трудности переживать.

Директор залюбовался Сериковым, а Никанор легко спрыгнул с окна, подтянул ремень, который, как обруч на ссохшейся бочке, сидел на его теле, заторопился.

— Куда сейчас? — спросил директор.

— На Кубань.

— Опять в колхозные дела ввяжешься?

— А как же? — удивился Сериков. — Они же меня один раз подвели, станичники. Наговорили про себя сорок сороков, расхвастались. Я по неопытности все это на карандаш — и везу под Москву кубанский опыт. Ну и отхлестали меня раменцы. В том колхозе, оказывается, на подзолах берут те же сто двадцать пудов, что мои станичники на черноземе. Вот тебе и раз! Похвалился! Надо отквитаться...

Директор проводил Серикова до дверей, попросил его действовать тактичнее, не обходить районное руководство, а по возможности и вовсе не ввязываться во внутренние дела колхозов, помогать только советами. Сериков свел брови, кивнул и вышел.

— Да, держите его при себе! — усмехнулся директор, вновь переглядывая письмо. — Легко сказать...

Но тут в кабинет вошел председатель завкома, низенький, остроносый, плюхнулся в кресло, выдохнул:

— Замотали...

Директор подбросил ему Серегинно письмо:

— Вот тебе документ. Шефская деятельность.

Председатель завкома живо схватил письмо, развернул, прочел первые строчки, отшатнулся, закрыв глаза:

— Так я и знал... И там этот Сериков наломал дров: я же говорил, нельзя выпускать его за ворота...

Директор прищурился и сказал лукаво:

— А по-моему, Иван Артемьевич, ты другое говорил: выпроводить его надо, жизни он тебе тут не дает...

Шли месяцы. На заводе все узнали, как «укрошен» Никанор. Лукояновское письмо облетело цеха: кто корил настырного шефа, кто хвалил, разные были оценки. А Се-

риков, возвращаясь из поездок, выглядел с каждым разом все нетерпеливее, ершистее. Он подключил к своим делам дружков: заводские чертежники копировали ему эскизы корнерезок, крупорушек, автопилоток, комсомольцы переписывали песни для сельских ребят, библиотекарьша подбирала в магазинах нужные книги. И говорил Никанор Иванович о деревне довольно свободно, употребляя даже такие слова, как «травосмесь», «десятиполье»...

В последний раз шли мы с Сериковым с завода июльским вечером. Жара спала, и дождь, сбрызнувший землю, ушел на юг. Длинная узкая тень шеф-монтера, вздрагивая, перескакивала через острые булыжники. Никанор шел с сундучком, готовый к поездке... Не так давно он начал отращивать усы. Росли они недружно, явно беспокоили начинающего усача, покалывали, и он то и дело потирал усы двумя пальцами.

— Ездишь, ездишь, — сурово говорил он, обращаясь к своей тени, — и возишь по деревням как будто хорошие, полезные людям примеры. А не всегда прививается... Хорошо, если еще такого Серегу собьешь с позиций. А если не собьешь? Так и уедешь ни с чем. Двигатель-то, положим, наладишь и еще кое-что приспособишь по своей части, оставишь по себе след. Ну, а главного-то не повернешь! Надаришь людям советов, они их запишут в протокол. Но ты же уедешь, а исполнять протокол Серега останется... И нет тебе потом покоя... Думаешь: остаться бы самому на Серегинем месте... А потом едешь в иное место — и там остаться хочется...

Тень замерла на минуту, пристыла к камням, и я увидел в глазах Никанора Ивановича знакомый блеск. Бывало, когда еще Сериков служил слесарем и заходил на склад металла, у него так же разгорались глаза. Угадывалось в них озорное желание мастера: мгновенно переделать гору ржавых болванок в нарядные вещи. И понимал он, что не под силу одному такое дело, и, может быть, хотел, как это читалось в глазах, кликнуть дружкам: «А ну, навались, есть над чем развернуться!»

Тень скрылась, на солнце набежало облачко, и еще несколько капель дождя сорвалось с неба, видно, последних капель.

— С чего льет? — нахмурился Никанор. — Время уборочное, а он льет. В мае не лил, будь он семь раз неладен...

А недавно один знакомый рассказал, что завод выдвинул Серикова на деревенскую работу. Это не удивило. Так оно и должно было случиться.


— Но, — сказал знакомый, — вышло затруднение в районных организациях: кем послать шеф-монтера? Рядовым слесарем в МТС? Жаль! Специалист большой и организатор умный. Заведующим мастерскими МТС? Диплома нет у него инженерного. Заводские предложили рекомендовать его председателем в колхоз. Опять сомнения: не агроном...

Знакомый так и не узнал, чем кончились переговоры.



---

---



---

---

*В. Тендряков*

### ПОД ЛЕЖАЧ КАМЕНЬ...

В городке Малое Плесо на центральных улицах дощатые тротуары, во дворе райкома на деревьях галчиные гнезда, две площади, Базарная и Школьная, речная пристань, работающая только весной во время полои воды, много контор и учреждений: райфо, райздрав, райторг, райтоп...

В райфо, как и положено, следят за финансовыми операциями, в райздраве заботятся о больницах и амбулаториях, в райторге — о магазинах и чайных, в райтопе — о заготовке дров для населения. У всех свое дело и свои заботы. Но три раза в году эти учреждения заметно пустеют. Наиболее видные работники из них выезжают на весенний сев, на сеноуборку и уборку хлебов в колхозы по поручению райкома партии и райисполкома. Прежде их называли уполномоченными. Но с некоторых пор слово «уполномоченный» стало слишком резать слух районным руководителям, поэтому теперь зовут более мягко — «представители».

Два таких представителя райкома торопливо шагали через луга, выбирая более короткие тропинки. Из густой травы, от корней тянуло сырой прелью. Плясали бабочки в синем воздухе.

Задевая голенищами сапог свесившиеся к тропе головки ромашек, инструктор райкома Иван Ануфриевич Тулупов наставлял своего спутника:

— Обрати внимание на технику. Большой вопрос! Потом — дисциплина...

Его спутник, молодой агроном Сергей Княжнин, слушал и молчал. По размашистому шагу, счастливому молодому лицу и по тому, как нетерпеливо и жадно вздрагивали его ноздри, когда легкий ветерок приносил смутные запахи вянущей травы (где-то в стороне начинали косить), было видно, что ему нравится шагать налегке в это солнечное утро. «На технику обрати внимание... Дисциплина... — думал он. — Уж слишком простые вещи, известные как дважды два...»

— Силосные ямы проверь... Посмотри, силосорезки в исправности ли...

Иполита Иполитовича, учителя гимназии из рассказа Чехова, напоминал Сергею сейчас Тулупов. Тот тоже говорил известные всем истины: «Волга впадает в Каспийское море... Лошади кушают овес и сено...»

Сергей пять лет назад ушел в институт из села Панково. Оно недалеко отсюда, всего день езды по ухабыстым дорогам.

Из института получил направление в свою область, в город Малое Плесо, на государственный сортоиспытательный участок.

Когда-то под городом была маленькая деревня. Она так и называлась — Подгородье. Теперь Подгородье хоть и срослось с городом, но здесь попрежнему колхоз «Путь Ильича». На земле этого колхоза и расположился гос-сортучасток.

Тихая работа Сергею не нравилась. У него в кармане партбилет и диплом агронома с государственным гербом на обложке. Многие ребята из института об аспирантуре мечтали: опытное поле, микроскопы, кабинетная тишина, толстые фолианты да исписанные листы диссертации... Жизнь велика, к преклонным годам и этим можно заняться. А пока молод, получай практику. Не опытное поле, а колхозы!.. Там бы в землю по локоть руки запустить!

В райкоме партии словно угадали его желание. Сам товарищ Горновой разговаривал с ним.

— Вошел в колею, пригляделся к своей работе? — спросил он.

— В основном да, — ответил Сергей.

— Как члена партии, как специалиста мы решили послать тебя на время сеноуборки в колхоз «Ударник» Знаю, будешь возражать: почему-де не используем в «Пути Ильича»... Но пойми: этот колхоз под боком и у

райкома и у райисполкома. Там без тебя хватает кому присмотреть. А «Ударник» — глухой колхоз, двадцать два километра от районного центра, в лесах спрятался. Вот где нужен глаз партийца и агронома!

Не в пример другим, Сергей не отговаривался крайней занятостью, перегрузкой срочной работой.

Теперь он шагал вместе с инструктором райкома Тулуповым.

На вертлявом, выдолбленном из толстого бревна дубасе они переплыли через реку и распрощались.

Повесив на руку порыжевший пиджачок, отирая фуражкой пот с лысеющей, покрытой младенческим пухом головы, Тулупов двинулся к виднеющимся вдали крышам деревни Долгово, в колхоз «Новое время», счастливо разместившийся среди обширных заливных лугов.

Сергею надо было пройти еще километров восемь в сторону от реки, вглубь лесов.

Тенистые мягкие лесные дорожки, пахнущие грибами, хвоей и малиной, тишина кругом, влажная прохлада — не утомительно шагать, легко на душе, отдыхает тело, приходят мысли ясные и легкие. Все на свете кажется простым, любые трудности по плечу. Хотелось вытянуть колхоз из убожества! Доказать людям не на словах, на практике: нет плохой земли, есть плохие хозяева!

Один в березовом лесу, заполненном солнцем, Сергей чувствовал в себе неясную пока еще силу, и от этого радость душила его.

Чужой для леса запах теплого меда заполнил воздух. Впереди показался просвет, деревья раздвинулись. Сергей вышел на поле клевера. Оно тяжелым бархатным розовым ковром лежало по обе стороны дороги. За ним, подняв над низенькими крышами колодезные журавли,— деревенька.

С краю у деревни подле амбара стоял трактор. По всему видно, что стоит он тут давно, чуть ли не с самой весны. Лопухи и крапива подпирали под радиатор, колеса под гусеницами опутала повиллика. И Сергею вспомнился Тулупов: «На технику обрати внимание...» Усмехнулся снисходительно: «Обратим, не упустим...»

Председателя колхоза Сергей не застал. Тот ушел на покосы. В правлении, обычной, с полатами и могучей печью, избе, куда лишь был занесен забрызганный чер-

нилами конторский шкаф, душно; скучно ноют мухи на оконных стеклах. После березняка с солнечными зайчиками по белым стволам сидеть и ждать председателя было тяжко. Самому бы выбраться на покосы, да, не зная места, заблудишься.

— Может, и к ночи не придет председатель? — спрашивал Сергей.

— Может, и к ночи, — отвечал бухгалтер, неразговорчивый человек, несмотря на жаркий день, сидевший за столом в картузе с козырьком, надвинутым на глаза.

Но выручил случай. Под окна конторы, громыхая, подкатила телега.

— Вот с ним можно ехать на покосы. Он туда продукты везет, — указал на окно бухгалтер и закричал: — Тимофей!.. Обожди, товарища захватишь!

Выбракованный по старости жеребец, но сохранивший еще остатки былой стати, медленно тянул телегу через поля. У Тимофея, нового знакомого Сергея, было мягкое бабье лицо, кожа белая, не загорающая на солнце, нос лупится, по лицу и рукам частые веснушки. Прежде чем начать разговор, он долго через плечо приглядывался к Сергею.

— По какому вопросу к нам?

— Вопрос известный. Побаиваются, как бы вы с сенокосом не отстали.

— Так, так, побаиваются... Н-но, дедко! Шевелись! — прикрикнул на жеребца Тимофей. — Стар, не тянет... Что ж, может; и поможете. Работников мало — вот беда... Сравнить с прошлым, наполовину нету людей-то. А лугов столько же осталось. Раньше-то следили за лугами. Каждый хозяин за свой клочок стоял: кустик поднимется — вырубит, кочка торчит — срежет. А нынче руки не доходят. Заросли луга, смотреть больно. Планы-то спускают старые, по ним вроде бы ничего не зарастало.

Телега начала тряско подскакивать на сосновых корневых шишах. Сергей и Тимофей сошли на землю.

— Дороги-то у нас — едешь и язык бережешь, а то ненароком откусить можно.

Некоторое время шли молча, держась руками за грядку телеги. Сергей задумался.

«Сила уходит в город... машинами она должна заменяться, машинами! Истина перепетая, в учебники вставленная, на газетных листах примелькавшаяся, а в жизни

не могут еще уходящих людей заменить машинами. Нет равновесия!..»

Лесная речка Пашутка, с бочагами, где со ржавым отливом вода стоит неподвижно, с перекатами на золотистых камешниках, вся переплетена кустами ивняка и смородины. По берегам эти кусты стоят плотной стеной, не в каждом-то месте прoderешься. От стены на лужок отбежали отдельные кустики. Лужок узок, так как с другой стороны напирает угрюмый ельник. В иных местах кусты вбегают в лес и тихонько шелестят среди высохших шишковатых стволов. Здесь луг обрывается. Через несколько шагов снова узкая полоска, поросшая крепкой лесной травой, снова кусты закрывают ее — и так все время. Это и есть сенокосные угодья колхоза «Ударник». Даже простая пароконная косилка бесполезна здесь: через каждые два шага ее ножи будут наткаться на кусты. Что и говорить о сложной, тракторной!

Председатель колхоза Петр Данилович, в чистенькой белой косоворотке, невысокий, тихий, даже несколько робкий человек, сперва держался с Сергеем с вежливой натянутостью, но мало-помалу разговорился, стал жаловаться.

Они улеглись в тень, под куст на прохладную траву. Из-за куста тянуло крепким смородиновым запахом.

— Ежели всю землю считать: и под лугами, и под лесами, и под пахотой которая, — велик наш колхоз! Семь тысяч га! Легко сказать. А коров всего сто голов. На каждую по семьдесят га приходится, и не можем прокормить. Гектары-то все пустые — лес-чащоба да болота, мох сплошной. — Голос у Петра Даниловича негромкий, устало-спокойный, говорит без вздохов, без обиды, чувствовалось: он сам привык к таким жалобам. — В прошлый год кормов не хватило, пришлось десяток зарушить на мясopоставку... Какие-то колхозы вперед идут, богатеют, а нам что ни год, то труднее.

— С косами не разбогатеешь. Машины-то стоят, — вставил Сергей.

— А как им не стоять? Среде наших пней не развернешься. Не пожалуешься, не обходят нас, каждый год шлют и комбайны самоходные и косилки. Да что толку, диковаты наши места. Нам бы допрежде комбайнов лучше корчеватели и кусторезы прислали. Пришло в район четыре трактора «С-80» да два канавокопателя. Стоят.

— Это почему?

— У нас четыре МТС. Разделили по ним тракторы, каждой по одному «С-80», чтоб не обидно было. Один трактор, пусть он и в восемьдесят сил, не потащит канавокопатель. Такой плужок — лемех чуть не с человека ростом — только пара тракторов тянет. Директора МТС друг с другом переругались, один у одного выпрашивает: дай мне, буду начинать осушку болот, другой — нет, мне, чем я хуже? Все хотят в этом году начинать, на будущий-то, может, пришлют сразу не по одному канавокопателью с тракторами. Спорят, а канавокопатели ржавеют. Хоть бы догадались, жребий кинули... Мы вот на таких клочках с косами топчемся, а за Роговским почином болото гектаров на сто лежит, что стол ровное, какие бы луга там были!..

Петр Данилович, возможно, долго бы лежал так, тихим, как шуршание сухого сена на ветерке, голосом жаловался. Но Сергею и этого было достаточно. Тяжело стало на душе. Диплом в кармане, пять лет института. Проборонование дерновины, подсев эспарцетом и клевером — книжные, неоспоримые истины! До них ли здесь, когда сложные тракторные косилки стоят под навесами, а коса-матушка — попрежнему госпожа на лесных лугах!.. Чем помочь? Как?!

Чтобы привести в порядок нахлынувшие мысли, успокоить себя, Сергей, скинув пиджак, взял у одного паренька косу и с ожесточенным наслаждением принялся валить траву. Трава была твердая, коса быстро тупилась: плохая лесная трава! Сергей знает: в ней много клетчатки, но мало протеинов... Знает! Но что в том толку?.. К плечам, к спине прилипла рубаха...

Петру Даниловичу неудобно было оставаться в стороне, когда представитель райкома работает. Он тоже взял косу. Смолкли шутки, пересуды среди женщин, всех заразил Сергей своим угрюмым ожесточением. Кончали один кусок луга, торопливо переходили на другой, молчаливо и жадно набрасывались на траву...

Под тяжелой лохматой еловой лапой, как дорогая новогодняя игрушка, висела крупная, переливчатая голубая звезда. С разбитым телом, успокоившийся, лежал в

копне сена Сергей. Сон не шел. гад не остывшим после работы лицом пели комары.

В ночной тишине мысли шли спокойным порядком, не путаясь, не мешая одна другой...

«Ни осенью, ни зимой ни райком партии, ни райисполком не послали сюда, в «Ударник», специалиста. Не заставили: готовь загодя колхоз к сеноуборке, приглядишь, где слабые места, продумай, как их исправить. Нет, поднялась трава, пришла пора браться за косы, тогда только схватились: поезжай, покрикивай да подсказывай!.. И еще победы ждут. От кустов очистить, пни выкорчевать, болота осушить — вот о чем надо думать. Будущему году нужна помощь».

Сергей разогнал толкущихся над лицом комаров, поднялся, пошел к соседней копне, из которой торчали два заскорузлых сапога, потряс один из них.

— Данилыч, проснись-ка!..

Сено зашевелилось, поднялась голова Петра Даниловича, повязанная, чтоб не лезло к шее сено, женским платком.

— Случилось что? — спросил председатель хриповатым спросонья голосом.

Сергей опустил ся рядом.

— Давно случилось. Пора бы уж спохватиться. Скажи: много так вот простаивает тракторов?

Петр Данилович сперва недоуменно помаргивал, потом вдруг не к месту широко улыбнулся.

— Ты чего? — удивился Сергей.

— Да уж прости, вспомнил я... Наш брат, председатель, первым делом гостя из района спрашивает: «Куда пойдем, в контору или на поля?» Скажет: «Пошли в контору, побеседуем», — значит, ничего, спокойный человек. Понаставляет: так, мол, и так. Ты послушаешь — и все ладно. А коль подвернется: «Нет, давай на поля, не из окошкá любоваться приехал», — тут уж берегись. Выведет, начнет пушить: и то плохо, и это нехорошо!.. Случается, наскочишь на горяченького... Вот тебя за такого принял. В лесные луга пришел, ну, думаю, будет грому. Ан нет, пригляделся — не из тех...

— Ладно, давай о деле. О тракторах скажи.

— О тракторах-то... Да хватает их, неисправные и исправные — всякие стоят. Иногда жаль лошадей мучить, да прикинешь: лес, буераки, куда уж машину тащить. а

и потащишь — сломается... Ненадежное дело в наших местах машина.

— А почему бы те тракторы, что лопухами зарастают, на расчистку хотя бы таких лугов не пустить?.. Кусторезы можно и самим сделать, не такой уж и сложный механизм...

— А дороги-то... Сам видел, не по воздуху сюда прилетел. Прежде чем трактор к делу приставить, его надо на место довести. По нашим дорогам без аварий не проведешь. Ровнять надо дороги, слежками устилать, кой-где расширять, может, и новые просеки рубить. Кто ж осмелится на такое?

— Под лежач камень вода не течет.

С платком, по-старушечьи повязанным на голове, широкоскулое, грубоватое лицо Петра Даниловича было сосредоточенно-грустным.

Стояли дымчатые сумерки белой ночи. Только самые крупные звезды бледно горели на небе. Сквозь речные кусты на сырую скошенную луговину лениво сочился серый туман. Они сидели в разваленной копне, среди размякшего от ночной сырости сена и говорили о том, как в глухие углы леса бросить силу машин. Сергей горячо убеждал: «Надо требовать! Надо добиваться! Всех сверху до низу расшевелить». Петр Данилович осторожно, с холодком в голосе поддакивал. В глубине же души, он не верил: «Оно так, под лежач камень вода не течет. Но дело-то великое, а большие дела с больших людей начинаются. А кто они? Один — председатель из самых что ни на есть неприметных, другой — агроном. Мало ли таких в районе!»

Он обгорел на солнце, щеки заросли черной щетиной, ладони стали твердыми и шершавыми: приходилось часто братья за косу. Да и чем он еще мог помочь? Покрикивать, подгонять?.. Нет, уж лучше самому показать, как надо работать. Правда, невелика помощь, не поднимешь этим колхоз.

Сергей решил встретиться с секретарем райкома партии Дмитрием Максимовичем Горновым.

Тимофей, ездивший в сельпо за товаром, сообщил, что Горновой у соседей, в колхозе «Факел Октября», часа через два поедет обратно, можно перехватить его на дороге.

Был вечер. Вода в маленьком полузатянutom хвосте-  
ом озерке казалась маслянисто-тяжелой. Запыленные  
цветы при дороге клонились к земле. Воздух неподвижен.  
Небо чисто, не видно, чтоб где-нибудь на дальний лес  
навалился край темной тучи, но чувствовалось: быть  
грозе. В колхозе «Ударник» почти везде, где только мож-  
но, скосили, а план выполнили только наполовину. Ког-  
да-то давно были распределены покосные участки, зане-  
сены на землемерческие чертежи. С тех пор много воды  
утекло, много позарастало непролазным кустарником, а  
план как спускался из расчета на выделенные угодья, так  
и теперь спускается.

На дорогу вырвалась легковая машина. Таща за собой  
тревожно розовый, как дым пожарища, хвост пыли, она  
стала приближаться. Сергей остановился.

— Чего надо? — грубовато спросил высунувшийся  
шофер, но уже за его спиной раздался бодрый, с хрипот-  
цой басок Горнового:

— Это, видать, ко мне.

Из-за блеснувшей на закате лакированной дверки  
выскочил на дорогу секретарь райкома. Выгоревшая, на-  
двинутая на брови кепка, из-под козырька маленькие  
твердые глаза, крепкий подбородок, ладонь широкая,  
пожатые мужское, сильное. Горновой когда-то был вете-  
ринарным врачом на конезаводе, скакал верхом по степ-  
ным выпасам, делал прививки, нужно — умел смирить  
необъезженного жеребца. До сих пор в его обличье оста-  
лось что-то грубоватое, прстецкое, какая-то степная  
неуклюжесть.

— Здравствуй! Что-нибудь сообщить хочешь? — спро-  
сил он.

— Поговорить хочу, — ответил Сергей.

Через минуту машина неслась дальше, а Сергей рас-  
сказывал секретарю райкома про убогие лесные покосы  
колхоза «Ударник», про кусты, с которыми не хватает  
сил бороться, про стоящие без дела тракторы и косилки.

— Кому ты рассказываешь? Ведь я, милый, лучше  
тебя все это знаю.

— Дмитрий Максимович! Пора бить тревогу! Все  
знают и молчат! Да разве нельзя в районе своими сила-  
ми кусторезы сделать? Нельзя разве эти зарастающие  
крапивой тракторы заставить корчевать пни? Конечно,  
лучше бы с заводов мелиоративные машины получить.

А может быть, они в других местах нужнее. Сложь руки сидеть, что ли?

Горновой крикнул: «Эх! Горячка!» — пошевелился на сиденье.

— Верно! — произнес он. — Но верно-то, брат, теоретически. Мы все в молодости куда как ретивы бываем... Ты думаешь, меня все это за сердце не брало? Гляди: поседел от этих вопросов! — Горновой сдернул фуражку. Над широким, в крупных морщинах лбом туго вились мелкие колечки с сединой пополам волос. — Видишь? Так вот слушай, как оно обычно в жизни получается. Кусторезы, бульдозеры разные из сосны не вырубил. Надо железо, и не простое железо, а сортовое. У нас же во всем районе конца стального троса днем с огнем не отыщешь. Пень вывернуть, — кажется, немудреное дело, но ведь на этот пень пеньковую петлю не накинешь: лопнет под трактором. Требовать машины... Гм! Заводы-то нажимают на комбайны... Слышал: два канавокопателя на весь район! Два! По нашим болотам их сотни нужно!

— Ну, канавокопатели — специальные машины... Но стальные тросы! Чтоб из-за них да в колхозе жизнь застывала?! Косами по старинке махают, косилки ржавеют без дела, тракторы лопухами зарастают! Тросы! Ведь мелочь!

— Мелочь?.. Да! Вся и беда-то, что мелочь. Крупного-то легче добиться. Колышком дубовую дверь не высадишь, а бревном можно. Заикнись в обкоме партии о стальном тросе, ответят: «Не по адресу стучишься». А новые комбайны подбросить — помогут.

Сергей молчал. Но в душе он не соглашался с Горновым. Стальные тросы и тракторы, зарастающие крапивой, — какое-то недоразумение! Разве нельзя его объяснить!

Дождь обрушился на них уже в городе. В открытые окна кабинки ударила облегчающая свежесть.

Прощаясь, Горновой сказал:

— Завтра в шесть — бюро. Приходи, поговорим на людях.

Обсуждалось отставание в сеноуборке колхоза «Факел Октября».

Председатель «Факела», высокий человек с косицами

волос на крепкой коричневой шее, плачущим голосом оправдывался:

— Нету народу-то...

При этом он беспомощно разводил зажатой в кулак кепкой.

— У всех народу не густо, да управляютя, — возражал Горновой, прочно сидевший за своим письменным столом.

Сергей слушал и думал о колхозе «Ударник». Сейчас он идет в ногу с другими, но с завтрашнего дня, в крайнем случае с послезавтрашнего, остановится, и уж никто не сможет его продвинуть вперед. Все скошено, а план не будет выполнен, на следующем бюро место председателя из «Факела» займет Петр Данилович, не забудут и его, Сергея.

Заседание подходило к концу. Председатель «Факела» уже перестал возражать, сидел, опустив голову. Кто-то пересел со своих мест на подоконники покурить в открытое окно. Сам Горновой не курил и не выносил табачного дыма.

— Дмитрий Максимович, разрешите мне слово, — попросил Сергей.

Горновой понимающе взглянул на него и кивнул головой: «Прошу».

— То, что мы обсуждаем, даем нагоняй — это не спасает такие колхозы, как «Факел Октября», — начал Сергей. — Я здесь выступаю как коммунист среди коммунистов и, уж пусть простят, не собираюсь выбирать выражения. Райком и райисполком стараются спасти положение разговорами на заседаниях да еще рассылкой по колхозам уполномоченных, погоняльщиков!.. Спасение не в этом. Наше спасение в машинах!..

Сидевшие на подоконниках побросали окурки на двор, поспешно вернулись на свои места. Председатель «Факела» поднял голову, лицо его выражало откровенное удивление и скрытый страх: «Ой, запорешься, парень. Заклюют...» Один Горновой оставался внешне спокоен. Он слушал, поглаживая широкий лоб.

— Машины шлют, а развернуться им негде. Колхозы укрупнились, а поля как были, так и остались мелкими — клочки среди лесов!

Директор близлежащей к городу МТС, крупноголовый, стриженный ежиком, прозванный «Голосистым» за

свой крикливый, беспокойный характер, не выдержал, шлепнул по коленке ладонью.

— Так, парень, крой! Давно пора заговорить. От опасности прячемся, как страусы: голову под крыло, хвост наружу!

Горновой неодобрительно посмотрел на него, покачал осуждающе головой: «Не мешай выступать!»

— Людсей мало, машины используются с пятого на десятое. На что еще надеемся? Пора спохватиться!

Сергей, взволнованный сел, стал шарить по карманам носовой платок, чтобы вытереть с лица пот.

— Мне слово!.. — директор МТС, не дожидаясь разрешения, вскочил.— Шепотком мы часто говорим об этом, а пора кричать! Пора! Отпустите мне добавочный лимит горючего, дайте цепей, канатов, завтра же начну заключать новые договоры с колхозами на раскорчевку.

— Дайте! — перебил его Горновой. — А у кого ты просишь? У меня? Рад бы всей душой, да не имею!

— Добыть надо! — круто повернулся директор.

Разгорелся спор, никто уже не следил за порядком заседания. Заговорил главный агроном райсельхозотдела Мокрецов. Из угла, покрывая всех густым баритоном, подал голос директор самого крупного в городе предприятия, сушильного завода, Певунов. Ему стал возражать председатель райисполкома Омшарский. Горновой не сдерживал спорящих, не призывал к порядку, сам был внешне спокоен: бросал реплики, но больше слушал.

Забывший всеми председатель «Факела» искося с уважением разглядывал Сергея.

Расходились. Как обычно, добрая половина собравшихся сгрудилась у стола секретаря райкома, решая на ходу свои, не относящиеся к заседанию дела. Сергей уже хотел незаметно выйти, но Горновой через голову обступивших бросил:

— Обожди.

К Сергею подошел инструктор Тулупов и начал повторять только что сказанное другими на заседании:

— Канатов стальных у нас нет. Мелиоративные машины — вопрос больной, но заводы нам не подведомственны.

Горновой, распустив людей, сел рядом с Сергеем, положил ему на колено свою крепкую ладонь, заглянул в лицо. Тулупов почтительно посторонился.

— Разбередил ты мне, Сергей, сердце, — произнес Горновой, и в голосе его услышал Сергей непривычную доброту. — Я-то сейчас возражал, а думал совсем другое: мы свыклись, приучились не замечать, а ты пришел, глянул свежим глазом и поднял то, что на поверхности лежало, показал: «Вот где сермяжная правда».

— И все же возражали? — произнес Сергей. — Поспорили мы, пошумели, а ничего не решили...

— Для того и возражал, что решать пока рано. Решим, в бумаги запишем, а потом признавайся: не выполнили решения... Завтра меня вызывают в обком, буду там требовать и настаивать. Выйдет дело — приедем, соберем людей и уж тогда решение вынесем, наступать начнем. Разбередил ты меня...

Провожал к дому Сергея Тулупов, он с самым невозмутимым видом, обычным тоном наставника бубнил сейчас уже совершенно другое:

— Очень важный вопрос затронул. Теперь предстоит задача — вырвать хотя бы стальные тросы. Тогда можно будет развернуть корчевку и распашку новых площадей...

Сергей не слушал его и улыбался своим мыслям: расшевелил Горнового, а это уже много, начало есть, лежач камень шевельнулся.

Сергей считал дни и часы, когда должен вернуться из области Дмитрий Максимович.

Крепла надежда: задерживается — значит время впустую не проводит, добьется, чего нужно.

Росла радость, несколько тщеславная, ревностно скрываемая от всех; землю расчистим, машины на простор выпустим — великое дело! А кто первый слово бросил? Я!

Вместе с радостью росла и благодарность к секретарю райкома: не всякого так просто разбередить можно, не всякий бы так чутко прислушался, не чиновничья душа, нет!

Сергей был на участке, около грядок с элитной рожью, когда узнал, что вернулся Горновой.

Сбегав домой, переодевшись в праздничный костюм;

купленный еще на пятом курсе института, он направился в райком.

Сейчас он войдет, Дмитрий Максимович поднимет свою тяжелую, с крупным лбом голову, взглянет открыто, протянет руку, крепко пожмет. Даже просто встретиться, снова увидеть его приятно.

Но Горновой не поднял головы, не отрывая взгляда от разложенных на столе бумаг, кивнул: «Садись».

С минуту стояла тишина. Сергей разглядывал сидящие кудри на склоненной голове секретаря райкома. Наконец не выдержал молчания, произнес:

— Я пришел узнать, Дмитрий Максимович.

И Горновой словно ждал этого. Уронив широкую ладонь на бумаги, он поднял взгляд, чужой, строгий.

— Ты за это время в «Ударнике» бывал? — спросил он.

— Нет, Дмитрий Максимович. Мне там пока делать нечего.

— Как так нечего? Выполнили план на шестьдесят процентов — и замерзли на этом? За пять дней хоть бы на единицу в сводках прибавили!

— Дмитрий Максимович! — осмелел Сергей. Он шел на душевный разговор, но раз секретарь райкома сам хочет спору — пусть! Он не спасует! — Там все выкошено. Остальное заросло кустарником. Косить больше нельзя...

— План спущен, его надо выполнить. Иль для тебя государственный план — филькина грамота?

— Пересматривать эти планы нужно... — начал Сергей, но Горновой поднялся, вышел из-за стола и, веско роняя слова, произнес:

— Мой тебе совет: выбрось из головы фантазии. Не до воздушных замков. С нас сейчас (слышишь: сейчас!) требуют выполнения планов. Не на будущий год, не через три года — сейчас! Немедленно поезжай в колхоз!..

В жарком шевиотовом костюме вышел Сергей под горячее июльское солнце и остановился у крыльца райкома в растерянности. Что случилось? Был человек — душа нараспашку... Подменили. Голос сухой и резкий, а взгляд!.. Словно заслонка за глазами — в душу не заглянешь. Непонятно. Чудо! Безобразное чудо!..

А никакого «безобразного чуда» не случилось. Все вышло очень просто.

Шлют сложные комбайны, шлют сложные косилки, шлют трактора. А не секрет, часто случается: хлеб, сжатый серпами, везут молотить на комбайн. Хорошо, если молотить... Наполовину, да в работе машина. Бывает и иначе. Перебирается такой комбайн с одного поля-пяточка на другое и застрянет среди леса. Куда там везти сжатый хлеб, стоит комбайн мертвым грузом, пока вызванный за сорок километров из МТС трактор не вызволит его из беды. Пора поднять бунт против тех, кто равнодушно относится к зарастающим кустами лугам, к клочкам полей, стиснутых лесами, к бездорожью, губящему машины!

С этими мыслями Горновой прибыл в обком партии. С ними он выступил на расширенном заседании бюро, хотя повестка дня, казалось, была далека от этих вопросов. Обсуждали ход работы на сеноуборке, затрагивали вопросы воспитания кадров, обсуждали метод руководства через уполномоченных.

— Смешно сказать: мы беспомощны перед простым сосновым пнем. Во всем районе нет куска стального троса, чем можно бы зацепить его, — говорил с трибуны Горновой.

В огромном, залитом через обширные окна солнцем кабинете секретаря обкома сидело много партийных работников из таких же лесных районов. Они одобрительным гулом встречали слова Горнового.

Секретарь обкома в заключительном слове ответил:

— Горновой требует, и справедливо требует, не спорим, стальные тросы. У нас в области есть запасы таких тросов, но предназначаются они для сплава. Может ли обком партии распорядиться выдать их Горновому? Нет, не может! Выдать трос Горновому — значит выдать его Козлову, и Акиндинову, и другим секретарям райкомов. Сплав окажется под угрозой. Мы не можем оставить сотни строек без леса. Горновой просил: помогите достать, помогите пустить машины... Но, товарищ Горновой, на то ты и коммунист, чтоб побеждать трудности. А ты их испугался! Да, испугался! В колхозах Малое Плесо не скошено на сегодняшний день более двух тысяч гектаров. Ты прикрываешь критикой свое бессилие. Позор!..

Секретарь обкома говорил, как всегда, со спокойной властью, каждое слово его тяжело падало в зал. Все,

кто прежде одобрительным гулом поддерживал Горного, теперь виновато поживались.

И все же на следующий день Горновой пошел в областную сплавконтору.

Директор конторы, рослый мужчина, с густым басом истинного сплавщика, сочувственно кивал головой:

— Понимаю, понимаю, сам из крестьян, у самого душа за колхозы болеет... Не скрою, маленькую толику из запасов и могли бы выделить. Но маленькую... Только ведь вот дело-то какое: дай вам тросы — приедут из Боршаговского района, из Фоминского, будут уже не просить, а требовать: мол, мы тоже не рыжие. Вы принесите-ка из обкома бумажку. Пусть два слова черкнут. Дадим...

Горновой ушел ни с чем. После выступления секретаря обкома не могло быть и речи о такой бумажке.

Тросов нет, сеноуборка затягивается, обком недоволен работой райкома, и те горячие мысли, то решение — требовать и настаивать — мало-помалу сменилось у Горного чувством неловкости, досады на самого себя: «Кого послушал? Кажется, старый конь, объезженный — и на вот: мальчишка вскружил голову!»

Вернувшись, он сразу же сел за сводки. Во всех колхозах косьба и стогование двигались медленно, но в «Ударнике» за эти пять дней, что он отсутствовал, вовсе не двинулись с места. Не скошено ни одного гектара!..

Как раз в это время и пришел Сергей. Горновой не мог с ним иначе разговаривать. Он еще сдерживал себя, чтоб не раскричаться, оставшись один, долго шагал по кабинету, не мог успокоиться: «Мальчишка! Фантазер! Теперь буду держать тебя на прицеле!..»

Знакомой дорогой Сергей шел в колхоз «Ударник». Как и в прошлый раз, стоял жаркий день, солнечные зайчики бегали по белым стволам берез. Так же пахло грибной сыростью, перепревшей хвоей. Тот же лесной покой окружал Сергея... Но не было на душе прежней легкости, уже не чувствовал он в себе неясной силы.

Петр Данилович встретил Сергея, как старого приятеля, застенчивой улыбкой на лице.

— Отдыхаем пока. Косы на стенки повесили. Все выкошено, под гребешок, — с наивной доверчивостью сообщил председатель.

И Сергея передернуло в душе.

— Что-то придумать надо, — сказал он сдержанно. — План-то не выполнили.

— Да уж что придумывать, хоть лоб расшиби, не придумаешь, — все с той же наивностью возразил ничего не подозревавший Петр Данилович.

— Между кустами надо траву выкашивать.

— Выкошено, верь слову, где только косой можно махнуть, все выкошено.

Петр Данилович, невысокий, в чистой косоворотке, низко, почти по бедрам, подпоясанной узким ремешком, сидел на стуле перед Сергеем, глядел светлыми, честными глазами: «Ей-ей, что ж это ты?.. Неуж не веришь? Ведь я перед тобой, как на исповеди».

«В райкоме считают: раз послали — действует, не сидит сложа руки, — думал Сергей. — До конца сенокосов здесь жить придется. А что делать? Заниматься-то чем?... Бездельничать?... Это страшно! Страшнее всяких бюро, всяких нагоняев!.. Нет, надо действовать, чем-то заниматься!»

— План-то не выполнен, — упрямо повторил он.

«Нельзя признаваться, что план невыполним, нельзя! Этот же Петр Данилович упрекнет тогда: в собственном бессилии расписался... Что делать? Как действовать?».

Сергей не глядел в глаза председателю.

— Выполнить надо. Косами негде размахнуться — придется за серпы взяться. Серпами срезать траву между кустов.

У Петра Даниловича изумленно поднялись брови.

— Серпами?.. Помилуй... Много ли серпами возьмем?

— Всех до единого в колхозе поднять придется!

— Пусть всех. Это по кустам лазить, по горсти траву собирать. Ну, много ли насобираем?.. Труда уйма, пропасть трудодней выбросим, а пользы?..

Сергей сам хорошо понимал, что серпы на сенокосе — соломинка утопающему. Прав председатель, нельзя возразить ему, но возразить надо, иначе зачем он приехал сюда? И Сергей со всего размаха стукнул кулаком по столу:

— Что за рассуждения?! Бойтесь переработать?.. Пустопорожними разговорчиками председатель развлекается! С нас требуют выполнения плана! Не на будущий год, не через три года!.. Сейчас!

Бухгалтер в картузе, шуршавший за своим столом бумагами, притих. Петр Данилович с минуту изумленно мигал желтыми короткими ресницами, потом уставился в пол.

— Вам видней, — сказал он казенным голосом.

Надо чем-то заниматься, надо действовать. Остановись, раздумайся — и опустятся руки.

Он обманывал сам себя. Выводил народ с серпами, с утра до вечера пропадал на покосах, лазил по кустам, придирался раздраженно к каждой мелочи... И чем больше убеждался в бесполезности дела, тем сильнее развивал деятельность. Приказывал, повышал голос, стучал кулаком и не терпел возражений. От простого колхозника до председателя все стали его бояться.

Остановись, раздумайся — и опустятся руки... Но нельзя же приказать себе: не думай! Часто по ночам он долго не мог уснуть от мыслей.

«За серпы ухватились — крохоборство!.. А в чем зло? Мелиоративные машины в наши края не заслали?.. Нет, это не главное. Здесь и без того много машин стоит... С министерских стульев не так-то просто разглядеть нашу нужду. Подсказать нужно, может, убеждать, доказывать пришлось бы... Горновой поехал в область, и где-то там все уперлось в глухую стену. Не захотели, видно, убеждать и доказывать. Привыкли работать по принципу: сверху виднее, прикажут — выполним. Плохой принцип, старорежимный! Не капиталистическое предприятие, где ступенька за ступенькой лесенка вниз спускается: хозяин приказывает управляющему, управляющий — десятнику, десятник — рабочему. Дело-то общее, мы все в нем на равных правах хозяева. Обком отказался выслушать Горнового, Горновой — меня, а мне остается... не слушать Петра Даниловича. Вот где зло — лесенка! Прими все до единого близко к сердцу нужды хозяйства — вышли б из беды, раскорчевали, очистили, машины пустили, серпы забросили... Нашли б выход!»

В такие ночи у Сергея появлялось желание написать обо всем в ЦК. Но утром обычно появлялась неуверенность: «Обком же молчит! Выскочил, скажут, поперед батьки... Куда уж...» И снова вместе с колхозниками лазил по кустам, приказывал, настаивал, повышал голос.

Пора сенокосов прошла.

С камнем на сердце Сергей поднимался в кабинет к Горновому. Сейчас должны начаться упреки: «Для украшения тебя в колхоз посылали, не выполнил, не организовал...»

Но Горновой встретил его не то чтобы дружески, по-старому, но спокойно, деловито.

— Вот видишь, все хорошо. Твои подшефные план почти выполнили, — сообщил он.

Сергей застыл от удивления. Уж кто-кто, а он-то знал, что «Ударник» выполнить не мог. Серпы — не спасение.

— Вот она, последняя сводка, — протянул секретарь райкома лиловую бумажку.

Сергей взял ее в руки, пробежал цифры: «Что за чудо! Уж не серпами ли они смахнули эти четыреста гектаров?.. Но такому чуду и ребенок не поверит...» Он поднял с бумаги глаза, хотел возразить, но тут встретил настороженный взгляд Горнового. И Сергей ничего не сказал, он положил на стол сводку и, подавленный, растерянный, чувствуя за спиной все тот же настороженный взгляд, вышел.

Он понял. Чуда нет. Бухгалтер колхоза, тот самый незаметный, сумрачный человек, не снимавший за столом даже в самый жаркий день картуз, поставил на сводке цифру. Петр Данилович подписал ее. Кто пойдет проверять в глушь лесов, кто решится облазить и вымерять все заросшие кустами луга, подсчитать застогованное сено? Обмакнуть перо в чернила, вывести цифру — это так легко, просто и совершенно безопасно. Зато не будут таскать на бюро, на исполкомы, кричать о невыполнении, угрожать привлечением к ответственности за срыв плана. Надо бы во весь голос крикнуть: «Фальшь!» Но настороженный, замкнутый взгляд Горнового предупредил Сергея. Горновой сам, кажется, догадывается и не возмущается, не кричит... Понятно: крикни — будут вызовы в обком, упреки в областной газете, разносы на совещаниях. Уйма неудобств, выгоднее скрыть, ибо это всего-навсего догадка. А догадка еще не факт. Это факт скрыть — преступление!..

В этот вечер Сергей долго не мог уснуть. Лежал дома на кровати, перебирал книги. «Луговоедство», «Почвоведение», «Агробиология» — все они были для Сергея умные, старые товарищи. Выходя из института, он наивно

думал, что они станут в будущей работе лучшими помощниками. Они ему сейчас не могут помочь.

Не выходил из головы бухгалтер, росчерком пера поставивший страшную цифру... Да, страшную!.. По этой цифре на будущий год будет спущен план поголовья скота, который надо кормить настоящим, а не фиктивным сеном... План мясоставок, план сдачи молока — все упирается в эту цифру! Написанная лиловыми чернилами по лиловой шершавой бумаге — сколько вреда припесет колхозу эта цифра!

Сергей оказался на виду у райкома. Началась уборка, его снова послали в колхоз «Ударник». Снова Сергей подгонял, требовал... Осенью, в серенький день, когда сквозь слезящиеся окна в кабинет Горнового заглядывали мокрые пустые галчиные гнезда, бюро вынесло решение: рекомендовать агронома Княжнина председателем в колхоз «Ударник».

Плетушку сильно раскачивало на залитой жидкой грязью дороге. Сергей и Тулупов сидели, тесно прижавшись друг к другу. Тулупов держал на коленях мокрые вожжи, причмокивал на жеребца и по обыкновению наставлял:

— Руководство через уполномоченных — порочный метод. Надо подбирать кадры в колхозах. Ты специалист. Тебе и карты в руки...

Об этом писали в газетах, об этом говорили на каждом совещании и вчера на бюро повторяли: «Надо укреплять кадры на местах. Ты специалист, тебе и карты в руки...»

— Карты в руки, а козыри в них выбраны, — глухо, в воротник, возразил Сергей.

Тулупов удивленно поглядел на злое лицо своего спутника и вздохнул:

— Непонятный ты человек...

Сергей не ответил. Он зябко поежился и глубже спрятал лицо в поднятый воротник пальто. Летел мелкий дождь.

«Где уж тебе понять, — думал он. — Вот кончил институт, имею диплом и боюсь идти председателем... Машины стоят. Серп да коса в обиходе!.. Внедряй науку, товарищ агроном, но особо не требуй — обрежут! Вот

тебе и карты в руки!.. Карты дали, а козыри вынули. На верный проигрыш идешь ты, Сергей...»

Он снова, который уже раз, представил себя на месте Петра Даниловича. К нему станут приезжать такие вот Тулуповы, начнут наставлять: «На технику обрати внимание...» или — хуже того — стучать кулаком, как он сам стучал...

«Что делать? Что делать? Как отказаться?.. Не откажешься — член партии, специалист, тебе и карты в руки... Может, сами колхозники не захотят, одна надежда...»

С этой надеждой и приехал Сергей в колхоз на общее собрание.

Тулупов, подставив под лампу младенческий пушок на лысеющей голове, долго и скучно внушал тесно набившемуся в комнату народу, какой хороший человек Сергей Княжнин: «Товарищ Княжнин имеет законченное высшее образование... Товарищ Княжнин — специалист...»

Люди молчали. В дальних углах, куда не доставал свет лампы, поднимался махорочный дым. Петр Данилович, старый председатель, виновато сидел в президиуме. Сергей старался не глядеть на людей: по их молчанию он чувствовал, его здесь не любят. Тяжело было сидеть на виду у всех.

Тулупов отговорил положенное время и с достоинством сел на свое место.

Петр Данилович приподнялся:

— Кто хочет слова?

С минуту стояла тишина, и вдруг из угла, где висел махорочный дым, прогудел мужской голос:

— Не же-елас-ем!

— Что?! — поднял голову Тулупов.

— Не надо нам Княжнина!

— Товарищи, товарищи! — суетливо застучал по столу Петр Данилович — Не нарушайте порядок!

— Пусть лучше Данилыч остается!

— Слова доброго не услышишь от него. Все криком!

— Товарищи! Товарищи! — стучал Петр Данилович.

— Не жела-а-аем!

Сергей сидел в президиуме, на почетном месте. Он низко пригнул голову к столу. Мелко-мелко задрожали руки, он поспешно спрятал их на колени, ладони покры-

лись липким потом. «Провалиться бы сквозь пол, исчезнуть...»

Несмотря на долгие и томительные уговоры Тулупова, что надо вести себя организованно, выступать никто не захотел. Тогда Тулупов сам стал председательствовать.

— Раз никто не хочет выступать, будем голосовать. Поднимите руки, кто против Княжнина.

Ни одна рука не поднялась. Тяжелая тишина стояла над головами тесно собравшихся в комнате людей.

— Никого?.. Кто — за?

И снова не поднялось ни одной руки.

— Ну, тогда кто воздержался?

Люди не шевелились.

Снова раскачивающаяся плетушка, чмоканье лошадиных копыт по грязи, густая и сырая темень осеннего вечера.

Сергея знобило, он старался плотнее закутаться в грубый плащ, накинутый поверх пальто. Тулупов начал было разговор:

— Не может понять народ... Предлагают специалиста...

Но Сергей сквозь зубы процедил:

— З-замолчи!

Тулупов испуганно смолк.

Сергей кусал губы, чтоб не застонать от страшной сбиды, от унижения. Он хотел, чтоб не выбрали! Хотел сам!.. До чего дошел! Прибыл сюда человек человеком — с партбилетом в кармане, с государственным дипломом... Думал научить людей, показать им: «Нет плохой земли, есть плохие хозяева!» Ждал: руки по локоть запустит в колхозную землю! Счастье надеялся добыть людям... Но люди-то отвернулись: «Слова доброго не услышишь! Все криком!» Отвернулись! Не нужен!.. Докатился! Позор!


Утром он, бледный, осунувшийся и решительный, вошел в кабинет Горнового, уселся, заговорил спокойно и холодно:

— В новом Уставе партии вместо «имеет право критиковать» сказано: «обязан критиковать». Слышите, Дмит-

рий Максимович? Обязан!.. В нашем районе неблагополучно. Мы молчим. Отчего? Обком не поддержит? Боимся, толщу бюрократизма не прошибем?.. Партконференция скоро. Воевать надо! Коммунисты поднимутся. Туловых немного. Нужно — до ЦК дойдем!.. Надо воевать. Под лежачий камень вода не течет!.. А на чьей стороне вы будете, товарищ секретарь райкома?

Нагнув голову, Горновой молча слушал, тяжело исподлобья глядел мимо Сергея.





*Николай Тихонов*

### ЗАРЕКОЙ

Из своего раннего детства Худроут помнит желтый, осыпающийся глиняный дувал, большой старый многоветвистый туг, ворота, у которых он играл с мальчишками, дорогу, проходившую мимо дувала, помнит, как он впервые в жизни испугался так сильно, что весь покрылся потом и в глазах потемнело.

Всадник на такой высокой лошади, что она показала маленькому Худроуту выше дувала, кричал на его отца, стоявшего у ворот, кричал долго, пронзительно, громко, тряся над ним своей жесткой красной бородой, потом взмахнул толстой плетеной камчой над головой отца, который стоял неподвижно и смотрел в лицо всаднику.

Тогда-то и испугался маленький Худроут. Ему показалось, что одним ударом этой высоко поднятой камчи неизвестный убьет отца, разрубит пополам его голову, выбьет ему глаза. Мальчик закричал, но всадник звонко щелкнул камчой в воздухе, ударил коня, который сделал прыжок, и, повернув коня, еще раз крикнул что-то с ходу и исчез за поворотом стены.

А отец разжал кулак, и на дорогу упал камень, длинный и острый, который он зажал в кулаке, пока кричал на него так внезапно наехавший помещичий приказчик.

Помнит еще Худроут, как чужие люди выносили из отцовского дома, тесного, темного, с земляным полом, кошму, котел, одеяло, какие-то тряпки и мать умоляла их, кланяясь им, просила о чем-то, но эти молчаливые,

торопящиеся люди с сонными лицами и остановившимися глазами, казалось, ослепли и оглохли. Они не глядели на бедную, в слезах, Сафармо и не слушали ее просящих слов. За воротами они бросили вещи на арбу, переполненную всяким скарбом, и сами влезли и сели поверх него, молчаливые и непреклонные.

Солнце заходило, и далеко было видно, как едет в красной пыли темная арба, увозящая нищее крестьянское добро. Но Худроут был еще мал, чтобы понимать, что произошло, и он хотел утешить мать и прижимался к ней. Она, вытирая слезы тыльной стороной левой руки, правой рукой гладила его по голове и шептала непонятные слова.

Потом Худроут помнит слонов. Розовым весенним утром два огромных животных шагали по дороге мимо деревни. Посмотреть на них сбегались люди со всех сторон. Слоны остановились, важно оглядываясь. Вожак одного из них, сидя почти на самой слоновой голове, разговаривал с крестьянами, спустив свои ноги так, что ступни их были спрятаны за широкими, шершавыми слоновыми ушами. Слоны, видимо, были на простой прогулке, потому что на них не было корзин-гауд и они были покрыты только толстой красной попоной с золотистой бахромой. В руках у Худроута было несколько соломенных жгутов, из которых он хотел сделать кукол для игры. Но слон так осторожно, что Худроут не успел даже вскрикнуть, взял кончиком хобота у него из руки соломенный жгут, взглянул на мальчика своими маленькими, хитрыми глазками, точно подмигнул ему, высоко поднял в воздух жгут, раскрошил его и соломенной крошкой посыпал себе голову. Он сделал это так быстро и весело, что все вокруг засмеялись, а Худроут протянул другой соломенный жгут второму слону, и тот, похлопав ушами, взял у него жгут, так же, как и первый слон, раскрошил его, но, прежде чем посыпать себя, вытянул хобот и посыпал сначала голову Худроуту соломенной крошкой.

Все развеселились еще больше, но вожак что-то сказали слонам, и два гиганта, грузно ступая сильными, тяжелыми ногами, раскачиваясь, как бы лениво пошли по дороге. Но долго еще смотрел им вслед Худроут и долго встряхивал голову и с удивлением рассматривал соломенные крошки, которыми была посыпана его голова.

Худроуту шел уже седьмой год, когда в селении наступили какие-то шумные дни. Взрослым было не до детей. И дети бродили, где хотели. Худроут научился лазить на дувал по выбоинам в глиняной стене и смотреть сттуда на дорогу. Раз он увидел, как по дороге шло много людей и все они шли к зеленой лужайке у тех трех ореховых деревьев, которые были много старше самого старого старожила, много старше самого селения.

Вместе с мальчишками Худроут пробрался к старым ореховым деревьям, и мальчишки помогли ему вскарабкаться на толстый сук, с которого хорошо было видно, что делается на лужайке. Там сидели и стояли, разговаривая, крестьяне. Женщин не было. Были только мужчины. У многих было оружие. То один, то другой выходили на середину и говорили резким, гортанным, сильным голосом что-то такое, на что все остальные отвечали такими же резкими, сильными криками и трясли винтовками в воздухе. Кое-где сверкали обнаженные кинжалы и шашки. Потом тихим, почти вкрадчивым голосом говорил низкоплечий толстый человек в большом тюрбане. Он говорил, временами пел и, ведя свою речь все более тонким и гнусавым голосом, закончил криком, таким пронзительным и долгим, что птицы поднялись с деревьев и заметались над головами в начинавшем угасать вечернем небе. После этого крика старик сел и как бы впал в сон, потому что голова его склонилась на бок и вся фигура погрузилась в покой.

Тут вышел, как танцовщик, перебирая ногами, дервиш. На его впалых, лиловых от загара и грязи щеках виднелись клочья рыжих волос. Он царапал землю ногами, похожими на спицы. Его глубокие и скользящие по сторонам глаза горели холодным, каким-то голодным блеском. Вдруг, точно ужаленный, он подскочил на месте и простер руки.

Рыжая мохнатая шапка его опустилась до бровей, глаза закрылись. Он дико крикнул, и этот крик долетел до вершин многоветвистых, масляно-черных на закате деревьев.

Дервиш начал медленно кружиться, как будто ввинчивался в землю. Потом, точно отброшенный землей, он высоко подпрыгивал и кружился, как волчок, пущенный непонятной силой.

Когда он останавливал свое кружение, все видели,

что пена текла по его сизой бороденке, обнажились неровные длинные зубы, один глаз полуоткрылся и был злобен и страшен. Все быстрее и быстрее кружился он, выкрикивая по временам какие-то клятвы или ругательства.

Люди шумно вздыхали, кое-кто всхлипывал от переживаний, кое-кто ударял себя кулаком в грудь. Иные плакали от умиления. Ужаснее всего были руки дервиша. Они то взвивались, как палки, над головами, то складывались, как будто ломались надвое, то извивались и раскачивались в стороны, касались земли.

Они устремлялись вперед, душили и сжимали невидимого врага. Они рубили невидимой шашкой, потом в изнеможении падали и снова бились над головой.

Маленький Худрут смотрел весь дрожа, ничего не понимая и только чувствуя, что все его существо напряглось и насторожилось и, если он чуть разожмет пальцы, он упадет с дерева и разобьется о землю, не почувствовав боли.

Каждый из крестьян не раз видел подобные неистовства захожих нищих дервишей. Они особенно никого не страшили и не удивляли. Люди знали, что после всех этих прыжков и завываний дервиш попросит чаю и лепешек, богатый подарит ему платок или туфли, накормит пловом.

Но сегодня — и все понимали это — дервиш не спросит ни подарка, ни чаю, ни туфель. Сегодня дервиш требовал другого.

Остановившись и только слегка покачиваясь, дервиш выхватил из-за пояса нож и ударил себя по голому почти черному плечу. Все видели, как на белом лезвии ножа свернулась и прыгнула в сторону темная капля, за ней другая и третья. Дервиш, все еще покачиваясь, ударил себя по другому плечу, и снова кровь брызнула на его лохмотья. Тогда он нагнулся и подал нож ближайшему из сидевших, захлопал в ладоши, издал воющий вопль и упал, как мешок, на землю.

Тут все вскочили, все смешалось в крике и шуме. Худрут не помнил, как его сняли с дерева, кто принес его домой. Он только на всю жизнь запомнил круглую, совершенно круглую луну, стоящую над домом, отца, которого окружили вооруженные люди, мать, которая плакала в стороне, закрывшись с головой покрывалом,

присмиривших собак и звон и лязг оружия, которого было так много, что казалось, звенит вся земля вокруг. Отец обнял Худроута, поднял его в воздух, прижал к своей колючей щеке его лицо и опустил на землю, сказал что-то непонятное, что-то о воде, о земле, о нем, Худроуте, и о том, что надо наказать предателей ислама.

Потом вся толпа куда-то двинулась, звеня оружием, и остался только Худроут и мать. Маленькая сестра спала в колыбели, и ее не касались ни дурная бестолочь этой ночи, ни внезапная пустота села и тишина. Издали долетал смутный гул и далекий, приглушенный собачий лай.

Проходили месяцы. Деревня жила тревожно. Приходили разные люди, возвращались крестьяне, ушедшие в ту ночь, но уже не было ни оживления, ни крика. Наоборот, теперь собирались по домам и дворам, говорили тихо и боязливо оглядывались. Мать плакала с утра до вечера. Маленькая Сабзбагор — цветок весны — кричала в колыбели. Худроут понял своим детским умом, что отец больше не вернется обратно, никогда не вернется.

Раз пришел в селение высокий худой человек, с таким же высоким худым ослом. Худроут никогда раньше не видел его.

— Я твой дядя Хурам, — сказал он ласково Худроуту, рассматривая пристально мальчика, — я брат твоей матери, и я пришел помочь вам.

Но недолго этот грустный и ласковый человек жил в доме. Не прошло много времени, как снова пришли те молчаливые, озабоченные и равнодушные люди, что приходили и раньше, и снова вынесли из дому последние кувшины, чашки и тряпки. Только теперь уже мать не плакала. Она взяла на руки маленькую Сабзбагор и ушла к соседям, а дядя молча стоял на дворе, загородив загон с высоким худым ослом, как бы готовый защищать его до последней капли крови.

А немного позже Худроут пошел с дядей в поле. Там уже стояли кое-где люди, и нельзя было понять, о чем они думают, — так неподвижно стояли они над тесными канавками, глядя в них, точно видели там что-то необыкновенное.

Над такой же канавкой стояли и дядя с Худроутом. Дядя оглядел поле, длинной палкой, с которой никогда не расставался, потрогал потрескавшуюся горячую, рассыпающуюся в порошок глину и сказал:

— Вот и все, Худроут...

— Что все, дядя Хурам? — спросил мальчик.

— Отняли у нас воду. Не будет больше воды в этих  
арыках...

— Что же мы будем делать без воды, дядя?

— Без воды здесь нечего делать, дорогой. Ну,  
пойдем...

И они тихо, как с кладбища, шли по этим печальным  
полям домой, и земля шуршала у них под ногами, точно  
жаловалась на свое горе.

А через три дня дядя Хурам сказал Худроуту:

— Надо уходить отсюда, сынок. Помоги мне навью-  
чить осла.

— Что же это такое, дядя? — спросил, боясь чего-то  
ужасного, что должно случиться, мальчик, но дядя просто  
ответил, как будто не случилось ничего особенного:

— Когда вырастешь, Худроут, все узнаешь. А сейчас  
долго рассказывать. Надо уходить...

— А мама? — сказал упавшим голосом Худроут.

— Маму и Сабзбагор возьмет к себе сестра, а ты бу-  
дешь со мной.

И они ушли в тот же вечер по каменистой, неровной  
дороге на восток, когда солнце стало спускаться за выси  
далеких, сизых, прозрачно-голубых хребтов. Копыта осла  
гулко и легко стучали по пустынной, тихой дороге. Маль-  
чик шел рядом с ослом, а впереди них шагал коротким  
шагом опытного пешехода высокий худой человек с боль-  
шой бородой, печальными ласковыми глазами, сжимая  
крепкими коричневыми пальцами высокую палку, прида-  
вавшую ему вид пастуха.

Начались годы долгой кочевой жизни среди таких  
дебрей, куда вели только узкие тропинки, где вставали  
над головой такие горы, что не видно было неба из тем-  
ных, сжатых каменными стенами ущелий, где леса охва-  
тывали в жаркий день осенним холодом, а в пропасти  
лучше было не глядеть.

Дядя Хурам нанялся помогать кочующему продавцу,  
который торговал в этих мрачных краях, не боясь, что  
его ограбят, или что его товар утонет в одной из здеш-  
них бешеных речек, или осел сорвется с кручи в бездон-  
ную щель, поскользнувшись на оледенелом камне.

В тюках предприимчивого торгаша были и шкуры, и  
черные шерстяные халаты, и дешевые шелка, и шелковые

разноцветные ленты, деревянные и металлические гребешки, стеклянные бусы, иголки и нитки, оловянные кольца, медные запястья, красивые коробочки и рукоятки для ножей.

Вместе с дядей странствовал по этой неуютной стране и Худроут, ведя дядино го ослa через животрепещущие горные мостики и отдыхая в каменных холодных домах высокогорных селений. Иногда дядя оставлял его на попечение своих друзей, оберегая мальчика от слишком утомительного или опасного пути.

Мальчик рос, как растут деревья в этих горах, так же естественно принимая все перемены климата, как и эти питомцы дикой горной флоры, украшающие каменистые склоны.

Сидя в жалкой горной хижине перед огнем, разложенным прямо на полу, слушая рассказы любителей поговорить на языке, который он сначала почти не понимал, он засыпал, прижавшись к мешку с кукурузными початками или к старому, выцветшему чувалу.

В этом горном мире не существовало школ, учителей, книг. Дни были похожи один на другой, и только смена времени года вносила разнообразие в суровую, бедную, темную жизнь ущелий и долин, население которых совсем не представляло себе, что происходит на свете, да это его и не очень интересовало.

Худроут подружился с местными мальчишками, очень ловким, сильным и независимым народцем. Раз дядя, вернувшись из одного из своих головоломных путешествий, нашел его лежащим на старом одеяле, с лихорадочным блеском в глазах. Дядя Хурам перепугался, решив, что он серьезно заболел.

Но мальчик признался, что он попробовал принять участие в игре местных мальчишек и ему не повезло. Он сел на одеяле и, размахивая худыми руками, волнуясь, рассказывал, что не мог не принять участия в забаве, раз его пригласили. И пусть дядя не думает, что он подвел свою партию, нет, ему просто не повезло.

Игра заключалась в том, что нужно было отстоять от нападающей стороны начертанный на плоской крыше круг. Но защитники и нападавшие не просто толкали друг друга. Нет, каждый должен был схватить правой рукой большой палец левой ноги, и прыгать только на одной ноге, и действовать только одной рукой. Если бы

дядя знал, как это весело! Нельзя выпустить пальца ни в каком случае. Можно было только в пылу игры переставлять ногу и перехватывать другой рукой.

Нападение и защита дрались ожесточенно. Можно было хватать противников за волосы и уж, конечно, получив ссадину или царапину, не показывать вида, что тебе больно. Но так как игра происходила на крыше горного дома, то нужна была немалая ловкость, чтобы не слететь с нее вниз. И он, решительно отбив атаку противника, поскользнулся об орех, потерянный кем-то из игроков. А это случилось у самого края крыши, и он полетел вниз и упал с головой в большой сугроб мягкого снега. Он нырнул в него, как в речку, и все же сам вылез оттуда, без посторонней помощи, и только дома все тело разболелось, и он спал почти сутки. На его лице, руках и ногах было много порезов и ссадин, и дядя решил не оставлять его больше в такой глуши, где даже в игре можно сломать голову, и взял его с собой.

Время шло. Дядя нашел другую работу. Он не отпускал от себя Худроута, и они теперь жили вместе в горных лесах, в тех местах, где срубали большие деревья и пускали их, обрубив ветви, вниз по громко шумевшей реке. В самом конце ее эти бревна вылавливали и, как говорили люди, отправляли их в Кабул и даже в далекую Индию.

Густые сосновые и кедровые леса с их меланхолической величественностью, дубовые леса с подлеском из боярышника и дикого миндаля, такие же простые и гордые люди, которые боролись с огромными деревьями и побеждали их, громкий, дерзкий, как вечный вызов, голос летящей день и ночь реки, крутящейся среди снега,— все это не могло не отразиться на характере юного Худроута.

Он сам охотно принимал участие в битве с гигантским кедром, и когда с треском поверженного лесного владыки сливался грохот реки, Худроут обрубал огромные зеленые ветви, стоя по уши в холодной, живой хвое, трепещущей, как будто что-то желающей рассказать ему перед тем, как она умрет, отделившись от тяжелого, великолепного в своей даже поверженной мощи ствола.

Он не боялся ни отвесных уступов, ни стремительных вод, как бы приглашающих храбрецов испытать их силу, ни горных духов, о которых лесорубы любили поболтать перед сном у лесного костра.

Им часто приходилось, переходя с участка на участок, останавливаться среди пастушьих кочевий, и тогда они ночевали с пастухами в особых домах-загонах, называемых в этой стране пшалами.

Однажды, утомленные длинным подъемом по отвесным, скользким тропам, они добрались до большой цветущей поляны, окруженной скалами причудливой формы и с широким видом, который заставил их забыть усталость и остановиться. Большими волнами подымались горы, покрытые лесами и кудрявыми кустарниками, с зелеными лужайками и покатыми полянами. За ними вставали голые, темноликие скалы, кое-где украшенные соснами, за ними высоко подымали свои головы горы, осыпанные новым снегом, ослепительно блестящим своими изломами.

Пшал был прислонен к скале с большим каменным навесом и хорошо предохранен от дождей и от катящихся со скалы камней, смытых дождями. Снаружи пшала лежали горки козьего помета, внутри на огне трещали сухие ветки. Перед огнем сидели пастухи. Дядя Хурам нашел знакомых, и они приветствовали его, как полагается по обычаю.

Худрут, напившись молока с горячими пресными лепешками, сначала слушал, как пастухи расспрашивали дядю про сплав леса, про виды на урожай в Боковой долине, мешая сучья на огне своими черными, крепкими пальцами, потом стал дремать и незаметно уснул.

Когда он проснулся, огонь уже догорел. Все спали, как кто нашел наиболее удобным. Полумрак стоял в помещении, храп и хрип спящих смешивался с блянием козлят в загоне, шорохами и вздохами спящих животных, шевелившихся во сне. Худрут ощупью нашел засов, открыл дверь и вышел из помещения.

Он прошел по поляне к ее краю и лег на траву. Луна стояла над дальним хребтом, и снега излучали голубоватый, острый свет, который дрожал, как легкий туман, отделившись от снежных стен. Зубцы лесов, залитые лунным сиянием, побелели, а нижние ярусы леса падали в разрезы ущелий, сливаясь с их чернотой. Травы пахли резко и крепко, напоминали чем-то запах цветущей джиды. Худрут лежал, вдыхая в себя благодатный, освежающий холод ночи, вбирая в себя этот ошеломляющий, широкий простор, это звездное небо, на котором, пере-

ливаясь, мерцали холодные, чистые, большие звезды. Огромность и тишина горного ночного мира делали Худроута маленьким, растворенным среди спящих громад, великодушно допустивших его в свое общество великанов.

Худроут в то же время испытывал большое, непонятное ему волнение. Восторг перед всем, что он видел, какая-то дикая радость существования переполнили все его существо. Он чувствовал, как будто стал больше, сильнее, крепче. Он очень вырос за последнее время. Его тонкие, железные ноги не боялись ни острых камней, ни ледяной воды, ни колючих кустарников. Ночной ветерок овеивал его крепкую грудь, а рукам было приятно сжимать колючую, жесткую траву поляны.

Он не мог бы сказать, сколько он так лежал, не думая ни о чем, весь во власти смутных ощущений, не отводя глаз от тех перемен, которые производила луна в горном мире.

Она передвинулась к западу, и там, где были блески снегов, стояло теперь зеленоватое, блестящее иглами облако, как будто снега дымились. Дальние ущелья осветились, и их отвесные стены забелели, а чернота перекинулась на другую часть хребтов, и там уже все потонуло во мраке.

Худроут перевел глаза на поляну, и ему показалось, что какая-то вихляющаяся тень направляется к скалам, у которых он лежал. Мгновенно рассказы о горных духах пронеслись в его голове. Но он только резко вскочил на ноги и прислонился к камню. И как только он встал во весь рост, тень стала определенно приближаться и сгущаться, и, присмотревшись внимательно, Худроут увидел дядю Хурама, медленно и неуверенно идущего к нему.

Тогда он сам пошел навстречу и скоро стоял рядом с дядей, смущенным и не опирающимся на свою высокую палку.

— Это ты, Худроут? — спросил дядя, подходя.

— Я, дядя, — ответил Худроут. — Вас тоже выгнала духота? Там, в пшале, очень душно...

— Я плохо сплю, Худроут, — сказал тихо дядя, и тут Худроут первый раз за все годы увидел, как постарел дядя Хурам.

Они сели у тех же скал, где лежал на траве Худроут, и смотрели на горный простор несколько минут молча.

Худроут разглядывал дядю Хурама, как будто видел его впервые.

Перед ним сидел старый человек, с глубоко запавшими глазами, с усталым лицом, с бородой, в которой лежали серебряные нити, с худыми руками, на которых выступали жилы, в поношенной одежде и в полурваном плаще, который носят жители Боковой долины, отправляясь в дорогу. Резкие черты лица под луной еще больше заострились. Большие глаза смотрели печально.

Худроут взглянул на луну, и она вдруг напомнила ему ту ночь, когда отец уходил из дому неизвестно куда.

Никогда Худроут не спрашивал об этом дядю Хурама, и никогда тот не разговаривал с мальчиком о тех давних днях.

Сейчас Худроут заговорил первый:

— Помнишь, дядя Хурам, ты мне раз сказал, давно-давно, что придет время и я все узнаю. Дядя Хурам, время пришло!

— Я сказал не так, — дядя Хурам повернул к нему свое усталое лицо, и на нем мелькнула тень улыбки, — я сказал: когда ты вырастешь, ты все узнаешь. Разве ты уже вырос?

Худроут посмотрел в широко открытые глаза, глядевшие на него с каким-то новым выражением.

— Дядя Хурам, потрогай мои колени, потрогай мои руки, плечи и грудь. Я вырос.

Дядя Хурам молча коснулся его руки. Он сидел так тихо, что Худроуту начало казаться, что он засыпает, прислонившись к камню.

С закрытыми глазами сказал дядя Хурам:

— Он отошел к милости аллаха, в битве, твой отец. Тогда ты был мал. Народ поднялся против неправды и голода. И твой отец был с народом. Мы выиграли битву, и мы проиграли ее. Нас обманули дважды. Нас обманул сын Водоноса — Баче-и-Сакао и муллы, шедшие с ним. Они обещали, что у крестьян будет земля и вода, будет жизнь. Но, став эмиром, сын Водоноса стал еще больше угнетать нас. И когда его повесили в Кабуле, его и его помощников, снова обманули нас, говоря, что теперь будет жизнь. А потом чиновники пришли и отняли воду... Земля высохла, люди ушли кто куда.

— Что же будет дальше, дядя Хурам? Ты все знаешь, скажи.

Старик открыл глаза, и теперь они были почти ве­селье.

— Ничего я не знаю, сынок. Я брожу, как могу. Но я стал уставать, сынок. Ты это, наверное, заметил. Я уже не тот, что был. Раньше, в молодости, я возил оружие в эти горы, а теперь мы с тобой привозим стеклянные бусы, и перочинные ножи, и складные зеркальца. В молодости я сражался в этих лесах, а теперь мы рубим эти деревья и бросаем в реку их трупы, чтобы потом, там, в Индии, из них сделали бы дорогу, по которой идут большие ящики на колесах, которых ты никогда не видел. Помнишь ты того доброго работника, высокого осла, что вез тебя в горы, когда ты был совсем маленький?

— Помню, дядя... Я очень любил его.

— Помнишь, как раз он лег у дороги и больше не встал. Но он довез порученный ему груз... Так и я: не знаю день, когда я доведу груз, но я так же лягу у до­роги, как он, а ты, сынок, пойдешь дальше...

Худроут встал и сказал со всем пылом юности:

— Дядя Хурам, я вырос, я сильный, я буду еще сильнее, и я буду работать, а ты будешь отдыхать.

Дядя Хурам встал тоже и обнял его. Под большим ночным небом на большой поляне стояли две маленькие фигурки так неподвижно, что их можно было принять за камни, которые так ловко ставятся на крыши пшала, что их принимают за людей.

Дядя Хурам отступил от Худроута, осмотрел его тонкую, крепкую фигуру и пошел по поляне. Худроут шел рядом с ним.

— Мы уйдем из лесов,— сказал дядя Хурам.— Мы по­ищем другой жизни, может быть, нам будет лучше, хоть немного лучше...

У самого пшала их остановил пастух. В раскрытом тулупе он шарил по земле, ища оброненную трубку. Уви­дев дядю Хурама, он забыл, что делал, и, похлопав по плечу, сказал:

— Э, старый, звезды смотришь? Гадаешь? А знаешь, что я тебе покажу? — И, задерживая дядю Хурама силь­ной рукой, он показал другой рукой на небо и сказал: — Видишь эти звезды? — он показал на Большую Медведи­цу, — видишь четыре звезды — это кровать, а первая звезда в хвосте — это муж, вторая — жена, а третья — любовник. Хо-хо-хо! Так и бывает, запомни, старик, —

сказал он и, вспомнив, что потерял трубку, снова начал шарить между камнями.

Дядя же, миновав пьяного пастуха, сказал Худроуту: — Мы уйдем из лесов, сынок!

И они ушли из лесов и некоторое время жили среди людей, занимающихся перегонюм скота с высокогорных пастбищ в долины через перевалы, и помогали им в этом трудном деле. Теперь они жили среди быков и овец, коз и баранов, среди трав и ручьев, низких, голых гор и бедных деревень Бадахшана.

Дядя Хурам имел такой открытый характер, умел так просто объяснить какой-нибудь сложный спор скотоводов, так хорошо знал скот, как только может знать крестьянин, лишенный своего крестьянского хозяйства.

Овечье молоко с растопленным маслом, это любимое кушанье горцев, Худроут пил теперь в гостях у старых пастухов, советовавшихся с дядей Хурамом о состоянии перевалов, через которые приходилось перегонять отары.

После той ночи у горного пшала Худроут разговаривал теперь с дядей Хурамом как взрослый со взрослым, и ему было приятно, что дядя Хурам внимательно слушает его и серьезно отвечает на его иногда очень наивные вопросы. Он спрашивал у него совета или хотел убедиться, что правильно поступил в том или другом случае.

— Дядя Хурам, — обычно начинал он издали, — если вы имеете время меня послушать, я хочу вас спросить...

И всегда дядя Хурам говорил:

— Говори, сынок, я тебя слушаю.

— Дядя Хурам, в прошлом году там, в лесах, я шел как-то вечером мимо деревни. И меня окликнули с дерева. Меня не позвали по имени, но позвали, как зовут у них путника. Я не остановился, потому что думал, что это относится не ко мне. Но опять раздался голос с дерева, и я увидел, подойдя ближе, что на тутовом дереве стоит молодая женщина и ест спелые тутовые ягоды. Она улыбалась мне и звала с собой. Когда я сказал ей, что не хочу лезть на дерево, она соскочила и стала приглашать пойти с ней. Она очень волновалась, но я не пошел. Хорошо ли я сделал, что не пошел с ней?

— Женщина! Что ты знаешь о женщине, мальчик! Ты сделал хорошо, — сказал дядя Хурам, — потому что тебе жениться на ней нельзя, жители гор не признают та-

кого брака, а если она замужняя, то тебе пришлось бы платить большой штраф или твоя жизнь была бы в опасности. Сынок, дорогой, вот подожди, мы разбогатеем и тогда найдем тебе такую жену, что нет лучше... У меня есть кое-какой план, и если он удастся, то мы будем с тобой есть на серебре, как сам эмир... Подожди немного, у нас будет и на жизнь и на жену.

Двигаясь с отарой овец, пришли они в такое населенное место, что у Худрута широко раскрылись глаза. Ничего подобного в жизни он еще не видел.

Это был просто большой кишлак, но для Худрута, знавшего бедные и неудобные жилища горцев, здешняя жизнь показалась великолепной.

«Так, наверное, выглядит преддверие Арка, дворца, где живет эмир», — подумал Худрут.

По улицам ходило много людей в разноцветных халатах. Проезжали всадники, проходили тяжело нагруженные верблюды. Запахи горячего плова, жареного мяса и разных вкусных соусов шекотали нос. Над всем царствовал запах горячего бараньего сала.

В чайхане в облаке пара стоял огромный начищенный самовар. На коврах молча сидели с пиалами чая посетители, а от лавок шел такой гул, как будто дыни, арбузы, абрикосы, гранаты были предметом яростного спора, который никак не мог кончиться.

Оставив дядю Хурама в чайхане, Худрут, как игла, прошивал толпу, наполнявшую базар, и все никак не мог надивиться и всем шумам и всей пестроте, окружавшим его. То он смотрел на красивый палас, выставленный у ковровой лавки, то уличный фокусник привлекал его внимание, то продавец сладостей так расхваливал свой товар, что нельзя было не заслушаться, — словом, наконец, чтобы немного отдохнуть от непривычных впечатлений, он пошел по кишлаку в сторону от базара.

Он шел быстро и скоро оказался в тихих, узких улочках, куда уже не долетал крик и шум базара. Тут был небольшой арык с журчавшей светлой водой, и над ним стоял старый карагач с тяжелой, душной папахой темно-зеленой листвы.

Он присел на корточки, подставил ладони, и холодные струйки вбежали в ладони, как бы резвясь. Он выпил немного этой хорошей, прозрачной воды, поднял глаза и увидел, что против него в нескольких шагах стоит жен-

щина, вся закрытая покрывалом, спадающим самыми причудливыми складками по ее тонкой фигуре.

Он смотрел на эту женщину с таким же странным чувством любопытства, с каким он только что смотрел на фокусника там, на базаре. Ему казалось, что и здесь он увидит что-нибудь удивительное.

И он увидел. Из-под покрывала показались тонкие пальцы, такие тонкие и розовые, каких он ни у кого не видел, и эти тонкие пальцы откинули покрывало, и перед ним засияло такое лицо, что появление его можно было отнести к любому колдовству или фокусу.

Правда, все это длилось мгновенно. На него с тонкого, продолговатого, с легчайшим налетом волнения, разрумянившегося лица смотрели большие, прямо в сердце идущие глаза с высокими бровями, как бы в удивлении поднявшимися над неиссякаемо ярким светом двух звезд, которым они служили чудным дополнением. Пунцовые губы сначала были сжаты, потом они раскрылись в такой улыбке, перед которой та горская женщина с тутового дерева могла заплакать от бессильной зависти.

Эти глаза смотрели на него, эти губы улыбались ему, а что же он? Правда, они не приглашали его за собой, и когда он сделал движение перепрыгнуть арык, чудное видение скрылось за стеной с быстротой ускользающей маленькой птички, и только захлопнутая под носом дверца ясно и жестко говорила о том, что именно отсюда это видение изволило появиться.

Худроут долго сидел у арыка, не сводя глаз с крепко запертой дверцы в дувале, потом он грустно встал и пошел в шум базара, к чайхане, где ждал его дядя Хурам.

И когда он, полный смутения и трепета, хотел сразу же просить совета у дяди Хурама, тот, в полном экстазе, возбужденно и порывисто, чего с ним никогда не случалось, сам схватил его за руку, увлек его в сторону и, не дав ему сказать ни слова, заговорил быстро, так быстро, что первых слов его Худроут даже не разобрал. А дядя Хурам говорил о том, что теперь они близки к тому, что будут наконец богаты. Пусть он никому не проговорится, но знакомый и друг Хурама открыл в долине реки Кокча такое место, где золото чуть не под каждым камнем. Но это тайна, этого никто не должен знать. И сначала туда пойдет только тот человек и Хурам, а потом он даст знать

о себе Худроуту, и он тоже пойдет туда. Но сейчас он устроил пока Худроута в помощники к тому старому чабану, который его хорошо знает. Они будут недалеко кочевать со стадами и все ближе к реке Кокча, а там они объединятся и купят себе все что хотят, и жену, конечно. Он же не раздумал, Худроут, жениться?

Он сказал это смеясь, но Худроут уже ничего не мог рассказать о своей встрече в кишлаке. Что-то мешало ему сказать об этом, особенно после последних слов дяди. Он привыкший слепо слушаться и советов и указаний дяди не мог ничего возразить против того, что предлагал делать дядя Хурам.

А тот, разгоряченный тем, что его старый план разбогатеть, повидимому, близок к выполнению, весело говорил:

— Да, сынок. Добрые вести пришли от матушки Сафармо и твоей сестрички Сабзбагор. Они живы и здоровы и шлют тебе приветы. Я встретил тут человека с наших мест... Ну, пойдем теперь к тому другу, но помни, с нашим разговоре ни слова. Это наша тайна. Никто не должен знать...— И он взял слово с Худроута, что он будет как могила.

В тот год, когда пришло известие о том, что матушка Сафармо отошла к милости аллаха, а маленькую Сабзбагор — цветок весны — выдали замуж за сельского сапожника и дядя Хурам утонул в реке Кокче, так и не добыв золота, Худроута взяли в солдаты.

Его учили и днем и ночью. Днем он лежал на пыльной, горячей земле, и офицер оттаскивал его за ногу, как тюк, если он занимал неправильную позицию при стрельбе лежа. Потом он выполнял ружейные приемы стоя и с колена.

Он учился ходить, выкидывая далеко вперед носок, потом останавливался по команде и сразу, ударив прикладом, резко поворачивался и продолжал маршировать в другую сторону.

Ночью он нес караульную службу. То он охранял старый пустой склад, то конюшню, то стоял у квартиры командира батальона.

Когда он достаточно преуспел в своем деле, его отправили на границу, и он был первое время вестовым при субадоре — помощнике командира роты, так как обнаружилось, что он понимает толк в лошадях.

Жизнь на границе была тосклива и скучна. Каждый день Субадор в сопровождении вестовых, из которых один был Худроут, выезжал на объезд участка.

Узкое ущелье с нагроможденными скалами, до неба поднимавшими свои могучие камни, перерезалось рекой, сжатой так, что клочья пены взлетали над ревушим потоком, тщетно пытавшимся расширить свое русло. Полумрак и водяная пыль стояли над нависшими сводами береговых уступов. Лошади пугливо трясли ушами при грохоте реки, похожем на канонаду.

Бывали места потише, где стены ущелья расступались, точно сговоришись, и раз в таком месте впервые в своей жизни Худроут увидел самолет. Он уверенно шел по ущелью, и рокот его мотора далеко разносился по сторонам. На его крыльях были красные звезды.

Субадор смотрел вверх некоторое время, следя за полетом, потом плюнул и сказал, внезапно рассердившись: — Гуди, гуди, у нас в Кабуле тоже есть два таких.

Как уже заметил Худроут, субадор часто сердился по самым непонятным причинам. Так, он, расспрашивая как-то Худроута, откуда он и кто был его отец, страшно вспылит, узнав, что отец погиб в сражении за Кабул при Баче-и-Сакао, и, хлеща стеклом по столу, закричал: «Уж эти кугистанцы! Все они собаки и разбойники!» И выгнал Худроута из комнаты.

Субадор был зол на весь мир: он считал, что начальство отправило его сюда, в эту каменную дыру, по каким-то проискам его врагов и солдат посылает ему нарочно ненадежных или тупых, вроде этого кугистанца, и что Булюк-мишр — взводный командир — приставлен к нему, чтобы следить за ним и доносить обо всем начальству.

Вечером он выходил за ворота своего маленького укрепления и снова сердился из-за того, что у него была большая печень, из-за того, что идти было совершенно некуда, так как в чахлой рощице лежал жаркий кишлак, собаки которого всегда бросались на его лошадь, когда он проезжал через него, и это были самые гнусные собаки на свете.

Так стоял он и тоскливо оглядывал пустое, унылое поле и дикие склоны, над которыми, как бы грозя, высывался страшный ледяной кулак какой-то вершины.

И вдруг он услышал песню. Резкие, но сильные звуки молодого голоса доносились откуда-то от реки. Что-то

воинственное и дико-веселое было в этой непонятной песне, что-то оскорбительное для его начальственного могущества, как представителя власти. Эта гордая, резкая песня как бы оспаривала его власть над зловещим молчанием этих забытых аллахом мест.

— Кто поет? — рассердившись закричал он.

Солдат, звякая ружьем, побежал к берегу и через минуту-другую вернулся с Худроутом. Опять этот кугистанец! Нет от него покоя.

Солдат доложил субадору, что пел вот он, Худроут.

— Что ты пел? — спросил субадор, чувствуя, что его душит ярость, что он не может видеть без злости этого красивого, статного, крепкого, как горный козел, юноши.

— Это поют горцы Боковой долины, — сказал Худроут, — это боевая песня...

— Эти проклятые кугистанцы будут еще у меня под ухом распевать свои проклятые песни! Чтоб я больше ее не слышал! И никаких песен чтоб здесь не было! Понял? Давай лошадь.

Тут же выяснилось, что его любимая лошадь захромала.

— Это невозможно, — закричал субадор и с яростными ругательствами пошел в свое жилище.

Там его ждало единственное забвение — он курил анашу. Когда он глотал горьковатый усыпляющий дым, заволакивавший все черные мысли, он чувствовал себя удивительно сильным, храбрым и счастливым. Исчезала неуверенность, подозрительность и злоба на мир. Хорошую анашу достали ему в этот раз.

Но едва он протянул руку за маленькой трубочкой и коробочкой с анашей, как вошел ненавистный булюкмишр — взводный командир, его тайный завистник и шпион.

— Вы не можете ехать завтра на вашей лошади.

— Почему? — спросил так резко субадор, что булюкмишр чуть отодвинулся.

— Потому что она расшибла ногу при поездке и ее нужно лечить...

— Кто выводил ее? — спросил уже тише субадор, злясь еще и оттого, что ему помешали погрузиться в состояние чудного опьянения.

— Худроут, этот молодой горец.

— Они мне шею перережут, эти проклятые кугистан-

цы, — сказал он уже спокойно, но в глазах у него бегали злобные, острые огоньки, — он мне испортит жизнь здесь вконец.

— Он хороший, исполнительный, скромный юноша, — сказал булюк-мишр, знавший все особенности характера своего начальства, — он не виноват. Лошадь испугалась верблюжонка и бросилась на камни.

— Вы все не виноваты, — сказал субадор, — вы все не виноваты, что я тут пропадаю по неизвестной причине. Они там в Кабуле веселятся...

Тут он замолчал, чтобы не сказать лишнего, и вдруг ему пришло в голову одно решение, которое показалось ему выходом.

— Отправь этого кугистанца на пост...

— На какой? — спросил булюк-мишр.

— Отправь его на пост Пещера.

— Пещера! Но там мы давно не ставим часовых. Там нехорошее место. Бывают обвалы... Раз там замерз часовой, помните, когда упала лавина.

— Да, да, — сказал субадор, — вот именно, отправь его в Пещеру и оставь одного и не снимай сутки. Пусть он оставит свой дерзкий вид, проклятый кугистанец. Иди!

На другой день к вечеру Худроут, в сопровождении солдата и молчаливого аваяндора — отделенного, подымался по узкой, едва вмещающей солдатские сапоги тропке, и только его привычные к горным переходам ноги не дрожали. Еще перед подъемом солдат сказал:

— Пещера — худое место.

— Почему? — спросил Худроут.

— Там нехорошо. Туда раз послал солдата субадор, и его засыпал обвал.

— А еще что там? — спросил Худроут.

Но солдат твердил только одно:

— Там нехорошо человеку...

— А ты сам стоял там?

— Я — нет, — сказал солдат, — там замерз один часовой, его засыпало снегом.

— Эй, вы там, пошли, — сказал аваяндор, и они начали подыматься по козьей, каменистой дороге.

После недолгого, но утомительного подъема они вышли на скалу, где был пост, именуемый солдатами Пещерой.

Сначала, когда вышли на эту маленькую площадку,

Худроут увидел под ногами обрыв. Полный неясных мыслей, ошеломленный всей неожиданностью происшествия, он не огляделся как следует и только следовал за ведущим его аваяндором. Пещера была скорее навесом, но в ней была каменная скамья, каменный стол, на столе лежала ржавая банка каких-то консервов, несколько стреляных гильз и надтреснутая пиала.

— Вот это Пещера,— сказал аваяндор.— Ты будешь следить за тем и этим берегом,— сказал он, подводя Худроута к обрыву.— Если будет опасность или ты заметишь кого-нибудь, кто хочет переправиться на ту сторону, стреляй, стреляй только при тревоге, помни, что по этому сигналу мы придем к тебе на помощь. Если хочешь пить, тут есть пиала, а тут есть родничок. Он был раньше лучше расчищен, но тут давно не было поста, и ты его можешь снова расчистить. Ночью тебе особо холодно не будет. Луна еще светит, но ночи темные, будь начеку. И стреляй только по тревоге...

Солдат, до последней минуты боявшийся, что его все же оставят вместе с Худроутом, искренне обрадовался, когда узнал, что он уйдет с аваяндором, и не скрывал своей радости. Поэтому он похлопал добродушно Худроута по плечу и сказал, подмигивая:

— Ты горец, у тебя, наверное, есть заговоренные камушки.

И они ушли, оставив Худроута одного на скале.

Худроут обошел еще раз маленькую, заваленную камнями площадку. За спиной Худроута висели скалы, там, где в скалах был прорыв, виднелись близкие, неприветливые горы, за которыми вдали блестели на вечернем небе снежные глыбы какого-то большого ледника. Все, что было вокруг, все это скопление каменных глыб, нагроможденных друг на друга, нависших над рекой, разбитых на куски и стекающих каменным потоком в реку, было безотрадно и сурово.

В ту сторону, где расположился пост, видны были склоны, у подножья которых лежал нищий, маленький кишлак, так ненавидимый субадором. Но отсюда не было его видно, и только куски его маленьких полей намечались, как черные заплатки, внизу сиренево-черной горы, уже подернутой вечерней тенью.

Угрюмая и суровая природа, казалось, презирала человека и давила его своим каменным величием. Внизу

перед Худроутом, бесконечно шумя, проносились волны той реки, которая день и ночь бросалась на берега, вся в пене и в водоворотах, точно все ее нутро клокотало от нестерпимой обиды и она мстила окружающему миру, изрыгая проклятья и стоны. Ярость, с которой она пронеслась в теснине, пугала человека и заставляла его с тайным страхом глядеть в ее бешеные волны, непрерывно взлетающие над камнями в середине реки и ударявшиеся с силой молота в каменные уступы берегов.

Эта река делила два государства, два мира, и Худроут теперь смотрел на неизвестный ему мир, так близко лежащий против него на другом берегу пограничной реки.

И этот новый мир был так удивителен, что Худроут больше не смотрел по сторонам. Его глаза впелись в открывшееся ему пространство за рекой.

И там, за рекой, стояли горы, дымчато-фиолетовые, гребни которых, как бы зовя за собой, уходили на север, где блистали далекие скалы, уже полузакрытые облаками. Но, спускаясь к реке, горы образовывали впадину, в которой, как в зеленой чаше, лежал кишлак. Его светлые дома подымались по взгорью между бегущих красивых, пенистых петель ручья и множества зеленых деревьев, которые то выстраивались аллеями, то соединялись в группы, образуя сады.

Светлая лента дороги проходила по самому берегу, чуть выше реки, и далее поднималась в селение и пересекала его, уходя в горы, и долго еще виднелась среди срезаемых углов горы, подымаясь все выше и выше, пока не закрывали ее громады.

В этом селении и на этой дороге была непонятная и неизвестная Худроуту жизнь. По дороге шли большие машины, проезжали люди на велосипедах, шли женщины и дети, в садах и на улицах — всюду, в тени деревьев и в домах люди делали свое привычное дело, и чем больше всматривался в это живое движение Худроут, тем более ему казалось это чем-то знакомым и очень близким.

Этот светлый, так красиво раскинувшийся в тени садов кишлак напоминал далекое селение в долине, никак не похожее на это место, и вместе с тем он казался все же тем селением детства, перенесенным чудесной силой сюда и так преображенным, что сердце сжималось от грусти и боли.

Проходившая по самому берегу женщина несла маленького мальчика. Разве он не узнавал в этой женщине матушку Сафармо, и разве не он был крохотным мальчиком, которого она так нежно прижимала к груди?

Потом взгляд его, переходивший с жадностью с предмета на предмет, останавливался на мальчиках, шедших группой, в полосатых халатах и широких штанах. Они держали в руках книги и тетради.

Худроут, неграмотный и только несколько раз в жизни видевший книги, все же сразу узнал их, и новое волнение охватило его. Ему казалось, что он видит сам себя, но в каком-то другом виде, мальчиком, который возвращается из школы.

Да, и он мог быть таким. Пока он рассматривал все, что происходило в горном селении над рекой, в небе заметно потемнело, горы как бы надвинулись, верхи их, только что горевшие розовым золотом, стали зеленовато-холодными, и уже трудно было уловить, различить особенности уступов. В ущелье вошли тени, и тени упали с ближайших склонов.

Надвигался вечер. Неожиданно в небе показались высокие, блестящие звезды, прикрытые полупрозрачным зеленым туманом, и в селении над рекой вспыхнули длинные, рассыпанные по горе огни. Они светились так ярко и тепло, что было ясно видно все, что происходит на улице, особенно на большой площадке, окруженной квадратом огней, желтых и ярких.

Худроут почувствовал холод. С гор тянуло ветром, пронизывающим до костей. Худроут посмотрел на гору за спиной. От этого нелюдимого пространства исходило такое чувство одиночества, сиротливости, заброшенности и даже какой-то скрытой угрозы, что он невольно сжал карбин. Там не было ни одного огонька. Никакой самый маленький луч света не блеснул в этой сырой, холодной сплошной тьме, которая докатилась до реки и погрузила все окрестности в безмолвие ночи, и только река, беснуясь, гремела как-то глухо из своего черного провала.

А в подгорном селении на том берегу началась новая, вечерняя жизнь. На площадку, освещенную ярким светом, выехали большие машины, украшенные широкими полосами из красной материи, и с этих машин со смехом и веселыми восклицаниями соскакивали молодые люди.

На юношах были тубетейки, на девушках большие белые платки. Серые халаты, черные пиджаки, светлые платья, цветные шаровары, даже узорные джурабы, даже разноцветные шерстяные кисточки в волосах у девушек, скинувших платки, видел он так близко, как будто сам стоял среди них и прислушивался к их быстрому и легкому разговору.

Потом, несмотря на несмолкаемый шум реки, он услышал тонкий, серебристый звук, который пронесся через реку, как вызов мраку и горам. Девушка играла на инструменте, который был знаком Худроуту. Это был рубоби.

И под звук этого сильного и чистого потока дрогнуло что-то в сердце Худроута. И он как будто впал в странное забытие, при котором он понимал и то, что он стоит на посту с оружием на скале перед пещерой, и то, что перед ним проносятся, как куски снов, картины его собственной жизни.

Темный кишлак там у заставы, где только худые страшные псы хрипло кричат во сне, дома в горах, где люди в старых овчинах при свете маленького чирака копошатся над грудой старого тряпья, темные дороги, баранта, голые холодные скалы, дядя Хурам со своим пастишечьим посохом.

Там, на том берегу, пели и танцевали. Оттуда лились звуки рубоби, а вокруг него стояла тьма, которая как бы схватила его голову и плечи и давила его к земле.

Что ему до тех красивых девушек на том берегу? Перед ним прошло спокойное, освещенное каким-то внутренним солнцем лицо молодой горской женщины, звавшей его, стоя среди ветвей тута, прошло продолговатое, с ускользящими, чуть скошенными глазами лицо девушки из базарного кишлака. Что они ему? Жениться ему все равно нельзя. Где деньги на калым? Где его молодость, где его жизнь? Он вспомнил отца, и то, что тот убит в битве, сделало воспоминание тяжелым, вспомнил матушку Сафармо, и у него защемило сердце от тоски. Он не вспомнил Сабзбагор — цветок весны, свою сестру, потому что так давно не видел ее, что не мог бы узнать ее, даже если бы встретил.

И он снова посмотрел на заколдованный берег, полный голосов и музыки, которая побеждала шум реки. «А кто же там правит, — подумал он, — если нет там эмира и нет царя, как говорил субадор? Как же они живут без

мира и без царя? И живут хорошо, дружно, весело. А я?»

И как только он так спросил себя, он впал в тоску, раздиравшую душу. Ему стало так больно, что музыка и пение уже не подымали его куда-то в высоту и не радовали его, а стали непереносимы и болезненны, как будто кололи, как острием кинжала, его грудь.

И он закричал в простор ночи, чтобы там услышали:

— Прошу вас, не пойте, не танцуйте!

И хотя он кричал сильным голосом, но река заглушала его крик. И напрасно он кричал снова: «Пожалейте меня! Не пойте, не танцуйте, прошу вас!» Никто на том берегу, даже слыша крик, не мог бы разобрать, что кричит человек. И только скалы за его спиной отзывались, повторяя его голос, искажая его как нарочно, как будто издевались над его отчаянием.

И он понял, что он один среди ночи, на скале, над дикой рекой, и что темнота вокруг пялит на него черные глаза и смеется над его жалким криком. Он видел в этой тьме, там, где висела в воздухе козья тропинка, самые угрюмые лица ночных духов и среди них желтое, злое, перекошенное лицо субадора, пославшего его в эту пещеру демонов. Им овладела страшная ярость, и злоба, и страх. Ему показались, что все эти чудовища лезут на скалу за ним. И сейчас прыгнут на него.

Тогда он начал стрелять в эту тьму. Посылая выстрел за выстрелом, он приходил в себя все больше. И когда расстрелял всю обойму, ему стало почти спокойно, но он уже не смотрел на другой берег и был так взволнован, что не мог бы сказать, поют ли там еще или уже давно перестали. Он плакал от тоски и злости неизвестно на кого — от обиды за свою потерянную молодость.

Он не знал, сколько прошло времени, когда ему послышался далекий конский топот.

Потом еще шли минуты, он перезарядил карабин и встал у края площадки.

Кто-то, роняя камни, карабкался по тропинке. Но Худроут уже знал, что это не демоны, а люди. Он слышал знакомые голоса, в темноте перекликавшиеся у скалы.

Потом люди появились как-то сразу, и впереди них стоял субадор. Увидев Худроута, он осветил его фонари-

ком с ног до головы и спросил раздраженным и взволнованным голосом:

— Почему ты поднял тревогу? Почему ты стрелял?


И злым и тоже взволнованным голосом Худроут, ненавидя его и не скрывая этого, сказал:

— Не я стрелял — горе мое стреляло!

И, к его удивлению, субадор не ударил его, не набросился с руганью. Он был сам не очень храбр в этой непонятной тьме, в этом диком месте. Он только отступил от края площадки и хрипло сказал:

— Ух эти мне кугистанцы! Все они разбойники и воры!





## Г. Троепольский

### СОСЕДИ

Пожалуй, не каждый в селе скажет, где живет Макар Петрович Лучков. Но только произнеси «Макар-Горчица» — любой младенец укажет путь к его хате. Почему такое прозвище ему дано, не сразу сообразишь, но колхозник он по всем статьям приметный. Главное, работает честно. Пьянства за ним никогда не замечалось, но годовые праздники он справляет хорошо, прямо скажем, совсем не так, чтобы лизнул сто грамм — да и язык за щеку. Нет. Например, за первое и второе красное число майского праздника литра три-четыре самогонки он ликвидировал полностью. При этом говаривал так: «Попить ее, нечистую, всю, пока милиционер не нанюхал». И, правда, выпивал всю. Однако сам Макар Петрович никогда самогонки не гнал, а обменивал на свеклу без каких-либо денежных расходов. В компанию большей частью он приглашал соседа, Павла Ефимыча Птахина. В таком случае он говорил жене Софье Сергеевне:

— Сергевна-а! Покличь-ка Пашку-Помидора.

Та никогда не перечила — знала, что раз праздничное дело, то Макар обязан «попить все». Павел Ефимыч приходил. Приносил с собою либо бутыль, либо кувшин, заткнутый душистым сеном или чебрецом, завернутым в чистую тряпицу, и говорил степенно и басисто:

— С праздником, Макар Петрович!

Он ставил кувшин на лавку, снимал фуражку, разглаживал обеими руками белесые волосы, заправляя украинские усы, но пока еще не садился.

— С праздником, Пал Ефимыч! — отвечал Макар Петрович. — А что это ты принес, Пал Ефимыч? — спрашивал он, указывая на кувшин.

В ответ на это Павел Ефимыч щелкал себя по горлу и, широко улыбаясь, добавлял:

— Своего изделия.

— А-а!.. Ну, милости просим!

После этого Павел Ефимыч сажился за стол. Они пили медленно, долго. Два дня пили. Ложились спать, вставали и снова сходились. Начиналось это обычно после торжественного заседания, на которое, к слову сказать, ни тот, ни другой никогда не приходили выпивши. Наоборот, там они всегда сидели рядом в полной трезвости, следили за всем происходящим внимательно, с удовольствием слушали хор или смотрели постановку, а уходили оттуда уже в праздничном настроении.

Надо заметить также, что никто из них никогда пьяным не валялся. А так: чувствуют — захмелели, — переждут, побеседуют, попоют согласно, потом продолжают, но опять же по норме. Но при обсуждении любых вопросов они оба избегали в эти дни говорить о большой политике, даже если это относилось косвенно к разговору. Иной раз, правда, Макар Петрович и расходится:

— Я, Пал Ефимыч, пятнадцать лет работаю конюхом. Понимаешь: пятнадцать! — Он поднимал палец вверх, вздергивал волосатые брови, наклонял голову, будто удивившись, и сердито продолжал: — Были председатели за это время разные, но такого... Ты ж понимаешь, Пал Ефимыч, какое дело: конопля на путы не могут приобрести — из осоки вью путы. А? Свил сегодня, а через три дня оно порвалось. Я этих пут повил тыщи — счету нет. И просил, и говорил, и на заседании объявлял им прямо: «Что ж вы, говорю, так и так, не понимаете, что в ночном без пута — не лошадь, а обыкновенная скотина. Я ж, говорю, все посева могу потоптать». Где там! Не берут во внимание.

— Не берут? Ай-яй-яй! — поддерживал Павел Ефимыч.

— А вот если я, — горячился Макар Петрович, — напишу в центр: так и так, мол, из осоки заставляют путы вить, не могут гектара конопля посеять. Знаешь, что ему будет?

— Кому?

— Да председателю.

— А что ему будет, Макар Петрович? Он мужик неплохой.

— Осоковым путем да вдоль...

— Эге, Макар Петрович! Мы с тобой уговор имеем— при выпивке о политике ни-ни! А ты — в центр. Об этом надо в трезвости.

— И то правда,— успокаивался Макар Петрович.

Одним словом, в праздничные дни никаких разногласий у них не было. Даже если и возникал какой-нибудь спор (чаще со стороны Макара Петровича), то прекращался он как-то неожиданно.

— Ну об чем речь, Макар Петрович?— скажет Павел Ефимыч.— Да разве ж нам в такой праздник перечить друг другу? А?

Тогда Макар Петрович вдруг встряхивал головой, закрывал глаза и затыгивал сразу на высокой ноте:

— Шу-умел ка-амы-ыш, де...— тут он делал короткую паузу и набирал полные легкие воздухом, — ре-е-евья гну-у-улись!

А Павел Ефимыч склонял голову набок и подхватывал:

— ...де-е-еревья гн-ну-улись...

Люди услышат такое и говорят промежду собою: «Вот, дескать, по-соседски живут. Добрые соседи — Макар-Горчица и Пашка-Помидор. Добрые!»

Но как ни говорите, а это все одна сторона жизни. А вообще-то во многом у них с Павлом Ефимычем разница. И большая разница: и по характеру и по хозяйству. И к председателю колхоза относятся по-разному, что, как мы уже заметили, проскальзывает даже при выпивке, несмотря на обоюдный уговор.

И лицом они разные.

Макар Петрович усов не носит. Нос у него длинный, глаза чистые, светлые, прямодушные, а брови волосатые. Так что, если вы его встретите первый раз, то из-за своих бровей он покажется суровым; а взгляните ему в глаза получше — и вы сразу скажете: «Чистая душа — человек». И по обуви его можно приметить: на нем всегда сапоги сорок пятого номера, потому что ни в валенках, ни в ботинках в конюшне или в ночном работать не будешь. Росту он высокого, чуть сутуловатый и весь какой-то костистый,— сразу видно, что кость у него прочная, выносили

бая; на такую кость черт знает что можно навалить — выдержит. Нет, если разобраться до тонкости, то, ей-богу же, ничуть не зазорно, что Макар Петрович два дня в году пьет по-настоящему за все свои остальные трудовые дни.

Павел же Ефимыч, наоборот, усы, как уже известно, носит по-украински, а бороду бреет; глаза у него остренькие, серые, хитроватые, брови жиденькие; лицо круглое, красное, можно сказать, сдобное. За такое обличье он и прозвище получил в юности — «Помидор». Весь он круглый со всех сторон. Думается, положи ему мешок на плечи — соскочит. И руки у него не такие крупные, как у Макара Петровича. И обувается не так, как Макар Петрович: летом — ботинки солдатского покроя, зашнурованные ремешком, а зимой — валенки.

Кроме всего прочего, Павел Ефимыч совсем не курит, а Макар Петрович никогда не расстается с трубкой.

Теперь о хозяйстве. Главное, конечно, — корова. Корова была и у того и у другого. Но это очень и очень разные животные.

У Макара Петровича коровенка немудрящая. Ростом — подумаешь: телушка; длинношерстая, пузатая, но все-таки особенная. Не по молоку особенная, а по характеру. Иной раз взберется по навозной горке к самой крыше сарая, станет под солнышком и, пережевывая жвачку, смотрит на окружающий мир. Иногда ляжет на теплое навозе, который свален в кучу для кизяков. Лежит там и шумно пыхтит, закрывши глаза. Однако, если ее испугать — крикнуть или свистнуть, — то она бешено вскакивает и во всю мочь мчится, задравши хвост, вниз и дальше. В общем, корова нервная, с телячьим характером, — бывают такие коровы, хотя, правда, и редко. Сергеевна доила эту корову, только спутав ей ноги. Иначе, если и надоит какую пару литров молока, то коровенка обязательно разольет его одним выбрыком.

У Павла Ефимыча корова была самая обыкновенная: молока давала много, на навозную кучу не лазила, а по характеру была такая, что даже от ружейного выстрела не вильнет хвостом. Ну просто корова, в ней только и интересу — молоко. Может, конечно, кто-нибудь скажет, что это и есть главный интерес в корове — молоко. Так-то оно так, но не всегда. Более того, в этом самом вопросе между соседями были довольно большие расхождения.

Сидели как-то наши добрые соседи на завалинке рядом. День был воскресный. А в такие дни они частенько беседовали меж собою не только о каких-нибудь мелочах, а и о политике, и о коровах вообще, и о том, какой главный интерес в корове, в частности. Тут шел душевный разговор. Так было и в тот день. Макар Петрович подошел к хате Павла Ефимыча и сказал:

— Сидишь, значит?

— Сижу. Гуляй со мной.

— И то правда, отдохнуть.— Он сел и первым делом начал набивать трубку самосадам.

— И что ты ее, Макар Петрович, сосеешь, непутевую? — спросил Павел Ефимыч.— Курил бы хоть цыгарку. А то — ишь ты! — сипит, как форсунка.

Правда, когда Макар Петрович посасывал трубку, то она действительно «сипела». Но он возражал так:

— А что? То сипит смак, есенец самый. (Он иногда любил вставлять ловкие, по его мнению, словечки.) А что насчет цыгарки говоришь, то по душам скажу: не накурюсь я ею досыта.

— А не все равно?

— Э, не-ет. Цыгарка, та берет одну поверхность. А из трубки потяну — чувствую, берет. Если же еще приглотнуть малость, то и вовсе хорошо бере-ет! То есть самый витамин из трубки доходит, чувствую.

— Ну, кури,— согласился Павел Ефимыч.— Кури, раз душа требует. Само собой: кому что идет. Вот финагент наш тоже трубку курит.

Слово «финагент» сразу навело собеседников на размышления. Макар Петрович приглотнул из трубки и заговорил, будто продолжая когда-то начатый разговор:

— Дак вот я — о коровах. Это ж получается неправильно... И моя корова, по-ихнему, дает доход в три тысячи и твоя. И я за нее плати четыреста налогу, и ты за свою — четыреста. Возражаю. Это политически неправильно.

— А ты заведи хорошую, ярославку, как у меня.

— Э, нет, Пал Ефимыч. Я докажу. Я, может, и сам понимаю, что моя корова не соответствует действительности. Так. Но учти: ни свет ни заря я ухожу на конюшню, а затемно прихожу домой. Если же еду в ночное, то забегаю только поужинать. Сергевна тоже: раненько — в колхоз, а домой — вместе со стадом. Кто будет держать

уход за хорошей коровой? Некому. Девку замуж отдал, парень на сверхсрочную остался.

— А я что ж, по-твоему, не работаю в колхозе? — уже хмурился Павел Ефимыч.

— Работаешь, слов нет. Но ты же, Пал Ефимыч, даже от ездовой должности отказался — без коней на работу ходишь.

— А как же? У меня хозяйство — корова, овчки, куры, свинка, пчелки. Кто ж будет ухаживать?

— Нет, Пал Ефимыч, это в корне неверно. Алленка у тебя прицепщица, Володька — на элеваторе, на зарплате, сам — хочешь выйдешь на работу, хочешь — нет. Баба до минимума дошла, и хорошо.

— Это как то есть?

— А так: в хозяйство больше вникаешь. У тебя курс в личное дело.

— А ты дай мне десять рублей на трудовень. Может, я тогда...

— А где я тебе их возьму? — уже слегка горячился Макар Петрович.

— Не ты, а они.

— Кто — они?

— Ну, правление, что ли... Тот же председатель.

— Да что ж мы и есть! — воскликнул Макар Петрович и еще энергичнее потянул из трубки. — Все гуртом если, как один, на работу, тогда, может, и трудовень будет прочный.

— Будет! Держи карман шире, — осаживал Павел Ефимыч. — А тут, — он показал пальцем через плечо, во двор, — тут дело надежное. А налог — что? Купи хорошую корову — оправдает... Слов нет, налог, конечно, большой.

— Да мне больше четырех литров молока и не требуется. Зато моя корова — золотая по выносливости. Она и под кручу к речке сама спустится, напьется, сама же и выскочит обратно наверх — и во двор. А твоей надо носить воду за полкилометра.

Но Макар Петрович чувствовал, что говорит совсем не то, что надо, и от этого еще больше горячился. Однако настоящих слов для опровержения соседа не находил. К тому же, откуда ни возьмись, подошел финагент Слепушкин.

— Здоровы были, соседуски! — поздоровался он и

сразу раскрыл записную книжку. — До вас, Макар Петрович. Должок по налогу значит — триста.

А Макар Петрович и так уже был не в себе.

— Ты мою корову видал? — спросил он с сердцем. — За что я плачу? Она сама стоит семьсот, а за нее налогу четыреста. Аль вы не понимаете самого коренного вопроса?

— Не наше дело политику переначивать. Не нужна корова — продай. Мы должны личное хозяйство того... к уклону. И налогу будет меньше.

— Налог того... — вздохнул Павел Ефимыч. — Трудноват, конечно. Ну я-то расплатился.

— А я возражаю! — закричал Макар Петрович. — Поимания у тебя, товарищ Слепушкин, нету.

— Я что... Мое дело — взыскать.

— А! Взыскать! Ну взыщи, взыщи. Где я тебе столько денег возьму?

— Не знаю. Это не мое дело, а твое.

— Я тоже не знаю. Почему мало денег на трудодни дают? Я день и ночь работаю в колхозе. Я пятнадцать лет у коней живу.

— Вот я и говорю, — вмешался Павел Ефимыч. — Если на трудодень надежи нету, то без хозяйства нельзя.

— Как это так — падежи нету? — рассердился Макар Петрович. — Не в том дело. Председатель наш не соответствует действительности. Настоящего надо выбирать.

— Ну, это ты далеко заходишь! — возразил Павел Ефимыч, посматривая, однако, на Слепушкина. Он при этом подумал: «Передаст еще наш разговор председателю — хлопот не оберешься и отношение может попортиться».

— Не-ет. Не далеко захожу, а в самый раз. Ты ж понимаешь, товарищ Слепушкин: пута — несчастного пута! — не может организовать, вью из осоки. Разве ж с ним будет трудодень? — Макар стучал трубкой по ладони и говорил все горячее. — Я по любой подводе — приезжай она за сто километров — председателя узнаю. Узда хорошая, сбруя хорошая, путо на грядке привязано дельное — значит и председатель того колхоза дельный. А у меня сердце разрывается, когда я начну лошадей обрывать в тряпичные узды да осоковые путы вязать. Не можно так дальше! — воскликнул он. — Где я возьму, Слепушкин, денег? Негде.

Макар замолк неожиданно и засипел трубкой. Слепушкин не наседавал — знал, что Макар заплачет, — и тоже закурил и сосал трубку, но с удивительным спокойствием. А Павел Ефимыч кряхтел и потирал бока. Так же неожиданно Макар Петрович сказал:

— Заплачу. Нельзя не платить, сам понимаешь.

— А говоришь — где деньги взять? — уже с улыбкой спросил Слепушкин.

— Это не твое дело, а мое, — угрюмо ответил Макар Петрович.

— А и правда, Макар. Где ж ты столько денег возьмешь? — участливо спросил Павел Ефимыч.

— Я свою обязанность нутрем сознаю... должен я быть.

— То правильно. Хозяин знает, где гвоздь забить, — поспешил сосед.

— Знаю. Конечно, знаю. Но только, — он выпрямился, стукнул трубкой о колено так, что посыпалась зола с трубки, — только неправильно это. В корне неверно: и за твою корову четыреста, и за твою столько же, да прибавь еще за усадьбу. Ты, Пал Ефимыч, не обижайся. Но это интерес самого главного интересу в корове.

Павел Ефимыч и правда задумался. Посидел, посидел и наговорит:

— А кто ее знает... Оно, наверно, неправильно. Но ты же не Верховный Совет?

— Как так — не Верховный? Я — народ. Мы это понимаем. И там понимают. — При этом Макар Петрович качнул вверх трубкой. — Должны они правильную линию задумать. Там люди-то — во какие головы! — Он расшевелил руки над головой и добавил: — Ум! Если туда направить все это, товарищ Слепушкин, то поймут, ей-бо, Богу.

Но Слепушкин встал, попрощался и ушел, не говоря ни слова: он, видимо, боялся дальнейшего углубления вопроса. «Макар-Горчица наговорит, — подумал он. — Макар и секретарю обкома скажет, что захочет. С ним и справиться недолго».

А Макар Петрович продолжал свое:

— Если добавить про рваные узды да про осоковые буги — тоже поймут.

Павел Ефимыч явно не верил Макару Петровичу и тут же высказал это:

— Пока туда-сюда, то да се, а свое хозяйство надежнее... А там посмотрим.

— Ну посмотри, посмотри,— сказал Макар Петрович сердито. Он сдвинул брови, сунул трубку в карман, буркнул: — Прощевай покедова,— и ушел.

Вот так они поспорили и разошлись. Разговор, конечно, крупный, разногласия большие.

Обычно не проходило и нескольких дней, как соседи снова сходились, снова спорили и обсуждали. Но на этот раз Макар Петрович отпросился в правлении на два дня и, никому ничего не сказав, ушел ночью. Сосед вроде бы ненароком спросил у Сергеевны:

— Мужик-то где?

— В городе. Повел корову продавать.

— Корову! — ужаснулся сосед.— Продавать?!

— Продавать.

— И ты допустила?

— Обоюднo согласилась.

— А как же дальше?

— А там дело покажет,— уклонилась она от прямого ответа.

Павел Ефимыч покачал, покачал головой и ушел в задумчивости, тихо разговаривая сам с собою:

— Корову продавать... Продать корову... Мыслимое ли это дело — без коровы?.. А может, купит хорошую?.. Да где он денег-то возьмет!.. А? Как это так — продать корову!

Тем временем Макар Петрович продавал корову на базаре. Один базар прошел — никто не купил. Вывел на второй базар. Продавал он ее прямо-таки артистически.

— Ты подумай,— говорил он покупателю, такому же, как и он, костистому колхознику, но с окладистой бородой,— это ж не корова, а мысль! Корму ей — горстку, теплого не пьет — давай из речки или прямо колодезную, ключевую; холод ей нипочем. С такой коровой всей семьей в колхозе будешь работать, а молочка — само мало — четыре-пять литров в день. Молоко жирное... Смотри хвост — перхоть желтая! Ребром прочная. Корова ласковая, правильная корова: двор знает, шататься не любит. И не то чтобы тугососая, а в самый раз для бабьих пальцев сиськи приделаны. В самый раз. Все статьи правильные. Я бы се ни в жисть не продал, но финансовый мой вопрос не соответствует действительности.

А покупатель ходил вокруг коровы, щупал ее, гладил. Он уходил и снова возвращался, снова щупал и все повторял одно и то же:

— Не оманешь — не продашь... Не оманешь — не продашь...

Макар Петрович не возражал против такой базарной истины и говорил:

— Смотри сам! Свой глазок — смотрок, своя рука — правда. Рукой не пощупаешь да глазами не полупаешь — молочка не покушаешь.

Такие слова действовали на покупателя положительно. Он наконец решился приступить к пробе доения — самому важному во всей процедуре купли-продажи коровы. Тут совсем не то, как, скажем, купить автомобиль. Там так: паспорт сунул в карман, и давай газ. А тут — извините! Животное со своим индивидуальным характером, который может и соответствовать, а может и не соответствовать требованиям покупателя. И Макар Петрович понимал это отлично. Поэтому он, зная характер коровы, сказал вопросительно:

— А может, спутаем? На всякий случай.— И показал пuto, но не осоковое, а настоящее конопляное.

— А зачем? — будто удивился покупатель.— Разве ж она — того?

— Да не то чтобы того, а, как говорится, все может быть... Человек ты новый и, главное,— не баба. Коровы к бабе привычна. Сам знаешь, у нас с тобой дух такой есть, который корове не по нюху приходится.

— А може, без пута?..

Макар Петрович не ответил, а смотрел куда-то на чужую свинью, будто очень она ему понравилась. Покупатель же стоял в раздумье и говорил:

— Конечно, мужик — не баба, дух не тот.—Ему вдруг что-то пришло в голову. Он энергично почесал живот и произнес: — Не оманешь — не продашь. Давай без пута пробовать. Цена для меня подходяща, должен я пробовать по-всякому.

Макар Петрович гладил корову, уговаривал, заглядывал в глаза. Он чувствовал, что в решительный момент дойки она может подвести, а может и не подвести, в зависимости от настроения. И, конечно, при первой же попытке покупателя прикоснуться к соску последовал выбрык ногой...

— А она того? — ехидно спросил покупатель.

— Немножко того, — смущенно ответил Макар, опустивши руки и отдавшись весь на усмотрение покупателя. Больше ему уже нечего было говорить.

Прикоснуться к вымени корова не позволила ни разу.

— Ну, давай путай, — сказал покупатель.

После того, как задние ноги коровы спутали, он начал доить. И — удвительное дело! — корова стояла, как вкопанная: привычна к путу. Молоко зажурчало струйками. Макар Петрович слушал. Жжих, жжих! Жжих, жжих!.. — звенели струи о ведро. Грустно стало Макару Петровичу. Жжих, жжих! Жжих, жжих! — хлестало его что-то по самой душе. Он вздохнул и отвернулся, глядя на пожарную каланчу.

Покупатель напился молока, пробуя его медленно, с причмоком; при этом он, когда отрывался от ведра, смотрел в землю, будто сосредоточившись весь на ощущении вкуса. Так курильщики на базаре пробуют рассыпной самосад: затынется раз и стоит, потупившись, решая — «берет или не берет».

— Ну как? — тихо спросил Макар Петрович.

— Она хоть и того — насчет дойки, но зато молоко... вкусное, ох, вкусное!

— Не молоко, а форменные сливки, — уже веселее подтвердил Макар Петрович. — Ну, а насчет этого... путанья-то, как скажешь? Не купишь, наверно? — почти уныло спросил он.

— Оно, вишь, какое дело, — заговорил скороговоркой покупатель, — я тебе прямо скажу. Была у меня корова. Та, батенька мой, как зверь: ка-ак даст, даст! И ведро летит, и баба — с копыльев долой. Во какая была корова! А эта стоит, спутанная, смирно. Этак можно. Вполне выносимо. И цена подходящая, а это главное дело. Уступишь сотню — возьму корову.

Но Макар Петрович уступил только четвертную. Сладили они за семьсот рублей и по семь с полтиной на магарыч с каждого. Макар Петрович и не хотел тратить деньги на магарыч, но правила того требуют — выпили по сто пятьдесят граммов.

И вот уже поводок обрывка, накинутого на рога, оказался в руках нового хозяина. Вот он повел корову по базару. А вскоре и совсем скрылся в толпе. Но Макар Петрович, прижимая карман с деньгами, все смотрел и смотрел

рел в гущу базара. Базар шумел. Урчали автомашины, мычали коровы, блеяли овцы, хрюкали свиньи, кричали, споря, городские торговки. Продавцы и покупатели торговались то слишком громко, с азартом, то, наоборот, почти молча, перебрасываясь односложными замечаниями. И все эти звуки сливались в общий гул. Вдруг вырвался из общего гомона поросычий визг и долго висел над толпой, пронзительный, истощный, висел до тех пор, пока новый хозяин не засунул поросенка в мешок. Зато на смену визгу взвился аккорд гармони. Невидимый гармонист ударил «Барыню», хлестнул по толпе перебором, и кажется, пошла плясовая и над головами и под ногами, подталкивая к переплясу. Какой-то подыгивавший колхозник, видимо удачно закончив продажу, рывком положил одну ладонь на затылок, вытянул другую перед собой и забарабанил каблучной дробью так, что из-под сапог пыль полетела клубом! Макар Петрович даже и не повернул головы в сторону плясуна, хотя и был от него близко. Потом замолкла и гармонь. Базар шумел и шумел. Мощный радиорепродуктор тоже говорил в тон общему гулу, перекрывая все. Но вдруг из того же репродуктора заструились звуки хорошей, сердечной музыки. А Макар все стоял и стоял неподвижно и все смотрел и смотрел в ту сторону, куда увели его корову. Он видел громадную толпу, в которой смешались люди, лошади, коровы, автомашины... Кому какое дело до того, что Макар Петрович продал корову? Никому.

А базар все шумел. Макар Петрович стоял, опустив голову. Кто-то толкнул его мешком. Он оглянулся. Высокий и сильный парень в новеньком ватнике, сердито глядя на Макара, выразился непристойно и добавил для пояснения:

— Что стоишь на дороге? Забыл, что базар? Ишь нализался?

Но Макар Петрович был совершенно трезв. Он посмотрел своими светлыми и добрыми глазами на парня, поднял мохнатые брови и сказал безутешно:

— Я, брат... корову продал...

— Видишь ты, дело-то какое! — участливо сказал парень, поставив мешок на землю. — Дошло, что ли? Или заменять думаешь?

— Как тебе сказать... Финансовый мой вопрос не соответствует действительности.

— Аль ваш колхоз бедный?

— По правде сказать — плохой.

— Понятное дело! Отсюда и финансовый вопрос.

— А ты откуда? — спросил Макар, совсем не обижаясь на первые ругательства парня.

— Из Алешина. Колхоз Чапаева слышал?

— Слышал. Это у вас по семь рублей на трудодень?

— У нас. Да еще по три кило хлеба. А ты откуда?

— И зачем тебе, паря, знать? Не желаю, чтобы ты и знал. Плохо у нас, председатель не соответствует...

— Ну хоть скажи, по сколько денег дали на трудодень?

— Дали... по сорок копеек, — смутился Макар.

Парень рассмеялся громко, на весь базар. Он присел на свой мешок и сквозь смех говорил:

— Какого же вы черта сами-то смотрите! Небось по хатам отсиживаетесь да за личное хозяйство зубами уцепились. Кто их вам привезет, деньги-то? Вы же без настоящего колхоза посохнете, как подсолнечные будыли перед зимой.

— Это ты, паря, не мне говори: я, брат ты мой, пятнадцать лет конюхом работаю. Изю дня в день работаю. Не обижай так-то.

Макару Петровичу очень хотелось поговорить. Но парень поднял мешок на плечо и, уходя, сказал уже без смеха:

— Десятеро будете работать, а сто в окошко выглядеть — ничего у вас не будет.

— Да ты постой, постой!

— Некогда мне с тобой... с сорокакопеечным. Ты корову продал, а я четыре тыщи за пшено наторговал — последний мешок несю на весы.

— Правда?!

— Аль тебе денег дать? — шутил парень. — Не да-ам. Сами делайте. Мы за таких, как ваш брат, четыре года поставки выполняли. — Потом обернулся и добавил душевно: — Да ты не обижайся. Может, и наладитесь.

Макар пробовал идти за ним и говорил:

— Ты ж учти: ты ж мне громадное дело сказал. Я, понимаешь...

Но тот уже нырнул в толпу и вскоре скрылся из виду.

Макар Петрович теперь всматривался в толпу, различая каждого. Для него это была уже не безликая масса

людей, снующих между бричками или продающих. Вот в рваном колушке стоит совсем не старый колхозник и продает двух кур, которых держит подмышкой. «Сорокакопеечный», — подумал Макар. А вот румяный мужчина — фуражка набекрень — держит целую связку разной мануфактуры и две пары новеньких сапог и спокойно смотрит на Макара. «Семирублевый», — решил он. — Накупил, как... (он мысленно никак не находил подходящего слова) ...как юрист», — заключил Макар Петрович. Но мысль эта была не только беззлой, а скорее доброжелательной.

Вечером того же дня Макар приехал с попутной автомашиной домой и зашел в хлев. Грустным бывает хлев ночью, когда там никто не дышит — ни корова, ни овца. Пусто было и внутри, что-то сосало под ложечкой, и в ушах все звенели струйки: жжих, жжих! жжих, жжих!.. Макар только сейчас почувствовал, что он с самого утра ничего не ел. И сразу же решил мысленно: «Человек, который голодный, веселым быть не может».

Он вошел в хату.

Сергеевна обрадовалась и воскликнула:

— Да где же ты пять дней пропадал?

Он ответил не сразу. Разделся, повесил фуражку на гвоздь, осмотрел хату, сел за стол и только после этого ответил:

— Два базара продавал.

— И что же?

— Да такую корову где хошь продать можно.

— За сколько же?

— За семьсот.

— А не дешево?

— Какая сама, такая и цена. На базаре цены не продиктуешь. Покупатель-то, сама знаешь, прахитованный пошел.

Сергеевна собрала ему на стол еду. Он съел полную миску борща, такую же миску каши. После этого по привычке протянул руку к полочке, что висела над столом, — там всегда стояла литровая банка молока, приготовленная для хозяина к ужину из вечернего удоя. Макар машинально взял эту банку и поставил на стол. Банка была пуста. Он торопливо сунул ее обратно на полочку.

Сергеевна посмотрела на него и вдруг, приложив фартик к глазам, заплакала. Макар Петрович крякнул и

встал из-за стола. Он постоял в раздумье перед Сергеев-ной, глядя в пол, потом поднял на нее глаза и заговорил:

— Ты, слышь, Сергевна... Ты этого... брось. Гляди на меня, что скажу.

Сергеевна подняла лицо и посмотрела ему в глаза. Она любила эти прямодушные глаза своего Макара, глаза, в которых видна вся его душа.

— Проживем, Сергевна, — утешал он. — Я тебе докажу, как пять пальцев. Парнягу я одного встретил, из «Чапаева». Алешино знаешь?

— Знаю.

— Оттуда он. Четыре тыщи за пшено натерговал. Во! У них семь рублей и три кило на трудодень. Во, Сергевна! Ты прикинь сама. Я-то доро́гой сосчитал. Если на наши с тобой восемьсот трудодней по три килограмма да по семь рублей, то слушай: пять тыщ шестьсот рублей чистых денег, да хлеба можно двенадцать центнеров продать. Допустим, это будет просо. А мы его таким манером на пшено перерушаем... Это тебе, само мало, сорок пудов пшена, или четыре тыщи. Да там пять тысяч шестьсот. Это сколько будет? Без малого десять тысяч. Во, Сергевна!

— Да ведь это ж в «Чапаеве». А мы-то с тобой триста двадцать рублей за весь прошлый год получили.

— Ага! Поняла? Сорокакопеечный наш колхоз! Без настоящего колхоза нам — труба. Корень-то у нас с тобой в колхозе.

— В колхозе, Макар. Правда.

Легли спать они все-таки в раздумье. Макар долго не мог уснуть и время от времени говорил:

— Я им, сукиным сынам, сделаю стыдно.

Или так:

— Я тебе покажу, как каждый день водку глушить... Праздников не понимаешь, толстый черт...

Потом помолчит, помолчит и снова:

— Мыслимое дело: за пшено — четыре тыщи! Значит, там у них все соответствует действительности.

— Да спи ты, неумный, — засыпая, увещевала Сергеевна.

А он свое:

— Эх! Про путы у него не спросил. И про сбрую бы надо... Убег от меня... «Сорокакопеечный...»

Так он и уснул с этими мыслями, вернее — с одной мыслью, которая засела у него в голове гвоздем.

...Рано утром следующего дня Макар пошел, как обычно, на конюшню. Несколько часов подряд он ворчал, преклинал кого-то, а больше отводил душу на других двух конюхах:

— У вас всегда так: уйди на два дня, так вы навозом обростете. В дверях — куча навоза, в стойлах мокрость развели. Иль уж у вас понятия о порядке нету? Ну что стоишь, чешешься! Чисти хорошенько!

Макар увидел во дворе председателя колхоза Черепкова.

Низкого роста, пузатенький, председатель стоял посреди двора и отчитывал доярку:

— Ты мне дай рекорд хоть с одной коровы. Другим уменьши норму, а с Милки дай пять тысяч литров. Безобразие! В прочих колхозах по две-три коровы дают рекорды, а у тебя хоть бы единственная...

— У нас стойла развалились, где уж там до лекорда! — возразила доярка.

— Я тебе не о стойлах... Мне в район стыдно показываться. «Лекорда!» Даже слова этого не сумеешь сказать... С вами надоишь пять тысяч.

Тут подошел к нему Макар Петрович и без обиняков сказал, указывая на конюшню:

— Так и в зиму пойдем? Крыша-то горбом осела: перекрывать надо.

— Надо, — ответил тот, глядя на Макара снисходительно и покровительственно.

Но когда Макар Петрович почувал от председателя запах водки, то и совсем осерчал.

— А это что? — показал он рваное осоковое путо. — Что это есть, товарищ Черепков?

— Трава, — ответил тот все тем же тоном.

— Срам это для колхоза. И это срам на весь район. — Он показал рваную узду.

— А что ж, я тебе еще путами да уздами буду заниматься? У меня хлопот полно: досок достань, гвоздей достань, в поле досмотри... За вами такими — глаз да глаз...

— Ага, — сказал Макар Петрович. — Досок достань, гвоздей достань... водки достань.

— Как ты сказал? Как сказал? — вскипятился председатель.

— Как сказал, так и вылетело... Не воробей — не поймашь. Меня теперь хоть в морду бей — я сказал.

Председатель молчал, что-то соображая. А Макар заговорил быстро, отрывисто:

— У людей... по семь рублей на трудовень, а мы... мы прошлой осенью всю овощь поморозили. У людей по три килограмма, а у нас подсолнух поперел. А ты водку глушишь... Веры в тебе нету, веры нету, председатель... У самого у тебя нету веры... А это мой корень.— Макар сбился с тона, заговорил тише:— Мы ж так дальше не можем... А ты — водку...

Черепков вдруг выпалил:

— Дали тебе прозвище «Горчица» — ты и есть горчица! Указывать — вас много, а работать — «выходи десятый». Ишь ты! Что ты понимаешь? Я директором маслозавода был! «Верь!» Тебя отпустили на два дня, а ты прошатался пять дней. Я т-тебе пропишу «веру».

Макар стоял и смотрел в упор на Черепкова. Удила рваной узды позвякивали той же дрожью, что и Макар. Он неожиданно опустил голову вниз и тихо проговорил:

— Я, брат... корову продал... А ты — водку...

Он вдруг резко повернулся и зашагал к конюшне. Там он зашел в лошадиный станок и оперся грудью о перекладину. Лошадь позернула к нему голову и потрогала за щеку мягкими, как бархат, губами. Макар повернулся к ней, погладил, обошел ее вокруг и дрожащей рукой потрепал холку.

Вскоре было заседание правления. Стоял вопрос об отводе из конюхов Макара Петровича Лучкова за прогул. Макар сидел в углу со связкой узд и пуг. В полутемном углу лица его не было видно. Когда Черепков объявил вопрос о Лучкове, то и тогда Макар не пошевелился. Но вдруг он услышал голоса:

— Это кого? Макара Петровича?!

— Да он пятнадцать лет...

— Лучшего колхозника у нас и нету!

— Как это так — Макара...

Все присутствующие загалдели, перебивая друг друга, говорили с возмущением. Кто-то крикнул:

— Человек корову продал!

Черепков чувствовал себя явно неловко. Он наконец

понял, что хоть и председательствует больше года, а Макара Лучкова не заметил. Торчит человек целыми днями в конюшне, сует всем к носу осоковые путы — и все: А черт его знает, какой он! Что у него дома? Чем он дышит? До всего этого Черепков не дошел. Он навел порядок и обратился к Макару Петровичу:

— Что ты скажешь, Лучков?

— Ничего не скажу,— ответил тот.

— А если снимем?

— Я с конюшни не пойду,— ответил он угрюмо.— Я без коней не могу.

Конечно, Макара не уволили. Даже и вопроса этого не обсуждали, а просто взгальделись еще раз дружно и сняли с повестки дня, без последствий. Но когда все притихли, Макар Петрович встал. Он подшел к столу, положил связку рваных узд и истрепанные осоковые путы перед счетоводом и, не глядя на председателя, сказал:

— Заприходуй амуницию. Пушай потомство в музей изучает. А я вам сделал стыдно: для своих закрепленных лошадей купил узды новые и веревку для пут. Новое стоит оно сто восемьдесят рублей. Отдадите деньги — хорошо, не отдадите — еще лучше: стыда больше.— Тут он выволок из угла мешок, развязал его, вынул несколько ременных недоузdkов, показал всем при общей тишине, затем снова все запрятал, взял мешок подмышку и вышел.

Все долго молчали. Курили и молчали. Молчали и курили. Кто-то наконец сказал:

— Давайте расходиться.

— Давайте,— поддержало несколько голосов.

Заседание закрылось само собой. Так бывает всегда в любом колхозе, когда дело заходит в тупик. А счетовод — пожилой, симпатичный человек с поднятыми на лоб очками — обратился к уходящим, минуя взглядом Черепкова:

— Куда же я буду девать... амуницию?

— Сказано — в музей,— ответил совсем дряхлый дед.— Напиши год, число и в царствие какого председателя.

Черепков пробовал встать, но почему-то не решился.

— А мы где? А вы где, товарищи правленцы? — вскричал счетовод.— Копейку добыть не умеем, а добудем — беречь не умеем. У меня с вами за каждую сотню рублей война, а на дело денег нет.— Теперь он смотрел

только на председателя.— Глазу у нас хозяйского нету, а от этого и касса как решето.

— Ну, разошелся,— оборвал его председатель.— Слышал твою ноту. Ты и в хозяйстве развернуться не даешь.

— Брошу! Ей-богу, брошу! Лучше в тюрьму сажайте, а брошу! — счетовод хлопнул книгой о стол, сунул ее в ящик и вышел.

Черепков остался один. Он сидел за столом и стукал карандашом.

Вот ведь, товарищи, что может натворить корова Макара Петровича! Помните, мы говорили о том, что интерес в корове — только молоко? А оно вои что вышло. Не продай Макар корову — может, и не было бы всего того, что произошло на этом заседании. Однако теперь не вернешь, корова продана. Макар Петрович, конечно, уплатил остаток налога — триста рублей, а остальные деньги отдал Сергеевне, в том числе и полученные от правления за «амуницию», всего — четыреста рублей. Из этих денег Макар Петрович не пропил ни копейки. Да и никогда он не тратил денег на водку, а употреблял, как мы уже знаем, местного изделия — только в особо торжественные дни.

Подходила осень. Лошади стали шерстистые, а поэтому и хлопот с ними стало больше, на одну только чистку надо два-три часа. В ночное ездить перестали — значит четыре раза задай корму да воды накачай вручную два раза в день на двенадцать голов. Это ведь сказать только легко! Да конюшню вычистить утром и вечером. Очень много работы у колхозного конюха. А день стал меньше. Приходилось Макару Петровичу выходить из дому задолго до рассвета, а возвращаться домой совсем поздно, с фонарем. Но чем ближе к осени, чем больше работы в конюшне, тем как-то живее он становился. К соседу Павлу Ефимычу Птахину он забегал лишь изредка и то только в тех случаях, если тот сидел на завалинке.

— Зашел бы, Макар Петрович! — окликнул он однажды.

— Здорово, Пал Ефимыч! Некогда мне. Ну, чуть посижу, на полтрубки — не больше.

— Значит, хлопчешь? — как-то неопределенно и, как показалось Макару Петровичу, с чуть заметной улыбкой спросил сосед.

— Хлопочем. Как же, хлопочем. Скоро осень. Это, брат, время важнецкое.

— А авансу и по килограмму не дали.

— Должны дать.

— Ой ли?

Макар вместо ответа сказал:

— На отчетном председателя надо менять. Не соответствует.

— Мне какое дело, какой там председатель! Что ни поп, то батька. Этот нехорош, да известный характером... Потрафь ему — и порядок! А другой-то неизвестно еще — то ли лучше будет, то ли хуже. Сколько их было-то? Не меньше, как десять аль одиннадцать.

— Рассуждение у тебя, Пал Ефимыч, не в ту сторону. Без настоящего колхоза нам никак невозможно. А председатель — всею голова.

— А этот разве не голова? А что водочку любит, дак то не вещь. Кто ее не любит! Оно даже нам и сподручнее.

— Ка-ак? — удивился Макар Петрович.

— Я, к примеру, хочу в лес поехать, — продолжал Павел Ефимыч. — Что я должен делать?

— Ну?

— Ясно, перво-наперво — достать подводу. У иного председателя умри, не выпросишь, а нашему «полмитрича» поставил — и с богом! Насчет этого он простой человек, обходительный... И сенца можно добыть таким манером побольше. По мне — он неплох.

— А по мне — дрянь! — воскликнул Макар Петрович.

— Опять свое! — развел руками Павел Ефимыч. — Ты покорись ему. Покорись, Макар Петрович. Позови, угости, помирись. Чего ты встрял против него?

— Ты ж пойми! Нам голова нужна для колхоза, а не пивной котел. Пропадем мы этак. Что ж ты-то думаешь?

Павел Ефимыч не ответил, видимо оставаясь при своем мнении. Он помолчал немного, подумал, а потом сказал:

— Опять же вот морозы пойдут — плохо это. И дожди если — тоже плохо.

— Это что же так: и морозы — плохо, и дожди — плохо?

— Дожди если — хлеб попреет в ворохах, а морозы — всёй овощи могила.

— А ты не допускай.

— А при чем тут я?

— Не допускай,— повторил Макар Петрович.— Тормози председателя, сам работой понатужней.

— Иль ты, Макар Петрович, думаешь, мне дома делать нечего? — спокойно возразил Павел Ефимыч.— В колхозе я и так работаю по силе возможности.

После этих слов Макар Петрович встал. Полтрубки времени уже проходило, а опровержение соседу надо было дать, без этого он уйти не мог по своей натуре. Он посмотрел на соседа и неожиданно сказал:

— А ну встань, Пал Ефимыч.

Тот хотя и в недоумении, но встал. Макар Петрович нагнулся над тем местом, где сидел сосед, как бы вглядываясь, и сказал:

— Нету червонца — не высидел, Пал Ефимыч. Садись еще. Да всей мякотью прижимай — может, десятку на трудодень и высидишь.— И ушел.

А Птахин стоял в ошеломлении и только произнес:

— Горчица и есть горчица.— Помолчал, почесался и добавил: — Каплю ее в рот положи, а она тебе и в нос шибает и в глаза бьет.— Но сказал он все это тихо, про себя, — Макар Петрович не слышал.

Тот шел и тоже про себя бурчал:

— Помидор и есть помидор. Сидит, округляется, наливается, зреет, сукин кот. Три выходных в неделю — два дня на работе, один день дома.

Долго после этого разговора они не сидели рядом на завалинке. Встретятся, поздороваются — и дальше. Что-то такое похожее на настоящую ссору и недружелюбие началось меж соседней, началось и все углублялось. Больше того, даже и бабы ихние поссорились из-за пустяка: петух на чужой насест сел.

Дело с этим петухом получилось так. У Павла Ефимыча — как на грех! — петух подох. А Макаров-то петух, как птица, всегда охочая до чужих кур, стал кое-когда садиться на чужом дворе ночевать. Он, петух-то, небось так думает: чтобы не обидно было всем курам, сегодня сяду там, а завтра тут. Может, он и прав — определить трудно. Но ведь это же суший пустяк! Это же обыкновенный птичий вопрос, не стоящий выеденного яйца. Ни в жизнь не поссорились бы жены соседней, если бы между мужьями не пробежала кошка. А петух взят, можно сказать, для придиру. Макар Петрович все это понимал и даже

однажды, при очередном препирательстве соседок, сказал так:

— Петух — птица нахальная. Курица — глупая птица. Или вы хотите, чтобы я сказал, что и бабы похожи на них? Брось, Сергеевна, в глупости вникать.

Сергеевна немедленно ушла от плетня. Но Степановна — жена Птахина — еще долго кричала:

— Если у нас беда случилась — петух подох, то вам и горя мало. А еще соседи! Жалко им петуха на время дать — попользовать для чужих кур. Не отвалится ничего у вашего петуха! Он и петух-то, ни к чему не способный, — разве такие бывают петухи!

— А ну, наддай, наддай, Степановна, подбавь перцу! — пошутил Макар Петрович и, сняв петуха, вошел во двор к соседу. Он посадил петуха на их насест и сказал Степановне:

— Когда купите кочета, они подерутся с моим и разойдутся по своим супружницам. Только и делов.

— На что он нужен мне, твой петух! Куды ты его принес?! — надрывалась соседка. — Не желаю твоего петуха пользоваться.

— Цыц! — рыкнул басом Павел Ефимыч на жену, выходя из хлева. — Пушай сидит, где ему хочется.

Соседи поздоровались и разошлись. Нет! Нету былой дружбы, а одна неприятность. Чем бы все это кончилось, трудно сказать; какую линию взяла бы эта ссора, тоже предположить невозможно. Но очень уж к тому времени великие дела стали твориться на селе, чтобы разногласие соседей нельзя было забыть.

В воскресный сентябрьский день Макар Петрович шел из правления с газетой подмышкой. Шел быстро, непохоже на свою походку, будто боялся опоздать. Завернул он прямо к Птахину во двор, минуя свою хату. Тот тесал какой-то кол и обернулся не сразу. Макар Петрович зашел ему наперед и, постукивая громадным пальцем по газете, спросил:

— Слыхал, Пал Ефимыч?

— Чего там? — Он воткнул топор в бревно и выпрямился. Вся его фигура говорила: «Опять пришел, Горчица».

— Ну, брат ты мой, и головы там! — Макар Петрович развернул газету и стал читать вслух.

Читал он, правда, медленно, но правильно, с толком, поймет и малый ребенок. Птахин от удивления встал. Макар Петрович тоже встал, не отрываясь от газеты.

— А ну, дай-ка, я сам почитаю,— неожиданно сказал Птахин.

Они сели теперь уже на бревно, прямо среди двора. Птахин читал тоже не очень бойко. Он время от времени останавливался, поднимая палец вверх, давая себе поразмыслить. Потом снова читал Макар Петрович. Потом — опять же Павел Ефимыч. В течение трех последующих дней они несколько раз сходились уже поздно вечером и снова читали. Газета уже разлезлась по складкам, но ее склеили и знали точно, что там написано, под склейкой. И снова и снова принимались читать и обсуждать.

— Я тебе говорил, Пал Ефимыч: там надумают?

— Говорил. Правильно, говорил. Не отрицаю.

— Я ж тебе и еще скажу: там они мою душу чувствуют.

— И мою! — тыкал себя в грудь Птахин.

— И твою,— согласился на радостях Макар Петрович.— Тут и тебе хорошо и мне ловко. Значит, теперь получается так: заплати налог с сотки — и крышка. Есть у тебя скотина, нет ли скотины, хорошая у тебя корова или плохая — не важно. Сотка определяет налог. И до чего же это правильно!

— И не только в том, Макар Петрович. А льготы-то какие! Налогу вполонину меньше, молока — вполонину. Да все напололам меньше.

Что-то такое сблизило соседей: это была общая радость, общая уверенность в лучшем, общая благодарность правительству и партии. Оба соседа неразлучно посещали собрания, где ставились доклады о решениях сентябрьского пленума ЦК партии, а после собраний усаживались на завалинку и засиживались за полночь. Днем им невозможно сойтись, потому что Макар Петрович все время был в конюшне и работал там с особым усердием. А Павел Ефимыч ни с того ни с сего частенько стал наведываться в город и наконец привез какие-то железные трубы. Вскоре и Макар Петрович отправился в город и привел очень хорошую телушку — породистую, смирную, ласковую. Для этой покупки он прибавил к своим четыремстам рублям аванс, полученный из колхоза на трудодни. Казалось бы, пришел мир между соседями:

главный спорный вопрос решен. Но опять-таки получилось не так.

Однажды вечером сидели они, как и полагается, на завалинке. Сидели и беседовали. По улице «шла гармонь». Девчата и парни пели частушки непрерывно. Сначала наши соседи не слушали песен, увлекшись беседованием. (Макар Петрович рассказывал о том, какой плотой характер у его телушки, и убеждал соседа в том, что характер у скотины — это тоже очень большой интерес.) Но когда молодежь поравнялась с ними, девичий валес под переборы гармошки пропел:

Ой, товарищ Черепков!  
Разведем теперь коров.  
А еще будем просить,  
Чтоб и сено нам косить.

— Слышь, Макар Петрович, что поет моя Аленка?

— А к чему это она? — не сразу сообразил Макар Петрович.

— Они, слышь, все наши пересуды в песни складывают. Значит, я и говорю: скотину разведем, слов нет, но корму нам надо теперь много. Вот, к примеру, про себя скажу. По уставу я буду иметь корову, телку, овец... — Тут он подумал немного. — Овец десяток, пчел, скажем, ульев пятнадцать, свинью, допустим, кормленую да поросенка малого на смену... Свинью забил — поросенка корми... Налог все равно такой же, имей я или не имей ничего. Значит, тут еще бы остается так сделать: половину лугов колхозу, а половину — нам.

Макар засипел трубкой.

— Эге-е! Во-он ты что-о! — Он подумал и вдруг с усмешкой сказал: — Ты ж воды не натаскаешься на такую ораву скотины.

— А я и таскать не буду. Я трубчатый колодезь прямо во дворе пробью. Трубы и насос уже купил. Ясно, разве ж мысленно бабе столько воды носить. Ей и без этого теперь в колхозе не придется работать, дома хватит по горло.

— Как так не работать? — вскочил Макар Петрович.

— А так, что и самому теперь придется подумать: то ли пойти, то ли нет.

— А ты читал, как написано? Там сказано: кто не

будет работать в колхозе — налогу больше на пятьдесят процентов.

— Это написано неправильно.

— Как неправильно?

— А так — неправильно. Не разорваться же мне на двое — и там и тут.

— А! Вон как! — Макар то заходил на одну сторону от соседа, то на другую, а тот поворачивал за ним голову, не видя его лица в темноте. — А! Вон как! Значит, и от колхоза и от правительства тебе все дай, а ты колхозу — ничего! Ты что? Ты что? — все больше горячился он. — Ты ж говорил, что тебя они понимают. А сам-то ты их понимаешь? Ты куда гнешь?

— Но! Раскричался, как на пожаре.

— И буду кричать! На собрании даже буду кричать: Пашка-Помидор не в колхозе хочет разводить скотницу, а у себя во дворе:

— Да ты пойми, садова голова! — уже с сердцем говорил Павел Ефимыч. — Если будет большой трудодень, я, может, тогда и сокращу скотину, а сейчас буду разводить.

— А! Ждать будешь, когда другие добьются большого трудодня. Не-ет! Не будет так, кричать буду! Я твою внутренность увидал. Всю, как есть, увидал. У тебя корень во дворе, а сухие сучья в колхозе.

— Ты что кричишь на всю улицу! — рыкнул вдруг Помидор. — Что кипишь, Горчица?! — И придвинулся вплотную к Макару.

Тот не отодвинулся ни на сантиметр и воскликнул:

— Где же твоя совесть колхозная, чертов Помидор!

— Горчица! — сказал Птахин.

— Гнилой Помидор! — сказал Макар Петрович.

— Я еще за петуха с тебя стребую: твой петух моему голову всю раздолбал — нового опять покупать. Я еще...

— Возьми и моего петуха, черт с тобой! — Макар добавил пару крепких, неписанных слов, плюнул и ушел домой.

Вот ведь как оно получилось! Никогда так не было, никогда не ругались так, чтобы бросать друг другу прозвище в глаза.

Больше того, доподлинно известно, что Птахин ходил к председателю колхоза Черепкову, с которым у него сложились неплохие отношения, и говорил ему, что

«Макар-Горчица стоит против сентябрьского пленума и не дает ему разводиться скотину». Известно также, что Макар Петрович посетил секретаря колхозной партийной организации и сказал так: «Пашка-Помидор — гнилой колхозник, и он, Помидор чертов, не соответствует действительности».

Если ко всему этому добавить, что болтает народ, то просто невозможно предположить, во что выльется вся эта заваренная каша. А народ вот что промеж себя говорит: будто между председателем колхоза и секретарем партийной организации — большая неприятность; будто насчет председателя имеется в районе нехороший слух и что его будут заменять на непьющего или хотя и пьющего, но по норме, а не без числа. А еще был слух — это уж точно, — что Макар Петрович самолично ходил к секретарю райкома партии и полчаса разговаривал с ним о председателе колхоза; один ходил, по своей воле, взял палку в руки и пошел, как в свое правление. Что ж, все это могло быть — народ зря болтать не будет.

На Октябрьскую Макар Петрович выпил, как и требуется, — за два дня «попил все» и кричал в колхозном дворе, что он и в область мог бы пойти, да смыслу нет — в районе тоже не дураки: «политику знают и Макара понимают». Но ни он не пригласил Павла Ефимыча в гости на праздник, ни Павел Ефимыч не позвал Макара Петровича. Даже кланяться друг другу перестали. Вот до чего дошел конфликт! Так продолжалось до самого отчетного собрания.

А там получилось у них несколько иначе.

Когда открыли собрание, то Птахин посмотрел, кто сел с ним рядом. Оказалось — Макар Петрович! Он пришел перед самым открытием, потому что задержался на вечерней уборке в конюшне. Они оба так привыкли к своим местам, что независимо друг от друга оказались рядом.

Председатель колхоза Черепков отчитался. Все цифры, конечно, запомнить нельзя, но то, сколько выдали на трудодень и сколько еще будут давать за этот год, было очень ясно: получилось по два с половиной килограмма пшеницы и по семьдесят копеек на трудодень. Это уже хорошо. Докладчик напирал на то, что он добился высокой оплаты хлебом, он «наметил дальнейший рост зажиточной жизни колхозников». Но Макар Петрович просто перебил его и, не вставая, прокричал:

— Правительство с нас половину поставок скостило, а то бы ты дал нам «зажиточную»!

Ну, конечно, тут все немножко посмеялись, и многие сказали себе под нос: «Макар-Горчица высказался правильно». Потом обсуждали доклад, ругали правление, говорили, как надо действовать дальше. Когда всё переговорили, то председателя сняли уже без всякой критики; просто кто-то из задних рядов сказал: «Заменять надо» — и все дружно согласились. Черепков посматривал на Птахина, ожидая поддержки, но тот так и промолчал.

Но когда выбирали нового председателя, то вопросов ему было несть числа: сколько лет от роду, сколько имеет детей, разводился ли с женой, сколько классов окончил, как насчет водки — с утра пьет или только вечером, в нерабочее время; где работал, почему ушел оттуда, и много, много других вопросов. Час целый отвечал кандидат на вопросы. Человек он, видать, скромный, в гимнастерке, с виду суховатый, но голос твердый. И фамилия, как показалось Макару Петровичу, подходящая, простая — Телегин, а зовут — Петр Иванович. Из ответов выяснилось: окончил семилетку, работал после этого бригадиром восемь лет, заочно кончил сельскохозяйственный техникум; значит, теперь по званию — агроном со средним образованием.

— Я, — говорит Петр Иванович, — от вас и живу-то не особенно далеко — из Алешина я...

Тогда Макар Петрович вскочил и спросил:

— Из Алешина?

— Из Алешина.

— Из «Чапаева»?

— Из «Чапаева».

— Это у вас по семь рублей и по три кило на трудодень? — продолжал Макар Петрович.

— У нас.

Все притихли, затаив дыхание, и слушали вопросы Макара Петровича и ответы Петра Ивановича.

— Значит, я понимаю так: если на мои трудодни вместе с Сергеевой получить так, то выходит без малого десять тысяч.

Телегин согласился с этим и подтвердил, что в колхозе имени Чапаева так и есть.

— Слышь, Пал Ефимыч? — спросил Макар Петро-

вич. — А ты — колодезь во дворе! — Последние слова он сказал тихо — одному соседу, забыв вгорячах ссору.

Только Павел Ефимыч его уже не слушал, а встал сам и задал вопрос так:

— Как ты понимаешь, Петр Иванович, сентябрьский пленум?

— Очень уж вопрос большой — сразу и не ответишь, — улыбнулся Телегин.

— Я уточню, — сказал Птахин. — Как ты понимаешь сентябрьский пленум по вопросу скота у колхозников?

— А-а! Догадался, о чем речь. — Он чуть подумал в общей тишине, а Макар Петрович и Павел Ефимыч даже привстали от напряженного ожидания. — Главное в том, чтобы улучшить жизнь колхозников...

— Правильно! — перебил его Птахин.

— Пойдите минутку. Я попросту вам скажу: у нас в «Чапаеве» девяносто процентов своего дохода колхозник получает от колхоза... Наши личные интересы там зависят от колхоза и отчасти от своего хозяйства. Богаче колхоз — мы богаче, беднее колхоз — мы беднее. Так и сентябрьский пленум надо понимать: сделать все колхозы богатыми. Если же разводить скот в одном только личном своем хозяйстве, то это будет извращение решений партии.

— Очень правильно! — сказал теперь Макар Петрович. — Это соответствует действительности.

А Птахин задумался. Он опустил голову вниз и молчал. Макар Петрович тихонько толкнул его локтем и сказал, указывая кивком на трибуну, где все еще стоял Телегин:

— Человек! А?

Павел Ефимыч промолчал.

Через некоторое время Макар Петрович, вытирая пот со лба, произнес:

— Духота!

— Духота, — ответил, как эхо, Павел Ефимыч. А это все равно, что промолчал, и даже хуже.

Макар Петрович слушал, следил за всякими предложениями и высказываниями, но оттого, что сосед не пожелал разговаривать с ним, он внутренне начинал горячиться. «Молчит, — думал он, — и разговаривать не хочет, чертов Помидор». А Павел Ефимыч тоже думал: «Лезет с разговорами, Горчица».

Уже после того, как проголосовали за Телегина и он поблагодарил за доверие, Макар Петрович вышел прямо на сцену. Он стал перед столом президиума, но обратился к новому председателю:

— Петр Иванович! Управляй нами правильно.— Он с секунду помолчал, подыскивая слова. Знал Макар Петрович, что слова эти должны быть важные, что они должны быть сильнее самой длинной речи, поэтому и приостановился чуточку, обдумывая.— Будешь управлять, как диктует партия,— мы тебя на руках будем носить. Не будешь — так прогоним. Прямо говорю: прогоним. Ты требуй от нас, требуй, пожалуйста, но... имей к нам уважение. Плохо у нас было. Ведь до чего дошло: пута — несчастного пута! — не могли добыть. Понимаешь, пута! На одной-единственной корове рекорды делали. Учти, Петр Иванович, скотина рогатая у нас гиблая, а такие колхознички, как Пал Ефимыч Птахин, собираются разводить ее не в колхозе, а у себя во дворе.— Как и всегда, Макар не выдержал долгой речи, смешался и совсем тихо сказал: — Должен ты понимать: были «сорокакопеечные», не сразу будем «семирублевые». Трудно будет тебе.— Тут он прижал шапку к груди и отчетливо, громко, на весь клуб, спросил: — Вера в тебе есть, что сделаешь?

— Есть,— ответил Петр Иванович, не задумываясь.

— Тогда все! — И Макар Петрович под бурные аплодисменты сошел со сцены.

С собрания соседи вышли каждый сам по себе. Макар Петрович пошел вдоль одной стены, а Павел Ефимыч пересек зал и пошел вдоль другой. Но опять же — вот ведь штука! — в дверях они столкнулись вместе. Тут уж назад не пойдешь — надо вперед. Пошуршали они козухами друг о друга и вышли на улицу. Волей-неволей некоторое время шли рядом. Идут и молчат.

— Луна-то... — наконец сказал первым Макар Петрович.

— Луна,— отозвался и Павел Ефимыч.

— На мороз, надо быть.

— На мороз.

Идут и молчат снова.

— Снегу-то нынче — ого-го! К урожаю,— произнес Макар.

— К урожаю,— все так же угрюмо откликнулся Павел Ефимыч.

Нет настоящего разговора, да и только! Далеко зашла ссора. Трудно жить молча, когда прожил рядом с человеком всю жизнь. Очень трудно. Оба чувствовали это. Но куда денешься от неприязни, если она есть!

«Значит, далеко разошлись»,— подумал Макар Петрович.

«Как и не соседи»,— подумал Павел Ефимыч и вдруг решительно направился на другую сторону улицы.

Макар Петрович постоял, постоял, посмотрел соседу в спину, дождался того, как он перешел улицу, и пошел своей тропой.

Так они и пошли домой: на одной стороне улицы хрустят по снегу сапоги Макара Петровича, а на другой — валенки Павла Ефимыча. Сапоги хрустят гулко, со звонким скрипом, и звук ударяет о стены хат хлестко, похозяйски. Валенки — эти похрустывают с шепотком, намного тише сапог.

Хр-р-руст, хр-р-руст! — слышится с одной стороны.

Хр-р-ристь, хр-р-ристь! — доносится с другой.

По этому звуку в зимнюю ночь соседи узнали бы друг друга за полкилометра и в былое время заскрипели бы навстречу. А теперь... Кто ж знает, как оно будет у них теперь!

А ведь все началось с коровы.



---

*Г. Троепольский*

## У КРУТОГО ЯРА

Рассвело. В поле тихо-тихо, ни звука. Кругом ни души. Сеня Троший сидит на корточках в молодом овсе и пристально смотрит на большую каплю росы. Русые, почти белые волосы с завитушками над висками ничем не прикрыты. Сеня отводит голову то в одну сторону, то в другую, наклоняясь и прищулив глаз. Нет-нет да и появится у него на лице улыбка. В руке он зажал фуражку — в ней что-то зашевелилось. Сеня приоткрыл фуражку и погладил крохотного зайчонка с гладким и нежным пушком.

— Сиди, сиди, дурачок! Ничего тебе худого не будет.

Зайчонок пошевелил ноздрями, еще плотнее прижал уши и доверчиво полез к Сене в рукав, откуда шло тепло.

— Ну сиди в рукаве. Ладно. Сиди, так и быть: будешь там, как на курорте... Забавные эти зайчата-сосунки: ничего не смыслит ровным счетом — бери его руками и неси...

Сеня снова устремил взор на ту же каплю росы. Если посмотреть на нее слева, то виден в ней предутренный розово-красный горизонт; если посмотреть справа, то видно отражение зелени поля и облака. Настоящие, но крохотные облачка! Мир отражался в капле! И Сеня видит это крохотное отражение мира, тихого, спокойного, в предутренной свежести. Если смотреть одним глазом, закрыв другой, то картинка становится отчетливее, ярче. Сеня улыбался от тихой радости.

Он присел на колени и посмотрел вокруг. Роса на листьях играла и переливалась. На каждом листочке — капля, и в каждой капле — частица мира. Много удиви-

тельного и прекрасного видел Сеня в поле, но такое заметил первый раз за свои двадцать четыре года.

Он встал. Пересадил зайчонка в фуражку и сунул ее за пазуху. Чуть постоял. Перекинул перепелиную сечь через плечо, а на второе плечо вскинул связанные ботиночки. Поднял с земли сумочку, в ней затрепыхались перепела. Еще раз посмотрел на разбросанные по полю хрусталики росы и пошел напрямик, по посевам. Брюки у Сени уже давно были мокрыми до колен — сильнее намочить их уже не страшно. Да и роса была такая приятная, освежающая, бодрящая. Как хорошо в поле на рассвете!

Но вдруг он остановился: впереди, на кургане, как изваяние, появившееся на грани ночи и дня, стояла огромная волчица. Сеня долго смотрел на нее не шевелясь, потом тихо прошептал:

— Здорово, знакомая!

Волчица, повернувшись всем корпусом, посмотрела в его сторону и спокойно ушла за курган.

Выбравшись на дорогу, Сеня пошел не в село, а в противоположную сторону: он шел на работу прямо с охоты. До села надо было бы пройти километров шесть, а до места дневной работы, на пропашку подсолнечника, — не более километра. Для такого случая он и завтрак припас с собой в рюкзаке.

Вскоре он подошел к бригадному стану и скинул у лесной полосы ватник. На работу люди приходили не раньше семи часов, и Сене оставалось еще часа три-четыре на сон. На стане было так же тихо, как и вокруг. Сторож, инвалид Отечественной войны Григорий Фомич, крепко спал сидя, вытянув деревянную ногу и склонив голову на грудь: зоровой сон крепок и сладок.

— Пусть поспит, — произнес Сеня тихо. — Сейчас тут и красть-то нечего. Вот когда хлеб, тогда другое дело. Тогда, если уснет, разбужу.

Затем он достал зайчонка и посадил на ладонь: тот был не больше гусиного яйца.

— Давай-ка я выпущу тебя тут, в лесополосе. А? Тут тебя коршун не достанет, — обратился он к зайчонку.

Сеня присел, чтобы посадить зайчонка под куст. Но тут послышались издали ритмичные шелчки, похожие на легкое шелканье кнутом. Он прислушался, улыбнулся и подумал: «Константин идет. Подожду выпускать —

дам ему посмотреть». И накрыл сосунка другой ладонью.

Щелчки изредка, но регулярно повторялись и приближались. А через несколько минут на просеке показался человек. Он шел, подняв голову, будто смотря все время перед собой, постукивал палочкой по голенищу сапога и тихо мурлыкал какой-то мотив. Одет он был хорошо: тонкого сукна брюки забраны в добротные сапоги, коричневая сатиновая рубаша, на плечи накинут серый легкий пиджак. Кроме палочки, у него в руках ничего не было. Не доходя до Сени шага три-четыре и постучав палочкой о голенище, остановился, держа голову все так же высоко.

— Кто тут? — спросил он.

— Я.

— Сеня... Как охота?

— Шестерых поймал.

— Хорошо.

— Роса с полночи упала, а то больше поймал бы. Перепел в росу не идет под сеть. Орет, как оглашенный, а ни с места.

— Ишь ты, какое дело! Бойтся замочиться... Жирные?

— Ничего... Садись-ка сюда, Константин. Что-то покажу.

— А ну? — И Константин, осторожно ступая, подошел к Сене. Он был слеп. Открытые глаза были неподвижны. На вид он казался ровесником Сени. Тонкими мягкими кончиками пальцев он прикоснулся к Сене, затем они крепко пожали друг другу руки.

— Зачем и куда ходил в такую рань, Костя?

— Это тебе — рань, а мне все едино... На кукурузу ходил — обошел всю: теперь знаю, где она в этом году посеяна и как к ней идти.

— А-а... И нашел? Как это ты смело по полю ходишь? Не боишься заблудиться?

— А вот она. — Костя поднял палочку и постучал ею. — Я по ней правлюсь. Пусть, скажем, передо мной столб впереди — чуть стукну ею по сапогу, и она скажет: столб. Вот дошел до бригадного стана и вижу сразу — стан. Или вот ты сидишь, а я иду мимо: молчи, пожалуйста, а я все равно увижу. Каждое вещество отражает звук по-разному. И посева тоже: подсолнечник свое отражение дает, рожь — свое. Я все вижу. И волна такая

тонкая от каждого предмета доходит к лицу... Не понимаешь? — спросил он вдруг.

— Нет, почему? Понимаю. Но только считаю — мне это недоступно. Мне закрой глаза и каюк. Ты вот и щетки делаешь, и хомуты вяжешь, и сети плетешь, на все руки мастер. Все это и я, конечно, могу научиться, но только с глазами. А так — недоступно.

— Оно и мне кое-что недоступно. Вот смалу слышу: «Свет, свет», а что оно такое — понятия не имею. Скажем, зеленый лист и желтый лист осенью — это я вижу, пальцами определяю. А свет — не знаю. Оно, вишь какое дело, мне это недоступно, значит.

— Ну ладно,— перебил Сеня, видимо не желая углублять тему разговора.— Ты смотри, кого я под комком нашел.— И он приблизил к Косте ладони с зайчонком.

— Вроде бы крольчонок...— Костя гладил зайчонка и трогал тонкими пальцами шерстку, ушки, лапки.— А-а! Зайчонок?

— Точно, он.

— Мяконецкий какой... А зачем ты его от матери унес? Нехорошо это, Сеня. А?

— Как раз наоборот. Тут, в лесной полосе, ему безопасно, а там его коршун может в два счета слопать. А матерей у него столько, сколько зайчих с молоком.

— Это как так?

— Очень просто. Она, зайчиха, как, значит, народит зайчат, то покормит их сразу же, а они тут же — шмыг, шмыг! — в разные стороны и под комочки или в ямочки. Всё. И прощай, мамаша!

— А потом?

— А потом так: как он захочет есть, то тихо-онько пищит: «Пи-пи-пи!» Тогда бежит к нему зайчиха с молоком, какая ближе от него. Иной раз и две сразу бегут, только ешь, пожалуйста, не ленись.

— Смотри-ка! Это ж удивление!

— Я все это сам видел, лично. «Пи-пи-пи!» И она бежит, ковыляет. Обмокнет вся по росе, как баба у белья на речке, а бежит, спешит. И другая бежит. Ну эта, конечно, опоздает. Первая кормит, а вторая сидит рядом, головой кивает, как нянька. Ей-богу так!

— Как нянька! — рассмеялся Константин.— Прямо чудеса ты видишь на охоте.

— Все равно всего не вижу.

Константин повернул к нему голову в удивлении: чуть выпятил губы и поднял брови.

— Чего удивляешься? Вот сейчас видел я небо в капле. Первый раз в жизни видел! — воскликнул Сеня с восхищением. — Понимаешь: облачка, заря — все в капле...

Константин улыбнулся спокойной улыбкой и убежденно сказал:

— Не понимаю.

— Да и не только ты. А Маша, жена, та понимает. И я в ней все понимаю.

— И моя Настя меня понимает, хоть и зрячая.

— Это хорошо, когда понимают друг дружку. Вот и Алексей Степаныч, председатель колхоза, я так думаю, понимает, что я без охоты не могу: не препятствует. А бригадир тормозит мне. А я что: меньше других выработал трудодней? Больше, а не меньше.

— А я вот Алексея Степаныча не понимаю. Я ему говорю, что из кукурузных султанов можно венчики такне вязать — для чистки одежды употребляют в городе. За каждый такой венчик — рубль, а я один свяжу пятнадцать — двадцать штук за день. А то и больше. Тебе, говорит, и без того работы много — не справишься. Это меня-то работой испугал! Выгоды не видит. Ладно, я ему докажу по осени. Как созреет кукуруза, навяжу штук десять и принесу прямо в правление — рассмотрит и поймет.

Оба помолчали. Константин достал карманные часы — с крышкой, но без стекла, — скользнул по выпуклым точкам циферблата кончиком пальца и сказал:

— Полчаса пятого. Пойду.

— А я посплю маленько. Да в обед прихвачу часок.

— Ну поспи, поспи. — И Константин, выйдя на дорогу, зашагал по направлению к колхозу, орудуя палочкой: то стукнет ею перед собой, по дороге, то — по голенищу.

И долго еще доносились до слуха Сени пощелкиванья и стуки Константина: тук, тук... шелк... шелк, шелк... тук... «Хороший человек Константин, — подумал Сеня, выпуская зайчонка. — Иной и с глазами того не стоит».

Солнце начало всходить. Свистнул суслик, будто давая знать, что он проснулся первым. Крот начал выталкивать из норы свежую землю. Пробежал полевой хорек.

И еще раз свистнул суслик. Вспорхнул жаворонок над посевом и сразу же опустился: рано еще петь. В чистом, свежем утреннем воздухе за километр было слышно, как спросонья заговорили трактористы у будки, заправляя тракторы для дневной смены. Сеня улегся на ватник и сразу уснул.

Когда сторож Григорий Фомич проснулся, он увидел Сеню, раскинувшего руки и ноги. «Ишь ты,— подумал он. — Не разбудил меня. Крепко я подремал, крепко. Ну и ты поспи, охотник... Спи».

Около семи часов на дороге показался «Москвич» председателя колхоза. Григорий Фомич приободрился, но Сеню будить не стал. Из машины вышли председатель колхоза Алексей Степанович Зернов и бригадир Корней Петрович Ухов.

— Доброе утро, Фомич! — приветствовали оба сразу:

— Так же и вам!

— Э, да тут уже и Сеня,— громко сказал Алексей Степанович.

— Шшш! — зашипел Григорий Фомич.— Пусть поспит. Он же с охоты. Люди подъедут, тогда и встанет. Он никогда не опоздает.

Но Сеня услышал говор и поднялся. Протер глаза, умылся около бочки с водой и подал поочередно руку прнехавшим.

— Здравствуйте! Приехали, значит. Что-то раненько сегодня.

— На сенокос пробираемся,— заговорил Алексей Степанович.— Как бы не пришлось туда людей перебрасывать: сено в рядах, а барометр падает. Дождя боимся.

— Сегодня не будет дождя,— уверенно сказал Сеня.

— Ну, ты все знаешь,— иронически возразил бригадир.

— Роса сильная была ночью,— ответил Сеня.— После росы в тот день дождя не бывает.— Он подумал и добавил:— И перепел на утренней заре не молчал. А перед дождем он больше молчком ходит.

— Барометру, значит, не верить, по-твоему? — спросил бригадир.

— Может давление падать, а дождя может и не быть. При сильной росе никогда не бывает дождя,— еще раз повторил Сеня.

— Вполне научно,— подтвердил Алексей Степанович.

вич.— Правильно. Грести сено надо, но горячку давай не тачать,— обратился он к бригадиру.— Перебрось туда человек десяток — и хватит.

— И нога моя не ноет,— вмешался Григорий Фомич.— Перед дождем она напоминает.

Бригадир не стал перечить председателю, но по лицу было видно, что он недоволен всеми тремя собеседниками. Ему казалось, что все они не понимают самого важного: схватить сено до обеда, а не возжаться с ним до вечера. Алексей Степанович, наоборот, был вполне доволен «местным прогнозом». Он знал, что нарушение ритма в работе — вещь опасная: туда перебрось, тут дело оставь, а среди дня снова вези людей на это же место.

— Корней Петрович! — вдруг обратился к бригадиру Сеня.— Как закончим пропашку междурядий, отпусти меня дня на два.

— Вот! Видишь, Алексей Степаныч,— сразу вспылил тот.— Опять «отпусти». Ночами бродит по полю от молодой жены, да еще и от работы хочет уйти.

— У меня трудней больше всех,— возразил Сеня.— Отпусти, пожалуйста. Наверстаю. Воскресенье буду работать.

— Не могу сейчас. В поле дела позарез, а ты — «отпусти». Понятия, что ли, нету! — воскликнул бригадир.

Алексей Степанович спросил у Сени:

— А куда ты собираешься?

— Да не хотел я говорить заранее. Может, там ничего и не получится.

— А ты скажи — может быть, и отпустим.

Сеня посмотрел на бригадира не особенно доверчиво и ответил председателю:

— В Крутых ярах, в самой гущине, в терниках, волчица с выводком... Вырастет потомство — полстада овец перережут.

— Ну, а ты что с ней делать хочешь? Убьешь, что ли? — нетерпеливо говорил бригадир, поглядывая на взошедшее солнце.

— Может, и убью.

— А на что тебе два дня?

— Да как сказать — может, и больше. Ее же надо выследить и...— Сеня не договорил и, махнув рукой, отошел в сторону.

Председатель и бригадир что-то говорили между собой, но Сеня не слушал. Ему было обидно, что бригадир не понимает его. Он думал, как ему быть: волчица безпокоила его уже не первый день.

Алексей Степанович подошел к Сене и спросил:

— А подпустит она тебя, с ружьем-то? Волки хитры.

— Так надо ж сперва без ружья... Проследить, сообразить, а потом уж... Она мне уже знакомая. Знаю, сразу с ружьем нельзя. Тогда она или уйдет заранее, или в норе отсидится, или перетащит волчат в другое логово, в иное место... Разве нору раскопать? — спросил он сам у себя.

Алексей Степанович смотрел на Сению и думал. Сеня тоже думал, глядя перед собой в поле.

— Ты чем сегодня занимаешься? Какой наряд тебе? — спросил Алексей Степанович через некоторое время.

— За конным планетом хожу: на конях рыхлим подсолнечник. Сегодня, пожалуй, кончим.

Алексей Степанович больше ничего не сказал. Он отошел к бригадиру. Тот что-то записывал и не поднял головы. Но Сеня услышал его голос.

— Алексей Степаныч! — говорил он, возмущаясь. — Сами требуете ритма в работе, а сами вон что советуете: отпустить колхозника с поля. Не понимаю!

Потом они говорили тихо и вскоре уехали дальше.

Целый день Сеня рыхлил междурядья. Сегодня он был молчалив. На вопросы отвечал неохотно, а на шутки совсем не отвечал. В обеденный перерыв он лег спать, как обычно, но уснуть не смог: волчица не выходила из головы. Никто, как казалось ему, не думает об этом опасном звере. В прошлом году десятка два овец порезали волки. Неужели допустить и в этом году? Кричать на правлении да ругать пастухов — дело не хитрое...

Но не один Сеня задумался о волчице. Алексей Степанович утром, когда отъехали от бригадного стана, говорил бригадиру:

— Сению надо отпустить. От волчицы могут быть большие убытки. А может быть, она и не одна там.

— Да не убьет он ее, — возражал Корней Петрович. — Разве ж один охотник, да еще с одностволкой, может убить матерую волчицу? Нет. Месяц будет ходить, а не убьет. Дело Сеньки — перепела, утишки, зайчишки... Он

и так мне надоел со своей охотой: то его на уток отпусти весной, то он зимой уйдет да попадет в самую пургу, а ты за него душой болей. Прекратить это надо. Да еще и так сказать: молод он и неразумен еще, чтобы на волчицу одному отправляться.

— А все-таки отпусти его, Корней Петрович,— настаивал председатель, пряча улыбку в черных усах. Загорелый, как южанин, он смотрел перед собой, ведя машину. Ветерок шевелил его седеющие волосы.— Отпусти, отпусти! Дело важное.

Корней Петрович безнадежно вздохнул и отвернулся в сторону.

Но вечером, на бригадном стане, он подозвал Сеню и сказал коротко:

— Ну, ступай. Два дня тебе.

— Алексей Степаныч отпустил-то?

— Ты иди. Раз разрешаю, значит — иди. Всё.

— Всё,— подтвердил Сеня.

Подошла грузовая машина. Оба они сели в кузов вместе с другими колхозниками и больше не перекинулись ни единым словом. Но уже около гаража Корней Петрович сказал, сойдя с машины:

— Ты вот что, Сеня: один-то против волчицы с выводком не очень там... Поосторожней, говорю.

— А я думал, прямо как приду, так ее за глотку: кхг! А она меня: хрык! — и готов. — Сеня сказал это серьезно, без улыбки, но с явной иронией. Корней Петрович махнул рукой.

— Чудак ты человек, Сенька! — сказал он на прощание.

Дома Сеня поужинал с женой, расстелив скатертку на траве под кленом. Жареные перепела были очень вкусны, а блинцы со сметаной показались Сене и вовсе замечательными. Он тщательно вытер последним блинцом тарелку, проводил его в рот и сказал:

— Спасибо, Машенька! Ловко поужинал... Садись-ка люда — я тебе рассказывать буду.

Он принес из клетки кинжал, сделанный из укороченного штыка от немецкой винтовки, и расположился с ним у камня. Маша присела около него на завалинку. Маша — молодая, сильная, полногрудая, с задорными серыми глазами, смеющимися из-под черных густых бровей. На селе удивлялись: как это такая красавица

вышла за такого «тихоню Сеньку». Правда, Сеня не был каким-нибудь щупликом, но и особой силой не отличался на первый взгляд, хотя мускулы его напоминали твердую резину, такую, что бывает у накачанного баллона автомобиля, — не помнешь. И ростом — средний, но прочный в плечах. И такая, прямо сказать, красавица полюбила Сеню.

Спрятав руки под фартук, Маша ласково-шутливо спросила:

— О чем же будешь сегодня рассказывать? Про куропаток, что ли?

— Нет. Ты слушай.— Он начал точить кинжал и, не отрываясь от дела, заговорил: — Ты в каплю смотрела когда-нибудь утром, рано?

— В каплю?!

— Ага.

— Ну, ты что-то — тсго этого.— И она потрогала его за голову, потрепав легонько волосы.

Сеня рассказывал Маше о виденном подробно.

— Понимаешь, Машенька: дрожит, переливается то ясно, то смутно... И такая крохотулька. В кино того не может быть — недоступно им.

Маша слушала и смотрела на Сеню. И никакого задора в ее глазах не было, и уже не казалось, что вот-вот слетит с ее губ острое словцо, которого так боялись некоторые в бригаде.

— Хороший ты...— тихо произнесла она.

— А Корней Петрович говорит — «чудак».

— Ну и пусть говорит.

Кинжал потихоньку лизал камень.

Вечер стал уже темносиним, деревья — почти черными.

— Завтра я уйду, Маша. На два дня уйду, — доложил Сеня, вставая от камня.

— Далеко?

— Волчицу выслеживать.

— Страшно, Сеня. Она ведь с волчатами... Сказывают, их двое матерых в одном месте поселились: самка да самец.

— Ну и что ж из того? Я на них так вот сразу и не полезу. Послежу. Подумаю... Как ты на это скажешь?

— Да ведь все равно уйдешь.

— Уйду.

— Ну иди. Ладно. — Она обняла его и чуточку так посидела, прижавшись щекой. — Пойдем, Сеня.

Вскоре Сеня уже спал, положив голову на руку Машеньки. А она дремала, боясь пошевелить рукой, чтобы не разбудить его.

Рано утром Сеня вышел из дому. За спиной — рюкзак, в нем, кроме продуктов, завернут аккуратно томик «Тихого Дона» (он читал роман уже вторично). Через плечо перекинул косу. За голенищем — кинжал. Сеня шел и внимательно смотрел по обочине дороги. Наконец он свернул с дороги, сорвал пучок чебреца и натер им кинжал: запах железа пропал совсем. После этого он ускорил шаги и направился к Крутым.

Часа через полтора он был уже на взлобке яра. Отсюда были видны все четыре берега яра, расходящегося в этом месте развилкой. Яр был широкий, с крутыми берегами, заросшими густым терником, орешником, шиповником и, изредка, дикими вишнями. Одиночками стояли в непроходимой чаще кустарника большие дикие груши. Внизу виднелась узкая и глубокая промоина с белым меловым дном и совершенно отвесными краями, а по ней тихонько журчал ручей, питаясь из родника, спрятанного внутри развилки в непроходимой чаще. Ручеек тек недалеко, он пропадал в полукилометре отсюда в меловом слое.

Дальше, по ту сторону яра, начинался лес — такой, какие бывают только в черноземной зоне: среди дуба и зарослей лещины вкраплено множество диких груш и яблонь. Лес закрывал даль, и казалось, здесь конец степи и простору.

Между лесом и яром — чистая прогалина с редкими кустами: степь безжалостно оттесняла лес за яр. Со взлобка, где стоял Сеня, хорошо было видно все вокруг обеих развилки яра: куда бы ни пошла волчица, Сеня увидел бы. Но пойдет ли она? Где ее лаз? В какое время суток она уходит и приходит? Где, точно, нора? Здесь ли и самец? Все эти вопросы Сеня задавал себе, присев на краю заросшей бурьяном воронки от взрыва бомбы.

Он отдохнул немного, затем подкосил вокруг бурьян, уложил на траву рюкзак, достал брусок и стал точить

косу. Коса зазвенела, и звук ее пронизал заросли яра. Сеня знал: волчица слышит, насторожилась, смотрит на него — что за человек вторгся в тишину сырого яра; знал, что волки не любят звука железа. Но он нарочно точил и точил. Потом выбрал площадку лучшей травы и стал ее косить, медленно, спокойно, с остановками. Человек косит траву, должна подумать волчица, и больше ничего, — таков был первый расчет.

Весь день Сеня пробыл, как ему казалось, на виду у волчицы, косил, обедал, делал вид, что спит, читал. Но он ни разу не заметил признаков присутствия зверей.

Перед вечером, когда Сене надо было быть особенно осторожным и бдительным, на противоположной стороне яра показался человек. Он обошел заросли и подошел к Сене. Это был Гурей Кузин, по прозвищу «Гурка-Скворец». Гурка, старик лет шестидесяти, шел с престольного праздника, из села Житуки, куда он ежегодно уходил на Троицу и пропадал там по несколько дней. Задержать его не было никакой возможности даже всем правлением вкуче. Он сдавал лошадь и говорил скороговоркой:

— Человек я леригиознай. Обратно, в Житуках у меня теща престарелая: должен я ей предпочтение преподнести. Обратно же, и в храм христов обязан там сходить, поскольку у нас не имеется. Грехов-то на нас, грехов-то! Господи вышний, грехов-то! — При этом он не без ехидства смотрел на присутствующих конюхов с явным убеждением в том, что у них грехов гораздо больше, чем у него, и он даже может помолиться и за них, если они попросят по-христиански.

Но конюхи не просили его ни о чем, и кто-нибудь из них сердито говорил Гурею:

— Иди, иди... Ты — водку пить, а за тебя кто-то должен работать. Азунит ты, Гурей.

Ни председатель колхоза, ни, тем более, бригадир ничего не могли поделаться с Гуреем в таких случаях: он знал, что за это ему, старику, ничего не могут сделать плохого. На Успенье, в разгар уборки, он уходил еще дальше, под самую Ольховатку — за семьдесят километров, и тогда отсутствовал не меньше недели.

— Как это так, — возражал он, — на Успенье да не пойти! Да для чего я тогда и живу? На Успенье к троюродным братьям, обратно, надо сходить.

Но ходил он просто-напросто пить водку. В жизни же был ехидный старикан, завистливый и большой охальник.

— Здорово, Сеня! Обратно, косишь? — зачастил он писклявым голосишком, ухватившись за тощую бородавку.

— А что?

— Да площадку-то скошил не мене соток пятнадцать. Кто, значит, в колхоз косит, а кто себе.

— Да что ты, Гурей Митрич! Это я не для себя.

— Обратно, брешешь, Сенька. Коси, коси! Только и урвать на заполье — ни один черт не увидит. Коси: у коровы молока больше — Машка твоя, обратно, толще. Хи-хи!

Сеня внутренне осердился, сжал зубы. Но, сдерживаясь, вдруг сказал:

— Садись, Гурей Митрич, покури. Я хоть и не курю, а ты покуришь и... послушаешь. — В последнем слове у Сени появилась такая нотка, что, будь Гурка поумнее, он поспешил бы уйти.

— Обратно, покурю. Ладно. Коси, черт с ней, с травой... Туда, в колхоз, как в прорву, — не накопишься... А Машка твоя — бабиша во! Да-а... Все качества у неё. Хи-хи!

Сеня не терпел никогда похабства и теперь готов был сунуть в морду охальнику, но он решил отучить Гурку похабить, по крайней мере при нем, и таинственным голосом спросил:

— Гурей Митрич! Как же ты через яр шел? А-а?!

— А что-о?! — вытянул бородку Гурей в испуге.

— Да там же восемь волков! Сам видел. Я уж тут сижу сам не свой — не знаю, как и с места стронуться.

— А... я... я... ч-ч-ч... через яр...

— Съедят!! — воскликнул Сеня, изобразив полный испуг. — Сам видел. Вот те крест!

Гурка сначала подпрыгнул сидя, не поднимая ног, потом неожиданно вскочил и побежал от воронки, оглядываясь на яр.

— Старый охальник! — крикнул Сеня. — А я тебе сбрежал за милую душу. Знаю — слаб душонкой. Никаких волков не видал. Но смотри: чтоб при мне не похабил. Не посмотрю и на возраст.

Гурей резко остановился, круто повернулся к Сене и закричал:

— Колхозную траву косить! Воровать! Над верующим человеком насмеяться! Я тебе покажу... Я тебя дойду! Сукин сын, обратно...— Наконец, подернув брючишки, он засеменял дальше, выкрикивая ругательства, на замаливание коих потратит еще один рабочий день.

Придя в колхоз, Гурей, не заглядывая домой, не вошел, а впрыгнул в правление и растрещался о том, что «Сенька колхозную траву косит и возит домой». Во дворе он стрекотал о нарушении «дистиплины», о развале колхоза такими, как Сенька. Бригадир задумался: «Откуда взял все это Скворец?» Он подумал, подумал и доложил председателю, Алексею Степановичу. Тот, не поверив, вызвал Гурку и подробно расспросил. Но и после этого Алексей Степанович не поверил и сказал:

— Сам поеду посмотреть.

Тем временем Сеня лежал в бурьяне и встречал ночь на краю воронки, не спуская глаз с зарослей. С юга, на горизонте, выпучился кусок тучи да так и остался черной, мрачной горой. Где-то там, вдали, вспыхивали молнии. Тихонько зарокотал гром, тихо-тихо, будто в глубине земли. «Сухой гром», — подумал Сеня. Вскоре темень накрыла землю непроглядной завесой, и ничего уже не было видно. Вспышки молнии стали ярче, но удары грома слышались все так же под землей. Потянул настойчивый ветер — бурьян заныл, лес за яром зашумел, зашумел беспокойно, с рокотом. Сеня свернул ноги калачиком и продолжал смотреть и смотреть. И вдруг... позади он услышал звук: будто кто переломил в пальцах тоненькую сухую будылинку бурьяна. Сеня повернул голову насторожившись. Далекая молния на секунду слабо осветила окрестность: волчица тенью стояла позади Сени, шагах в двадцати. Она зашла против ветра и следила за Сеней раньше, чем он ее заметил, — вынюхивала, изучала. Так близко волки могут подойти к человеку только тогда, когда он без ружья, — Сеня знал это. Знал и то, что волчица не нападет на человека, если он не трогает ее детенышей. Он увидел ее на какую-то долю секунды. Потом снова темень, непроглядная, тяжелая, давящая на плечи. Сене все казалось, что волчица стоит позади, но вскоре он заметил сбоку, уже дальше, два фосфорических огонька, похожих на свет кусочков гнилушки: «знакомая» спокойно уходила к логову. И это было уже успехом — она не

нашла ничего опасного. Однако не было возможности определить, где она вошла в заросли.

«Сухая гроза» кончилась. Ветер притих. И Сеня уснул, завернувшись в плащ.

На рассвете он проснулся и, не поднимая головы, окинул взором местность. Все было так же: в сероватом свете предутра яр казался мертвым, а лес — спящим крепким зоревым сном.

Сеня ждал. Предрассветный час — час беговой охоты волков. «Знакомая» должна выйти. Но где? — вот вопрос... Увидел ее Сеня уже вдали, в полукилометре от яра: волчица вышла незаметно для Сени. И он дрожал внутренней дрожью, думая огорченно: «Не поверила, не обманул».

Утро раздвинуло серый налет, висевший над землей. На востоке загорелось огромное, необъятное зарево, но до восхода солнца оставалось еще не меньше часа. Далеко отойдя от зарослей влево, Сеня спустился к ручью, предварительно натерев подошвы чебрецом, попавшимся по пути, и зачерпнул воды. Так, с котелком в руке, он немного постоял на дне оврата. Под ногами был мел, а размытые кручки берегов промоины пронизаны корнями, свисающими до дна. Сеня посмотрел на подножие кручки. И вдруг его осенила мысль. Он нагнулся низко над землей и стал рассматривать. На мелу он заметил пятнышки: это были следы когтей волка. Волки не убирают когтей, не втягивают их, как иные звери. Ясно — волчица ходит протоком, под прикрытием стенки кручи, появляясь в степи далеко от логова. Но раз она вышла, то должна и вернуться. Так думал Сеня. Он поспешил подняться наверх, взял косу и снова стал косить, поглядывая на проток.

Перед восходом солнца он заметил спину «знакомой»: она не бежала, а тихо шла под кручей к зарослям, будто и не слыша звуков покоса. «Человек косит траву — и все, — мысленно вдалбливал ей Сеня. — Понимаешь, косит».

А через час, не более, появился самец; он бежал широкими прыжками напролом, пересекая склон без предосторожностей, и влетел в заросли стрелой. «Значит, логово близко от родника», — определил Сеня.

Весь день он был в отличном настроении. Косил, варил еду, спал, развалившись на свежескошенной траве,

собирал в копны вчерашний покос — без граблей, руками и концом деревянного косья, сняв с него косу. Среди дня волки парой ушли в поле и вернулись уже вечером, в сумерках: волчица шла впереди, самец — позади, следуя за ней по протоку яра. В солнечный день волки редко остаются у логова — они уходят, оставляя волчат. Ни один зверь так регулярно не кормит детенышей, как волчица, но и лишнего сосать не дает — она уходит от логова, охотясь или отлеживаясь неподалеку от выводка. В это время ни самец, ни самка уже не бродяжат, как обычно, по чужим окрестностям — они живут семейством, «дома», то есть в радиусе не более пяти-семи километров вокруг логова.

— Значит, пришли домой, — сказал Сеня вслух и присел на копну. Ясно — днем можно заходить в квартиру к «знакомой». Он собрался и пошел домой.

А вскоре подкатил к этому месту «Москвич», прыгая и переваливаясь уткой на кочках и промоинах. Из машины вышел Алексей Степанович, за ним выпрыгнул Гурка-Скворец, а уже после него появились член ревизионной комиссии, бородатый Агап Егорович, и бригадир Корней Петрович. Первым застрочил Скворец:

— Я, понимаешь, иду с престола. Иду, а Сенька мне, обратно, говорит: «Покури». Я, понимаешь, обратно, курю, а сам высмотрел все и говорю себе в уме: «Колхозным добром того...» Ну, думаю, пушай ночь, а я пойду до председателя... Иду, а они мне, восемь волков, навстречу! Во-осемь! Ох! Нет, думаю, обратно, не испугаюсь! Все равно не вернусь — пойду до председателя. Я ничего, обратно, не боюсь. Я, понимаешь, для правды, обратно, на что хошь пойду.

— Да подожди ты тараторить, — перебил его бесцеремонно Алексей Степанович. — Все это ты уже сто раз пересказал. А вот я не вижу, где взято сено. Ты говоришь: «Возит домой». След от копны должен бы остаться. Да и половина сена сырого — сегодняшней покос. — В сумерках он обошел весь участок скошенной травы, нагибаясь и рассматривая.

— Значит, где-нибудь, обратно, косит. Значит, оттуда возил. Я сам лично видел: возил-возил, истинный господь, возил.

Агап Егорович говорил басом:

— На всякий случай акт составим, Степаныч. Потом

разберемся. Да-а... Аль уж Семен свихнулся?.. Не похоже. А факт: скошено. — Он тоже ходил по покосу, нагибался низко над землей, щупал сено и говорил: — Это вчера скошено, а это — нонче... Факт: скошено.

Корней Петрович все время молчал — думал. А Алексей Степанович заключил:

— Никакого акта составлять не будем.

Сеня, ничего не подозревая, укладывался спать и тихо говорил Маше:

— Днем к ним пойду «в гости». «Знакомая» здоровущая, с теленка!.. Хитрая, а обманул: знаю, когда уходят и когда приходят и где лаз.

Уснул он крепким, безмятежным, спокойным сном.

В полночь кто-то постучал в окошко.

— Кто? — спросил Сеня.

— Я, Константин.

— Не спится, что ли?

— Открой, дело важное.

Сеня вышел на улицу.

— Дело, брат, нехорошее затевается, — встретил его Константин.

— А что такое случилось?

— Понимаешь, нехорошо... Я в правлении был. Акт на тебя хотели составить... Гурка-Скворец все говорил: «Составить акт на Трошина Семена...»

— Акт? За что? Сам же бригадир... А Алексей Степанович что?

— Он только и ответил: «Я свое мнение сказал».

— Неужели он поверил?

— А кто его знает, — неопределенно сказал Константин. — Ты сено косил?

— Косил.

— Возил себе?

— Да как же я колхозное сено себе возить буду?!

— Хорошо... Значит, Гурка-Скворец наплел... А ты почему косил там, где не положено, где сенокоса еще не начинали?

Сеня подробно рассказал, зачем ему надо было косить. Заключил он так:

— Неужто поверят, что я сено стал косить для себя? Да не возьму я и былинки колхозного! Убей — не возь-

му! Ну, как это я не догадался раньше! Лучше копал бы лопатой. — Но, подумав, он сказал: — Нельзя лопатой: не копает там никто и никогда.

Константин постучал палочкой в раздумье, а потом сказал:

— Ну, ты спи. Спи: утро вечера мудренее.

Сеня ничего не сказал Маше, чтобы не волновать ее. Он тихо лег спать.

Около часа ночи Алексей Степанович сидел у себя дома за столом в одной майке. Он только пришел с работы, начинающейся с шести утра, и пил молоко. Домашние все спали. В одной руке он держал газету, бегло просматривая ее, в другой — кружку молока. Через открытое окно он вдруг услышал, как кто-то стукнул о плетень палисадника и осторожно, будто крадучись, шел вдоль плетня к калитке. Тихо скрипнула калитка. Человек шел уже вдоль стены хаты, внутри палисадника. Такого еще никогда не было, и Алексей Степанович подумал уже недоброе: выключил свет и стал в простенок меж окон, прислушиваясь. В хате было тихо. В палисаднике тоже тихо. Так прошло несколько минут. Потом Алексей Степанович услышал, как человек, осторожно ступая, пошел обратно к калитке.

«Значит, кто-то просто подслушивал», — подумал хозяин и, высунувшись в окошко, окликнул:

— Кто тут?

— Не спишь, Алексей Степаныч? Это я, Константин.

— А ведь ты ко мне забрел, Костя. Заблудился?

— Нет. В своем селе я не могу заблудиться. Но только думал я так: не спит — постучу, спит — уйду. Ан и ошибся: ты не спишь.

— Ну, садись на лавку. Я выйду.

Когда Алексей Степанович вышел из хаты, Костя спросил:

— Читал, наверно? Тихо у тебя как.

— Читал газету.

— А мне Сеня привез Островского «Как закалялась сталь». Эх, и книга, Алексей Степаныч! Какие люди бывают! — Он немного подумал и добавил: — Эх, и книга! По-нашему написана — для пальцев.

Алексей Степанович подумал: «И как это я ни разу не привез ему книги? Привезу, обязательно привезу».

— Я тебе спать не даю. Я — по делу, — сказал Костя.

— Значит, важное дело, если ночью пришел.

— За то, что ночью пришел, прошу прощения. А дело важное: о человеке... О Сене поговорить пришел.

— А что такое? — спросил Алексей Степанович, будто и не догадываясь.

Константин рассказал Алексею Степановичу все так, как рассказывал ему Сеня.

— Понимаешь, Алексей Степаныч, — закончил он; — у него даже и в уме не было, что подумают плохое. Волков он выследил. А что он еще мог там делать из таких работ, какие всегда видят волки? Пахать там нельзя, копать нельзя — никто там не копал. А сено там скоро косить будут — на лугу покосчили. Гурке-Скворцу не верь: Скворец — брехун спокон веков, и ничего-то он не видит. Слепой он в жизни, этот Скворец несчастный, — так ему и помирать, безобразнику и охальнику.

Ровная и спокойная речь Константина в тихой ночи лилась убедительно. Алексей Степанович понял сейчас, здесь, рядом с Костей, что хотя он и управляет колхозом уже около трех лет, но в душу каждому еще не заглянул. Вот и Константину не заглянул. А глядеть надо. И он произнес после молчания:

— Я и не поверил Гурке. Не волнуйся, Костя. — Он подумал темного и, положив на плечо Константина ладонь, задумчиво сказал: — А насчет венчиков для чистки одежды я подумаю. Только все это надо организовано. На зиму надо заготовить материал. Подумаю.

— Спасибо тебе, Степаныч! — взволнованно произнес Константин. — А я, признаться по душам, подумал уже так: человек ты рабочий, с завода, пятнадцать лет не был в селе. Механику знаешь и агротехнику уже изучил. Но... понимаешь ли колхозников? Видишь, как я подумал-то неумно. Вот и хорошо: ошибся я, значит.

— Привыкаю, Константин. Помаленьку привыкаю понимать, — говорил Алексей Степанович, не снимая руки с плеча собеседника. — И Сеню начинаю понимать: один любит сад, другой — пчел, а Сеня любит охоту, поле, природу. И колхозник хороший.

Константин ушел домой успокоенный, и прикосновение руки председателя чувствовал до тех пор, пока не уснул.

Утром пришел за Сеной посыльный: вызывали в прав-

ление. Сеня шел в правление мрачный. Внутри кипела горькая обида.

— Садись, Семен Степанович! — пригласил его председатель. — Мы по отцу-то тезки с тобой.

Сеня сел, смотря прямо в лицо председателя. Тот заметил, что Сеня угрюм, и, догадываясь о причине, увидел в его взгляде нечто новое, чего не замечал раньше: глаза Сени выражали непреклонность и готовность защищаться.

— Ну? Выследил? — задал вопрос Алексей Степанович.

— Выследил.

— Теперь дальше что?

Сеня прижал фуражку к груди и с оттенком досады сказал:

— Да не возил я сена! Не себе косил... — И он, не договорив, отвернулся к окну.

Алексей Степанович встал из-за стола, накинул крючок на двери, чтобы никто не вошел, и несколько раз молча прошелся по кабинету.

— Ты вот что, Семен Степанович! — заговорил он наконец. — Иди-ка на волков и сегодня... Раз выследил — надо дело до конца доводить. Сколько тебе дней требуется?

Сеня поднял удивленные глаза, широко открытые, и проговорил неуверенно:

— А сено?..

— Плюнь. Понимаю. Убей волков, Семен Степанович.

— Не знаю. Может, и убью.

— Ты брал когда-нибудь волка?

— Нет. От старых охотников, в Житуках, слышал, как их...

— Убей.

— Сегодня нельзя еще идти: подготовиться надо, картечи накатать. И день надо ясный, солнечный: в такие дни они от логова уходят. — Сеня говорил тихо, уверенно, и не сказал ни одного лишнего слова.

Алексей Степанович толком не понял, как это он собирается бить волков у логова в то время, когда они уходят от него. Председателю, может быть, и не это было важно: он понял человека.

— Не куришь? — спросил он, подавая папиросы.

— Нет.

— Ну и не кури. Это лучше. Расскажи-ка мне, как к тебе приходил Гурей Кузин, к Крутым ярам.

Сеня рассказал, ничего не скрывая. Алексей Степанович одобрительно улыбался, и Сеня повеселел.

Кто-то постучал в дверь. Алексей Степанович сказал:

— Ну, Семен Степанович, действуй. Уничтожить выводок — огромная польза колхозу. На тебя надеюсь... Да! А может быть, загонщиков дать?

— Непроходимое там место, загонщики не выгонят.

— Ну, думай. Действуй.

Снова кто-то постучал. Алексей Степанович откинул крючок, и Сеня столкнулся в дверях, лицом к лицу, со Скворцом. Маслянистые прищуренные глазки у него сверкали искорками смеха, мелкие морщины перерезали щеки крест-накрест так, будто оставили следы его безалаберной и бездумной жизни. Гурка был явно в веселом настроении.

Сеня вышел.

— Вызывали? — весело и громко спросил, кланяясь, Гурей.

— Вызывал, — угрюмо и тихо ответил Алексей Степанович.

— Явился, обратно, как часы!

— Явился, обратно, — иронически повторил председатель.

— Обратно, — сказал Гурей, уже сбавив тон.

— Обратные часы, — зло сказал Алексей Степанович.

Гурей растерялся и затоптался на месте, будто стоял босыми ногами на колючем татарнике, и повторил:

— Часы. Точно.

— Нет, не точно. Ты — часы обратные: не в ту сторону стрелка идет.

В соседней комнате послышался сдержанный смех. Кто-то там, изнемогая от смеха, охнул.

Гурей ничего не понимал: он сразу как-то раскис, растопырил ноги и уже моргал медленно, опуская веки, как сонная курица надвигает пленку на глаза. И молчал.

— Та-ак. Давно врешь? — рубанул вопросом председатель.

Гурей молчал.

— «Обратно» забыл? Эх ты, Гурей, Гурей! Ну что тебе за такую ложь придумать?.. Судить за клевету по статье — пользы тебе не будет. Вот что: возьми подводу,

поезжай к Крутым и перевези все сено на колхозный двор. А Семену Степановичу отвезешь, как и полагается по уставу, каждую десятую копну. Это тебе в наказание за брехню: и люди будут знать, и сам запомнишь.

— Это как? К Крутым? К в-в-волкам?

— А это уж я не знаю, к кому. Сено перевезешь. Понят? И Семену Степановичу — десять процентов. Дошло?

— А это кто же будет, обратно, Семен Степанович?

— «Обратно» забыл? Сеня-охотник — вот кто! Не Сеня он, а Семен Степанович Трошин.

Гурей почесал локтями бока и тоненько заскрипел:

— Я человек, обратно, леригиознай. Мне лучше бы в церкву пойтить, раз уж грех такой. Замолил бы грех, раз уж так. В церкву бы, чем за сеном. Он и сам перевезет.

— Ничего, ничего. Перевези сено, а потом замолишь. Кстати, и мой грех замолишь: мне бы судить тебя за клевету, а я вот против закона поступаю. Замолишь?

Гурей вздохнул и поплелся из кабинета, шаркая подошвами.

Весь день Сеня работал на черном пару, разбрасывая навоз по клеткам. Усталый, но довольный, он пришел вечером домой. Маша задержалась на прополке картофеля — ее не было дома. Сеня отмыл ботинки от налипшего навоза, вымыл ноги, снял рубашку и вымылся до пояса. Маша пришла, когда он уже вытер тело полотенцем и так, без рубахи, копался в ящичке, выбирая лучший свинец. Она разожгла огонь под таганом, на загнетке, поставила варить картошку, а сама подошла к Сене и молча обняла его. Потом она просмотрела рубашку Сени и, обнаружив маленькую дырочку, тут же искусно зашила ее. Сегодня она была особенно ласковая, но какая-то тихая. Сеня чувствовал это по ее прикосновению к волосам, по улыбке и все поглядывал да поглядывал на нее, бросая взгляд осторожно, незаметно. Он резал свинцовые палочки на картечины да поглядывал. И наконец сказал:

— Ты сегодня особенная...

— Как это «особенная»? — с оттенком легкой грусти спросила она.

— Да я и сам не могу тебе сказать, какая ты.

Она неожиданно села рядом с ним на лавку, прислонилась щекой к его голому плечу и прошептала:

— Может быть, тебе не ходить на волков... Боюсь, Сеня. Один ведь идешь.

— Как это так «не ходить»? Сам Алексей Степаныч дал команду — уничтожить выводок, — удивился Сеня.

И снова Маша оказалась побежденной.

Рано утром следующего дня Сеня тщательно скатал нарезанные вчера кусочки свинца в круглые шарики — получилась отличная картечь: зарядил десять патронов, пересыпав картечь картофельной мукой (для кучности боя), залил верхние пыжи воском, чтобы не отошли, и отправился к Крутым. Вместо ботинок он опять же, как и в первый раз, надел сапоги и сунул за голенище кинжал. В рюкзаке была буханка хлеба, на плечах — легкий ватник. Он шел налегке, не обременяя себя ничем лишним: ружье и лопатка.

Теперь-то он шел с ружьем — волки далеко могут его почуять. Поэтому, еще задолго до подхода к месту, он обогнул яр и пошел против ветра. Надо было сделать так, чтобы ни разу ветер не донес запаха ружья до логова и, что не менее важно, чтобы волки не увидели Сеню. Иначе вся охота пропадала.

Но, несмотря на все предосторожности, в этот день он не видел волков.

В сумерках он осторожно — теперь уже под ветер — отошел на полкилометра назад и заночевал в остатках прошлогодней соломы старой скирды. Огня разводить нельзя было. Сеня поел хлеба, густо посыпанного солью, и лег на солому. Ему не спалось: он думал о волчице. Видела она его или нет, но было ясно, что она осторожна. Сеня был убежден: «знакомая» знает его в лицо, узнает его по походке, даже по кашлю или чоху и, если учует при нем ружье, волчат перетасчит в другое место немедленно. Волк не может поверить человеку — волк ненавидит человека как непримиримого своего врага. Сеня знал, что, если поранит волчицу, а не убьет наповал, волчица, защищая детенышей, перекусит ему горло, как ягненку: раненная у логова, волчица страшна даже для бывалых волчатников. Так думал Сеня, засыпая. «Вдвоем бы», — мелькнуло в мыслях. Но в селе нет охотников, кроме него.

На второй день он увидел волков среди дня в километре от Крутых. Значит, волки на день уходили. А раз уходили, то только по протоку — иначе он их заметил бы. И Сеня решил начинать. Перед заходом солнца он

сполз по водомоине вниз в яр, прикрываясь бурьяном и ковылем, и засел в засаду около стенки протока, под густым кустом.

Стемнело. Наступила ночь. В овраг опустилась холодная, мутная пелена тумана. Самого тумана не было видно в темноте, и казалось, тяжелая мокреть придавила человека в глухом яру. Ружье стало влажным, скользким. Сеня и не пытался вытирать ружье, избегая малейшего движения, не производя даже ничтожного шороха. Это было очень трудно: кости вскоре начали неметь, пальцы от непрерывного сжимания шейки приклада сделались твердыми и непослушными; он старался чаще шевелить ими, но даже и это движение ему казалось опасным: волки чутки! Короткая июньская ночь была в этот раз длинной, тяжелой, сырой. Уже за полночь, а Сеня не видит и не слышит ничего: ни единого звука, ни малейшего шороха.

Но вдруг... он вздрогнул! — хрустнула кость. Он явственно это слышал: позади него хрустнула кость. Потом он услышал легкое повизгивание, похожее на то, когда провинившийся щенок скулит, перевернувшись вверх лапками и ожидая наказания, — или волчонок был за что-то отлупцован матерью, или они покусали друг друга за трапезой... Ясно: волки были за спиной у Сени — в глубине зарослей, у родника. Они вошли не протоком, где сидел Сеня, а иной тропой. У Сени мелькнула мысль: «Не означает ли это повизгивание того, что волчица уже начала перетаскивать волчат на другое место?» И ему сразу показалось, что он в очень глупом положении: сидит, и волки знают, что он сидит. Но как же так? Когда он засел, то ветер еще тянул на него от логова, потом сразу опустился туман, притупляющий чутье волка, потом Сеня вместе с ружьем стал мокрым — это тоже выгодно для него, так как уменьшает запахи до предела. Но могло быть и так: волчица подходила к Сене, но он не разглядел из-за тумана. Нет. И этого не могло случиться: дно протока меловое, белое, и на нем даже в тумане можно видеть волчицу за пятнадцать—двадцать шагов; он присмотрелся к кустам и еще раз подтвердил мысленно: «Нет, этого не могло случиться». И, тем не менее, все было туманно для Сени, как туманно вокруг, в яру.

С такими мыслями, с онемевшим телом, продрогший от сырости, он услышал на рассвете шорох: волки шли по

зарослям. Видимо, была у них тропа: шорохи были легкими — волки не пробивались через колючий терновник, а шли своей тропой, изредка шевеля ветки, задевая их боками. Потом все стихло.

Сеня осторожно повернулся лицом к зарослям. Теперь он смотрел вверх, на край яра, где, по его мнению, должны выйти волки,— там выходила навверх узкая и мелкая, в полметра, промоина. Вероятно, подошва ее не имеет растительности, а кустарники просто скрывают ее звонми сплетенными ветвями. Сеня не ошибся: волчица и волк вышли там. Они чуть посидели, посмотрели вокруг, в разные стороны, и медленно, спокойно пошли — волчица впереди, волк позади. Это было метрах в двухстах от Сени. Он решил так: если они вечером или ночью входили в заросли там же, то ружье они не могли почуять. Другого утешения он придумать не мог, но и на этот раз надежда не оставила его.

Кое-как разогнув онемевшие ноги, он размял их, потоптавшись на месте, пошевелил руками, энергично потер локтями бока и поднялся на верх яра, к воронке и копнам сена. Сеня замер от неожиданности: здесь никакого тумана не было — все далеко-далеко видно.

— Дурак я, дурак! — Сеня шлепнул фуражкой о землю. — Да как же я не сообразил, что по туманному яру она не пойдет!

И верно: в тех случаях, когда чутье чем-либо ограничено, волк надеется на острое зрение. Так и в ту ночь — они входили и выходили сразу навверх по другой тропе. И Сеня снова вполголоса ругал себя:

— Эх ты, Сенька, Сенька! Сколько же тебе еще лет жить надо, чтобы поумнеть? Какой же из тебя охотник?

Но как бы обидно ни было, а теперь Сеня окончательно считал волчицу хитрее себя, осторожнее, опытнее и даже проникся к ней уважением.

— Ну молодец ты, знакомая, молодец! — говорил он тихонько, успокоившись.

Взошло солнце. Запели жаворонки. Запоздалая зайчиха проковыляла на покой, на дневку: заляжет теперь в лежке и заснет с открытыми глазами, видящими и во сне; прижмет уши так, что слуховые отверстия остаются открытыми, всегда наготове.

«Ох ты, мудрая! — подумал Сеня. — Около волчьего дома уцелела. Съедят они тебя, дай срок, не доживешь

до зимы. Разве ж ты не знаешь: где волки, там зайцев нет? А ты все живешь, косолапая теща. И ты, должно быть, хитрее меня».

Сеня вздохнул и присел на копну. Вдали, влево от леса, на чистом паровом поле он снова увидел волков — значит далеко от логова не уходили. Они трусцой перебежали сейчас мимо работающего трактора, не обращая внимания на его близость и рычание мотора.

Вскоре Сеню потянуло в сон. Он прилег на копну и, прижав к груди заряженное ружье, уснул сразу.

Спал он недолго — на вольном воздухе человек отдыхает быстро. И Сеня проснулся приблизительно в завтрак. Он сел, закусил, протер ружье и устремил взгляд на то место, где, по его определению, должно быть логово.

Ветерок подул ему в лицо — это хорошо. Но что делать теперь дальше? Оставить жить семью волков и идти домой на посмешище всему колхозу? Тогда снова, чем ближе к осени, овца за овцой будет убывать стадо. Нет, он не уйдет от яра. А дальше? Сидеть еще ночь, две, три? Нет уверенности в том, что «знакомая» не учует его. Раскопать нору? Но тогда можно взять только волчат. Зато после волчица будет нещадно мстить всей округе. Бывали случаи, когда старая волчица вырезала до тридцати голов овец в одну ночь, мстя за своих детенышей. Нет, так нельзя. И постепенно, рассуждая сам с собой, взвешивая свои наблюдения за все дни, Сеня решил.

Как только пришло решение, он немедленно встал, оставил рюкзак в копне, проверил патроны и направился на другую сторону яра — туда, где выходила скрытая промоина. Вскоре он был уже там. Короткий и пристальный осмотр подтвердил, что тропа есть. Сеня застегнул ватник на все пуговицы, хотя ему без того было жарко. Но ватника он в копне все-таки не оставил: он был ему необходим при исполнении намеченного. Идти по волчьей тропе было невозможно: колючие кустарники и сплетения ветвей настолько густы, что пройти по ним можно, только расчищая путь топором. Сеня стал на четвереньки и пополз вниз по узкой промоине. Местами он передвигался попластунски. Верх ватника изорвался в клочья на половине пути. Он исцарапал лицо и руки о колючки терна и шиповника, но все лез и лез. Вскоре Сеня услышал журчание родника. Он остановился передохнуть. Прислушался. Вдруг на рукаве ватника он увидел самую настоящую

мясную муху; это и обрадовало его и в то же время мурашки высыпали на спине: близко мясо — близко логово. Он уже почуял запах псины. А через минуту наткнулся на телячий череп. Сеня встал.

В пяти шагах от него была кручка. Над нею росла огромная дикая груша, корни которой свисали вниз. А между корнями зияло отверстие — волчья нора в естественном углублении. Перед норой — небольшая площадка в три-четыре квадратных метра, чистая, без растительности. И на этой площадке сидели два волчонка, возрастом месяца полтора. Они смотрели на Сеню сначала удивленно, а потом все ж юркнули в нору друг за другом: странное все-таки животное на двух ногах появилось у них в доме, — лучше убраться.

Сеня пробрался к норе. Срезал кинжалом лещину и потыкал ею в нору, держа наготове ружье в правой руке. Нора была совсем не глубокой, не более метра, но широкой внутри. Волчата урчали там тихонько, удивляясь появлению палки, но других звуков никаких не издавали (волки лаять не умеют). Волчицы не было. Сеня снял с себя узкий ременный пояс, положил его в карман и стал расчищать лопатой входное отверстие норы. Время от времени он останавливал работу и прислушивался. Иногда ему чудились шорохи — тогда он брал ружье на изготовку и некоторое время сидел в напряженном ожидании. Но каждый раз шорохи оказывались не волчьими. Только один раз он действительно весь похолодел: неожиданно над самым ухом застрекотала сорока, будь она неладна! А эта птица может привлечь волчицу своим криком. Она так, эта чертова сорока: человек пройдет — протрещит, волк пробежит — протрещит, заяц проковыляет — трещит, окаянная! Иногда Сене казалось, что ружье лежит не так удобно, чтобы при случае быстро схватить его, тогда он клал его прямо перед коленями, со взведенным курком, и продолжал работать. Встреча со «знакомой» здесь не обещала ничего хорошего — она появилась бы из гущины зарослей одним прыжком, — и Сеня работал, работал до боли в суставах. Все ему казалось, что входное отверстие расширяется медленно. Но это только казалось: через полчаса он уже мог пролезть туда до половины туловища.

И вот он снял ватник. Прислушался. Вытер пот со лба рукавом. Еще раз посмотрел на ружье и... полез в

логово. Особенный запах волчьей псины ударил в нос. Он ощупал рукой впереди себя дно логова, оно было чисто, без подстилки. Он повел ладонью по дну вправо и, наткнувшись на мягкое, заграбастал всеми пальцами волчонка. Звереныш попался так, что рука Сени перехватила ему горло, и тот захрипел. Сеня вылез. Разжал пальцы. Волчонок хлебнул несколько раз воздух и, сразу опомнившись, попробовал нырнуть в логово. Но Сеня прижал его обеими руками, и, несмотря на то, что тот скалил зубы, извивался, урчал, он перевязал его поперек живота пояском. Темно-темносерый щенок, не видевший никогда человека, уже возненавидел его всем существом: он грыз ремешок, кусал землю, но ничего не мог сделать. Сеня завернул его в ватник и направился старым следом на верх яра. Теперь на гору да с волчонок, ползти по промоине стало труднее. Но надо было спешить, иначе он может встретиться со «знакомой» личице к лицу — нос к носу!..

И снова — проклятая сорока! Но он спешил, спешил изо всех сил.

Когда он поднялся наверх, рубашка представляла сплошные лохмотья, а тело исколото и иссечено во многих местах; это не так страшно — пройдет, главное в том, что Сеня уже наверху. Он вновь срезал палку, привязал к ее концу ремешок от волчонка и потащил его. Волчонок упирался, то волочался на всех четырех лапах, то на боку; иногда он ухитрялся вцепиться зубами в ремешок и так тащился волоком, свернувшись калачиком.

Сеня шел быстро. Но, когда волчонок начинал кувыряться, он останавливался, давал ему немного успокоиться и снова тащил его дальше. Шел так, чтобы ветер дул все время в спину. Так он дотащил волчонка до воронки, откуда следил за волками ранее, в первые дни. Здесь он развязал обессиленного и измученного волчонка, который уже и не пытался укусить, — он тяжело дышал, вздрагивая. Затем Сеня быстро выкопал маленькую ямку, в полметра глубиной, завернул волчонка в ватник и уложил свёрток в ямку.

Теперь Сеня сидел с ружьем в руках, лицом на ветер, в ту сторону, откуда тащил волчонка. Расчет у него был таков: волчица пойдет по следу волчонка обязательно, пойдет немедленно, как только появится в норе; ветер будет от нее — ружья она не почует, а Сеню увидит только

в нескольких шагах. Он сам шел на короткую и страшную встречу со «знакомой».

Прошло уже много времени — Сеня не знал, сколько прошло. Он не заметил, как солнце свалилось за полдник, как уже упала прохлада, но он сразу ощутил приближение вечера по уменьшению ветра. Ветер затихал. Это было очень и очень плохо. Но, как только он это подумал, он увидел... «Знакомая» на рысях бежала по следу детеныша, опустив голову. Сеня прижался к земле, сжимая в руках ружье. Волчица бежала, не раздумывая, торопясь, прямо и прямо на Сеню: она была готова на все. Вот уже двести метров... Сто... Она повернула голову и посмотрела в сторону, не останавливаясь. Вот уже Сеня видит широкий лоб, палкой опущенный хвост и горбинку на спине.

— «Не поранить, — думал он, — не поранить. Или наповал, или совсем не попасть». На какую-то малую долю секунды он вспомнил Машу, но это было только на миг... «Знакомая» остановилась в десяти шагах от Сени с ходу, будто напорвшись на что-то. Она почуяла. Она подняла шерсть на спине и, чуть оскалив зубы, пошла шагом. Сеня увидел бледнокрасные дёсны волчицы. О, она уже точно знала, кто взял волчонка. Знала! И Сеня выстрелил ей в грудь. На секунду дым закрыл волчицу от него. Он-то знал, что перезаряжать одностволку поздно, и выхватил кинжал, встав на колени. И увидел: «знакомая» пала на передние лопатки, уткнувшись носом в землю; она подняла зад на лапы, не желая падать совсем; она еще хотела встать и сделать прыжок — один-единственный, последний прыжок, чтобы вцепиться зубами и, не разжимая их, умереть. Но она встала на четыре лапы и... рухнула наземь.

Все было кончено. «Знакомая» лежала перед Сеней. А он еще с минуту все стоял на коленях с кинжалом в руках, с запекшейся от царапин кровью на лице, в изорванной рубашке; он тоже был страшен.

...Самца он убил на следу волчицы: Сеня оттащил ее волоком метров сто и снова засел в засаду. Волк напорлся на него, подскочив на больших прыжках, не подозревая засады. Увидев Сеню, он резко повернул в сторону, бросившись наутек, но картечь ударила в бок.

— Трус! — презрительно сказал Сеня, подходя к мертвому самцу.

В норе оказалось еще три волчонка. Их Сеня убил уже утром следующего дня. Он стащил матерых волков и трех волчат в воронку и потихоньку пошел домой, неся подмышкой живого волчонка, завернутого в ватник. Он освободил ему голову совсем, слегка перетянув ватник вокруг шеи. Может быть, потому, что волчонку было уютно и тепло, а может быть, исстрадавшись, он был уже благодарен за то, что его приютили,— он не кусался, не рычал, но на Сеню не смотрел, отворачивая мордочку в сторону и вниз.

Последние метры до своей хаты Сеня шел через огороды с трудом, пересиливая себя, чтобы не лечь прямо на картошку.

Маши не было дома. Сеня посадил волчонка под печку, снял остатки рубахи и брюки, подошел к колодцу во дворе, вылил на себя ведро холодной воды, немного посидел, без мыслей, на срубке и только после этого стал мыться.

...В правление он вошел тихо, как обычно, и постучал к Алексею Степановичу. Тот отозвался:

— Входите!

А когда Сеня вошел, улыбаясь, пожал ему руку.

— Алексей Степаныч! — обратился Сеня.— За волками подводу бы послать.

— Уби-ил?!

— Убил.

И только после того, как привезли волков, а народ собрался глазеть на них, удивляясь и восхищаясь, Алексей Степанович оценил и понял, что сделал Сеня: на это могли решиться только три охотника вместе, не меньше. А Сеня постоял перед волками в задумчивости и, не обращая внимания на похвалы и восклицания, тихо произнес, глядя на «знакомую»:

— Вот и все... Страшная-то какая! Как же это я, правда, один-то пошел?!

Гурей понял это по-своему и сказал:

— Это, Семен Степаныч, тебя осподь-бог, обратно, спас.

— Глупый ты, Гурей Митрич, хоть и пожилой человек,— возразил Сеня.

И удивительно: Скворец ничуть не обиделся, а сказал в ответ так:

— Каждому человеку, Семен Степаныч, богом, обрат-

но же, свой разум дан. — Он помолчал и с явной завистью продолжал: — Это, значит, по триста рублей за голову от государства — полторы тыщи, да за шкуры, обратно, не меньше шестисот. Эва! Больше двух тысяч! — Он почесал в затылке, крикнул от зависти и поддернул брючишки, уцепившись одной рукой за переднюю пуговку, а другой — позади. Гурка-Скворец очень сожалел сейчас о том, что не он убил волков, и ему казалось, что он вполне мог бы это сделать. Но он только повторил еще раз: — Да-а... Боле двух тыщ.

Алексей Степанович дополнил:

— Это не все, Гурей Митрич: полагается премия от колхоза — по овце за каждого матерого волка.

Но Сеня не слушал Гурку. Сеня смотрел и смотрел на «знакомую», не отрываясь, и сказал еще раз, тихо, шепотом:

— Вот и все кончено...

Дома он вытащил волчонка из-под печки и задумчиво смотрел на него долго, долго. А рядом сидела восхищенная Маша.

Было это два года тому назад.

Волчонок стал уже большим волком. Никому из чужих он не позволяет к себе прикасаться, кроме Кости. Алексей Степанович все так же бесшумно руководит колхозом и часто заходит к Сене домой. Тогда волк смотрит на председателя спокойно, с достоинством.

В общем, если хотите видеть ручного волка, заходите к Семену Степановичу Трошину прямо в колхоз «Светлый путь». Только имейте в виду, днем его не застать — он обязательно на работе. А если охотится, то придется подождать его денька два. Он все тот же, так же любит жизнь — вот эту, нашу, настоящую жизнь, что порою отражается и в капле.



---

## Кондратий Урманов

### ПОДРУГА

Я поднялся на перевал горы Омур-Тау<sup>1</sup>. Еще далеко до заката. С этой высоты, к югу, я вижу неоглядные просторы Атбасарской ковыльной степи, сверкающие зеркала озер, голубую ленту реки Джабайки и недалеко от нее — нашу школу. Стоит она, окруженная высокими тополями, среди степной равнины, вдали от сел и городов. Там начало моего пути в жизнь, там—начало моей дружбы и любви...

...Радостью и болью запечатлелось то далекое время в моем сердце.

Помнится, весной, в закатный час, низко над горизонтом пролетела комета Галлея с широким пылающим хвостом, а осенью — умер Лев Николаевич Толстой. Жил великий писатель земли русской в своей Ясной Поляне, трудился до последних дней, а перед смертью уехал из родного дома, чтобы умереть среди чужих людей, — так писали газеты. Мы, дети крестьянской бедноты, собравшиеся с разных мест, чтобы получить начатки знаний «на казенный счет», очень немного знали о Толстом. Смерть этого великого человека словно пробудила нас, и многие ученики потянулись в библиотеку.

И летом и осенью занятые работой на полях и лугах, мы редко брались за книгу. Режим в школе был жестоким, мы постоянно находились под наблюдением управляющего Петра Кузьмича. От его холодных серых глаз

---

<sup>1</sup> Гора жизни (казахск.).

трудно было укрыться, чтобы посидеть с товарищами, почитать книжку, по-детски вспомнить своих близких и родное село. Высокий, в плотно застегнутом зеленом мундире с золотыми пуговицами, он появлялся неожиданно и наводил на нас страх. Не признавались никакие болезни, пока не свалишься с ног; за всякий проступок — карцер.

Не менее жестоким было отношение старших учеников к младшим. Они отбирали личные вещи: пимы, рубашки, полотенца, деньги и все проигрывали в карты. Пожаловаться — нельзя.

Как-то в ненастные слякотные дни осени были проиграны мои пимы, а самому мне, за непокорность, присуждено старшими отработать вне очереди неделю на скотном дворе. Вместо пимов мне дали старенькие ботинки без подошв. За эту неделю я так простудился, что свалился в постель. Но я был предупрежден старшими — не жаловаться. Через три дня меня посетил управляющий Петр Кузьмич. Мы его звали «Медным пятак» за шрам на правом виске — след от неудачного выстрела. Он тоже «болел» неизлечимой страстью к картам, проигрывал в городе десятки стогов сена, заготовленного нами для скота, проигрывал прекрасную пшеницу, а нас кормил ржаным хлебом.

— Ну, что лежишь? — спросил он сердито. — Хочешь, чтобы я отправил тебя к родителям? Нам лентяи не нужны...

Я не мог сказать о причине болезни и со слезами на глазах умолял его не отправлять меня в село.

— Я буду заниматься в классе, а как только поправлюсь, выйду на работу.

Он молча повернулся и вышел.

Через неделю привезли из города Атбасара фельдшера. Тот осмотрел меня и уже в коридоре я услышал диагноз.

— Жесточайший ревматизм... — сказал он управляющему.

Всю мучительную силу своей болезни я узнал позднее. Единственное лекарство — «летучая мазь» — не помогало, и нечем было согреть ноющие ноги. Наша спальня, где размещалось сорок четыре койки, обогревалась одной печкой, отапливаемой кизяком; было холодно и сыро в этом огромном помещении. Старшие ученики срывали с

младших одеяла и спали спокойно, а мы кучкой собирались у печи и коротали ночь.

Утром я на четвереньках переползал в класс и внимательно слушал уроки. А вечером, когда в спальне играли в чехарду, чтобы согреться, я был лишен этой возможности и сидел за книгами. Мое прилежание иногда обращало внимание Петра Кузьмича, и он спрашивал, как мои дела. Я говорил, что плохо, и он уходил.

В эту зиму, прикованный к постели, я много читал. Особенно любил Пушкина и Горького. Пушкин открывал мне неведомый мир в певучих стихах и чудесных сказках, а Горький звал в просторы, рассказывал о людях свободных, стойких и своевольных. Над книгами я забывал мучительные боли и жил в иных краях, среди других людей большой нашей родины.

О поэтах и писателях я думал, что это люди особенные, одаренные богом; они свободны, как птицы, ездят по всему свету, все видят, все знают, а вот Горький на них не похож. Он все ходит и ходит по родной земле; жестоким обличением мерзостей жизни он тревожит одних людей и поднимает других.

Но однажды я услышал стихи нашего ученика Лапенко. Он был тихим и часто плакал от старших. Может быть, это и сблизило нас. Ко мне он относился внимательно и сердечно.

Как-то перед весной, когда в степи появились уже первые проталины, Лапенко вернулся из столовой, принес мне тарелку супа и кусочек хлеба. Я поставил тарелку себе на колени и стал есть, а он, несколько смущаясь, сказал:

— А знаешь, я написал стихи...

Я не поверил; стихи мог написать только поэт, а Лапенко кто? Я знал, что он любит читать и на память пересказывает много стихов. Зимними долгими ночами, когда все спали, он садился к печке, под лампу, долго шелестел страницами книги и что-то беззвучно шептал, покачивая черной кудрявой головой.

— А ну-ка, прочитай, — попросил я его.

Он стал лицом к окну и, устремив куда-то вдаль карие глаза, прочитал восемь строчек. При этом лицо у него было какое-то особенное, вдохновенное и голос немножко дрожал. Мне запомнились последние четыре строки:

Вспомнишь — и так хочется  
Снова былое вернуть!..  
Но пусть тревоженья уносятся,  
Можно в мечтах отдохнуть...

О чем он тосковал, чего хотел? Может быть, он вспомнил свои родные края, близких, товарищей и его нежная детская душа рвалась из этой клетки, где все так не приветливо и грубо?.. Меня поразили не смысл, — я не понимал, что к чему, — поразили размеренность строк и еще то, что это написал Лапенко, наш ученик, ничем не отличающийся от других.

Я долго лежал, охваченный непонятым волнением. Уже давно ушел Лапенко, а я все думал о его стихах и втайне завидовал. Мне самому захотелось написать стихи моему единственному другу, маленькой десятилетней Патиме, дочери нашего пастуха Даскажи; хотелось рассказать ей, как я устал от страданий и одиночества. Ведь я не видел ее с того дня, как Даскажа, окончив пастьбу нашего стада, переселился на высокий берег Джабайки, в свою кыстау<sup>1</sup>. Я бы не раз побывал там, да вот... ноги...

Летом юрта пастуха стояла недалеко от школы. Даскажа оказывал мне всяческое внимание, но вместо трудного моего имени называл меня Микайля; из рук его маленькой жены Марьям я часто получал угощение: кусок мяса или чашку кумыса. А Патима? Она так привязалась ко мне, что, казалось, не могла дня прожить, чтобы не встретиться. Иногда, не смея прийти в школу, она поджидала своего Микайля где-нибудь за углом столовой или у огородного плетня. Ребята замечали ее и говорили мне: — Иди, тебя киргизушка ждет...

Целую неделю мы работали, как батраки, с утра до вечера и только в воскресенье отдыхали. В эти редкие дни я с утра убежал к Даскаже. Патима угощала меня кумысом, брала за руку, и мы отправлялись к реке Джабайке.

У нас было мало слов для разговора, но это не смущало ни ее, ни меня. Увидев в небе жаворонка, она говорила:

— Бозторгай...

Я повторял несколько раз это слово, чтобы запомнить, а потом говорил:

---

<sup>1</sup> Зимовье.

— Жаворонок...

Теперь очередь была за ней, и она отдельно выговаривала:

— Жа-бо-ро-нок... Жа-бо-ро-нок...

Показывая на траву, она спрашивала: что это?

— Трава...

— Шоп... — говорила она.

Так мы шли до реки и перебирали всякие слова. Иногда я спрашивал, показывая на жаворонка:

— Ким?<sup>1</sup>

— Жа-бо-ро-нок... — смеясь, отвечала она.

У Джабайки мы садились под большой черемуховый куст, слушали пение птиц, наблюдали за бесшумным полетом лиловых стрекоз и молчали. Я не знал, о чем думала Патима, и неожиданно спрашивал, показывая на прозрачную воду:

— Ниге?<sup>2</sup>

— Су...

— Вода, — говорил я.

— Бода... Бода...

Вечером я записывал в тетрадку все новые для меня слова и переводы к ним, а встретившись с Патимой, начинал экзаменовать ее. Она была неграмотна, но ее выручала прекрасная память. Были и затруднения: в ее родном языке звук В заменялся Б, а шипящие Ч и Ш — выговаривались, как Ш. Слово «человек» она произносила — «шелобек», а «цветок» совсем не могла выговорить. И все же наш словарь обогащался, и мы понемногу начинали понимать друг друга.

Всю зиму я не выходил из школы и не видел Патиму. С приближением весны я все чаще и чаще стал вспоминать ее и с нетерпением ждал первой встречи.

Но вот пришла весна; благодатное солнышко погнало снег со степи, запестрели проталинки, появились птицы. Наш школьный столяр Опанас, длинноусый украинец с вьющимся черным чубом, сделал мне костыли, а против окна, у которого стояла моя кровать, повесил на тополь скворечник.

— Скушно, братику? — спрашивал он меня, заглядывая в глаза. — Та кыпь ты цю хворобу, нехай ии витры

---

<sup>1</sup> Кто это?

<sup>2</sup> Что это?

унесут Весна вже прийшла, скворчки прилетили... Я тобі скворешеньку поблыжче повисыв, щоб веселише було...

— А Даскажа переїхав? — не утерпел я.

— Переїхав, переїхав... Вже скотыну пасе...

С цього дня я почав ждати Даскажу, а с ним и Патиму.

С наступлением весны все ученики рано утром покидали спальню и отправлялись в поле, на пахоту. Я оставался один и еще больше мучился одиночеством. Правда, костыли помогали мне выйти на крыльцо, послушать пение жаворонка или скворца, увидеть весенний перелет уток и крикливых гусей, но это еще больше тревожило меня. Хотелось быть вместе с товарищами, шагать за плугом или сеялкой и вдыхать ни с чем несравнимый аромат весны.

В эти тоскливые дни, когда за стенами школы уже начинала бушевать обновленная, как бы заново начинающаяся жизнь, я написал стихи моей подруге:

Ласково солнце греет,  
Потому что пришла весна.  
Приходи, Патима, скорее,  
Ты у меня одна!..

Даже самому не верилось, что я мог написать такое. Четыре строки — и всю душу мою видно!

Я сидел на кровати, смотрел на веселого скворца и не читал, а пел свои стихи, пел и ждал Патиму. Ведь это ей написаны эти строки, и она поймет мою тоску.

В этот утренний час во всей школе было тихо, только на верхнем этаже слышались размеренные шаги управляющего: он в окне наблюдал за работавшими в поле учениками. Неожиданно, в коридоре застучали тяжелые сапоги Даскажи. Я по стуку догадался, что это идет он.

Несмотря на теплую погоду, Даскажа был одет в тяжелую шубу, в сапоги с пайпаками<sup>1</sup>, а бритую голову покрывал лисий малахай. Лицо у него было узкое, с тонким носом, под которым чернели жиденькие усы, да на нижней губе завивался пучок таких же реденьких волосков.

---

<sup>1</sup> Валяные чулки.

Он был весел и еще издали приветствовал:

— Амансызба <sup>1</sup>, Микайля!..

А пожимая мне руку, спросил:

— Кол, аяк жаксыма? <sup>2</sup>

Я отрицательно покачал головой.

— Твоя больна?..

Даскажа не плохо объяснялся по-русски, но всегда свою речь пересыпал словами родного языка.

— Ой-бай!.. Однако твоя сапсем жаман <sup>3</sup>, Микайля!..

Даскажа рассказал, как провел зиму: ловил зверушек и шкурки возил продавать в город — жене и дочери купил обновки. Больше ему, видно, хвалиться нечем было, вздыхал и ушел.

Я знал их зимовье-землянку. Темно в ней, холодно и сыро. Может быть, поэтому он так радостно настроен — теперь можно жить в юрте, на свежем воздухе.

Назавтра Даскажа явился снова, с большой кошмой и мешком. Из мешка он достал сверток, развернул его и подал мне кусок хорошо сваренного мяса:

— Жейде <sup>4</sup>!.. Молодой барашка!..

Я не успел еще съесть мясо, как он налил мне в плоскую чашку кумыса.

— Ишь!.. Траба молодой — кумыс жаксы!.. <sup>5</sup>

Я пил и чувствовал, как живительное тепло разливалось по всему телу. А Даскажа, схватив кошму, ушел, и я слышал, как он хлопотал под моим окном. Потом он явился снова и, поддерживая меня под руку, повел в палисадник.

Когда мы спускались с крыльца, я услышал голос управляющего, он стоял на балконе.

— Ты куда его, Даскажа?

— Сонса мала-мала грей — его лучше!.. А то Микайля сапсем пропул!.. Ветра гуляй — Микайля падай!.. Сапсем жаман!..

— Ну, полечи, полечи, лекарь!..

Это было сказано с презрением, и мне тяжело было слышать. Ведь он совсем забыл обо мне, а чужой, иноплемennyй человек оказывает мне помощь.

<sup>1</sup> Здравствуй.

<sup>2</sup> Руки, ноги здоровы?

<sup>3</sup> Плохо.

<sup>4</sup> Ешь.

<sup>5</sup> Пей. Трава молодая — кумыс хороший.

Кошма была разостлана в палисаднике в таком месте, где деревья не затеняли солнце. Укладывая меня, Даскажа говорил:

— Сонса — ой, жаксы, ой, карашо!.. — Потом закатал мои штанишки выше колен и погладил теплыми руками мои опухшие ноги.— Сонса — грей, кумыс пей, нога — ходи... Прямо ходи Даскажа юрта, Патима гости ходи...

Согретый солнцем и, может быть, еще больше человеческой лаской, я уснул со слезами на глазах.

Уверенность Даскажи во всемогущество солнца перedalась и мне.

— Сонса, кумыс — ой, карашо!.. — часто повторял я.

Теперь я каждый день брал кошму, подушку и, тихонько передвигаясь, отправлялся в палисадник. Если в спальне были старшие ученики, они беззлобно провожали меня:

— Наш Қостыль на дачу покатил...

Я не обижался на эту никчемную кличку. Мне бы тоже хотелось поработать в поле, но...

В обеденный перерыв ко мне приходил Лапенко и приносил что-нибудь покушать. Часто читал свои стихи или пересказывал прочитанное, и мне было легко с ним.

Однажды утром, когда я лежал в палисаднике на кошме и наблюдал за трепетными солнечными пятнами на больших окнах нашей библиотеки, явилась Патима; в руках у нее темный чайник и маленький узелок. Одета она в бордовый безрукавный камзольчик, весь прошитый розовыми ленточками, сиреневое платье было длинным и чуть не закрывало маленькие козловые сапожки, а на голове красная шапочка, опушенная колонковым мехом и украшенная большим совиным пером. Она, как нарядная лисичка, прошмыгнула между зеленых кустов акаций и, улыбаясь, остановилась возле меня:

— Амансызба, Михайля!.. — приветствует она.

Я привскочил от радости и, схватив ее за тонкую руку, посадил рядом с собой на кошму.

— Патима!.. Как я тосковал о тебе!.. — Я держал ее за руку, любовался черными блестящими глазами и первым ровным загаром на лице. А она растерянно улыбалась и не понимала того, что я говорил.

— Ни айтасын!<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Что ты говоришь?

Ну, как ей сказать? У нее был слишком бедный запас русских слов, и еще — она многого не понимала в нашей жизни. Это объяснение я откладываю на будущее.

В черные косички Патимы вплетены красные ленточки с пришитыми к ним серебряными монетками. При повороте головы монетки звенели, и было приятно слушать этот звон.

Как отец, Патима спросила: здоровы ли мои руки и ноги. Я сказал, что стало лучше, что кумыс и солнце хорошо помогают.

— Карашо... — повторяет она и наливает мне из чайника чашку кумыса.

— Ишь!..

Я с жадностью припадаю губами и без отдыха выпиваю всю чашку.

В узелке оказались кусочек мяса и баурсаки<sup>1</sup>.

— Жейде... — подает она мне.

Я закусываю, пью кумыс и, услышав песню жаворонка, спрашиваю:

— Кто это поет?

— Жа-бо-ро-нок... — смеется Патима.

Значит, не забыла, милая ты моя Патима!

— А это кто? — показываю я на скворца.

— Караторгай...

— А по-нашему — скворец.

— Шкборес... — с трудом выговаривает она.

— А что он делает?

Патима долго вспоминает, глядя на скворца и играя монетками своих косичек.

— Пой, — наконец говорит она.

— Не пой, а поет, — поправляю я.

— Пой-от... пой-от... — Патима рада и повторяет несколько раз это русское слово.

— А теперь слушай... — говорю я и начинаю нарस्पев читать стихи, написанные для нее. Каждое слово я произношу раздельно и вкладываю в него все свои переживания. Патима слушает, но, вижу, ничего не понимает. Только когда я произношу:

Приходи, Патима, скорее,  
Ты у меня одна!..—

---

<sup>1</sup> Шарики из теста, жаренные в масле.

у нее делаются большие глаза и она виновато смотрит на меня. Музыка слов, должно быть, трогает ее, а что там, за этими словами? Я читаю еще и еще, читаю уже с отчаянием остаться непонятым, а она сидит расстроенная, смотрит на меня и тихо спрашивает:

— Ни айтасын, Микайля?..

Тогда мне приходит мысль — сделать перевод моих стихов на казахский язык. Но как я могу это сделать, когда сам знаю мало слов? Я достаю из-под подушки тетрадку и начинаю переводить. Первые две строчки мне никак не удаются. Я не могу перевести слова «ласково» и «потому что». А две последние строчки я перевел так:

Журуге, Патима, тезь,  
Сын минике бирь!..

И мне показалось, что Патима поняла сокровенный смысл этих строк. Она улыбнулась, и по лицу будто луч солнца прошел:

— Ой, Микайля!.. Сыныке — акын...

Это было уже большой похвалой мне за неполностью понятые стихи...

Встречи наши были редкими; Патима боялась управляющего и насмешек учеников.

Уже расцвели кусты желтой акации, покрылась белым цветом черемуха, а молодые листья тополей при чуть заметном ветерке лепетали, как малые дети. Зазеленели наши обширные пойменные луга и возвышенная степь за рекой Джабайкой. Пели скворцы, жаворонки, зорьки, щебетали ласточки, а в тихие вечера из черемуховых и тальниковых зарослей доносились соловьиные трели, и я часто и долго не спал, слушая весь этот радостный, неумолкающий весенний гамон.

Как-то я занялся составлением словаря. Патима сидела рядом на кошке и смотрела, как бегал карандаш по белым страницам тетради. Я показывал на полынь, а она говорила — жуусан, ковыль — боз, дерево — агаш, тополь — терек, акация — караган, воробей — суукторгай, копчик — жегалтай... Много-много слов прибавилось в тот день в моей тетрадке. Мы так были заняты своим де-

лом, что не слышали, как к ограде палисадника подошел управляющий.

— Вы что это делаете?

Мы вздрогнули. Я всегда боялся его трескучего сухого голоса. Патима вскочила, схватила чайник и скрылась за кустами, а я, как прикованный, сидел с тетрадкой в руках и смотрел в его холодные, недобрые глаза.

— Что это еще за дружба?

— А разве нельзя? — спрашиваю я, и долго гляжу на его чистое, выбритое узкое лицо с темным пяточковым шрамом на правом виске, и глотаю иакипающие слезы.

— Ну и глупый... — говорит он, видя мое волнение. — Что у тебя товарищей нет? Ведь она киргизушка, а ты — русский, какая же может быть дружба?..

Он не понимает этого. Я молчу, гляжу в его строгие глаза и не могу унять слез. Ведь у меня никого здесь нет, к кому бы я мог так привязаться, как к Патиме. Разве ему об этом расскажешь?..

— Мне хочется выучить казахский язык, — говорю я, всхлипывая.

— Перестань, — приказывает он. — Дружбу завел!.. Ты мальчик, а она девочка... Чтобы я больше этого не видел...

Петр Кузьмич, наконец, уходит, а я еще долго не могу успокоиться, и мне кажется, что Патима больше ко мне не придет.

Так оно и случилось. Прошло много дней, а Патима не приходила. Теперь бы мне самому ходить к ней, да ноги еще плохо слушаются. И все же я решил. С большим трудом добрался до столовой, потом, прячась за плетнем нашего огорода, вышел к старнице, из которой Даскажа брал воду. Его потемневшая юрта стояла недалеко, и я надеялся здесь кого-нибудь увидеть.

Старицу окаймляли высокие кусты тальника, и за ними мне легко было укрыться от глаз управляющего. Там я однажды и дождался Патиму.

Ничего не подозревая, она быстро шла к старнице с чайником и кумганом в руках.

— Патима! — шепчу я из укрытия.

Она вздрогнула и остановилась.

— Ой, Михайля!..

Мы садимся и долго сидим под зеленым навесом куста, и Патима забывает, зачем она пришла. Здесь нас

никто не видит, мы можем говорить громко, никого не стесняясь, но разговор не вяжется, словно бы мы забыли все слова или сделали что-нибудь нехорошее и нас ждет наказание.

— Тебе плох? — спрашивает она.

— Нет, мне теперь лучше... Видишь, куда дошел...

— Дошел... — повторяет она и просит: — Пой мала-мала...

Новых стихов я еще не написал, а старые петь не хочется, и я рассказываю ей об управляющем, какой он строгий и что все его боятся.

— Жаман кси<sup>1</sup>... — соглашается она.

Возле юрты я вижу мать Патимы; она прикладывает руку к белому жаулыку<sup>2</sup> и с беспокойством смотрит в нашу сторону.

— Сыныке аже тныш<sup>3</sup>, — говорю я.

Патима вскакивает, гладит тонкой рукой мое плечо, хватает чайник с кумганом и идет за водой.

Когда она проходит мимо, я спрашиваю:

— До завтра?

— Ертенъ...<sup>4</sup> — кивает она головой, и в ее косичках звенят серебряные монетки...

Управляющий сказал, чтобы я больше ходил — «разминал ноги». Это меня очень обрадовало. Теперь я мог уходить на целый день, в школе я никому не нужен был.

Рано утром я брал две удочки, кусок хлеба, небольшое ведерко и шел на Джабайку. Там у меня было любимое местечко под большим кустом черемухи, против острова, покрытого воздушными гроздьями хмеля.

У старицы я копал червяков и неторопливо шагал по лугам. Обильные травы все были в цвету, и над этим цветным покрывалом мельтешили бабочки, стрекозы, перепархивали жаворонки, чеканчики, желтогрудые пльски, и оттого, должно быть, что я мог ходить, большая радость наполняла мое сердце и я пел бесконечно долгую песню без слов.

Я научился ловить рыбу и был доволен, когда мое

---

<sup>1</sup> Плохой человек.

<sup>2</sup> Головной убор.

<sup>3</sup> Твоя мать беспокоится.

<sup>4</sup> До завтра.

ведро наполнялось хотя бы до половины уловом. В такие счастливые дни я заходил к Даскаже, и мать Патимы, тихая и скромная Марьям, жарила серебристых чебаков. Если Даскажа был дома, а у меня в ведре оказывалась небольшая щука, он выбрасывал ее собакам.

— Шортан — жаман балык<sup>1</sup>,— говорил он, не объясняя, почему щука плохая рыба.

Иногда весь улов я приносил в столовую. Старшеклассники съедали всю рыбу, не оставляя не только малышам, но и мне — добытчику.

Как-то мне посчастливилось поймать трех крупных линей. Эта богатая добыча так обрадовала меня, что я сейчас же отправился в школу; мне хотелось подарить этих линей нашему столяру Опанасу за его внимание ко мне. Но возле столовой меня встретил управляющий и отобрал рыбу.

— Ты себе еще поймаешь...

Мне было жалко рыбу, но я был доволен, что он не запретил ходить на реку.

Патима часто бывала со мной на рыбалке, сидела рядом и пристально смотрела на поплавки. Если поплавочек начинал шевелиться, она тихонько касалась моего плеча и шептала:

— Ключ-от...

Потом сама научилась вытаскивать чебаков и была очень рада.

Когда на лугах созрела клубника, а на кустах смородины дозревали крупные черные ягоды, Патима приносила с собой большую деревянную миску, собирала ягоды и угощала меня. Смородина была еще кисловата, я доставал из кармана кусок сахара и протягивал Патиме. Она, как мышонок, грызла понемногу сахар и бросала в рот горсточками ягоды.

— От жаксы! — восхищалась она. — Кант ды каракат — сапсем дямди...<sup>2</sup>

Но нашей тихой радости пришел вскоре конец.

Начался покос, и, несмотря на то, что я плохо ходил, управляющий отправил меня метать стога. Эта тяжелая

---

<sup>1</sup> Щука — плохая рыба.

<sup>2</sup> Ой, хорошо! Сахар да ягоды — совсем вкусно!

работа была совсем не по моим силам. Я отставал от товарищей, а Петру Кузьмичу казалось, что я ленюсь.

И однажды утром, когда зачитывали наряды на работу, управляющий сказал мне:

— А ты собирайся домой... До каких же пор мы будем нянчиться с тобой?

Горько было слышать эту несправедливость. Здесь я заболел, стал почти калекой, и меня отсылают домой, как негодного. Я просил, старался убедить его, что скоро поправлюсь и буду работать, как другие.

— Дайте мне пока какую-нибудь иную работу...

Он холодно оборвал:

— У нас не госпиталь. На твое место найдутся другие... После обеда зайдешь за документами...

Два дня я прожил в ласковой семье нашего столяра. Опанас бранил управляющего, называл его «каторгой».

— Малу дыгину, як ту собаку... Эх!.. — и крутил головой.

Куда теперь идти? Из дома я ушел, чтобы учиться, и вот... Как же быть? Как меня встретят ровесники, что скажут родители? Ведь они надеялись когда-то увидеть меня ученым человеком, думали — в старости им будет на кого опереться.

А столяр говорил:

— Ни, хлопче, пишов у дорогу — иды, назад не ворочайся...

Я и решил идти в город, в жизнь, за куском хлеба. Столяр дал мне адрес знакомого маляра, снабдил продуктами.

— Счастливо, — пожимая мне руку, говорил этот славный человек. — На свити ще не мало добрых людей...

Но прежде чем отправиться в далекий путь, я зашел проститься с Патимой и ее родителями.

Даскажа был взволнован.

— Ой, алла!.. Сапсем худой шелобек управляй... Шайтан!..

Патима, как только услышала обо всем случившемся со мной, вышла из юрты. А тихая Марьям, не зная русского языка, глядела на меня с материнской нежностью и все порывалась что-то сказать, не раз касалась рукой моей головы. Она положила в мою сумку кусок отварен-

ной баранины, несколько колобков сухого кислого молока и немного баурсаков.

На прощанье Даскажа подал мне чашку кумыса и, по обычаю, прижал мою руку к своей груди.

— Жел бакыт!..<sup>1</sup>

Мне не терпелось скорее увидеть Патиму, но когда я вышел из юрты, ее нигде не было видно.

Я пришел к старице, где мы часто встречались, окликнул, но кусты ответили: Патимы здесь нет...

Я шел лугами к реке и нигде не видел своей маленькой подружки в сиреновом платье. Я не мог уйти, не простившись.

У голубой Джабайки с белыми цветами водяных лилий, под высоким кустом черемухи, где стояли мои два удилница, я, наконец, увидел Патиму. Она сидела, подперев голову руками, и плакала.

— Ну, зачем же слезы?..

Я стараюсь приободриться, сажусь рядом и глажу ее черные волосы.

— Не надо, Патима, плакать...

У меня бесконечно много слез в душе — и от обиды на несправедливость, и от несбывшейся мечты, и от того, что безжалостно рвется моя первая дружба, — но я креплюсь; у меня много ласковых слов на языке, но я боюсь ее слез.

Мы долго молчим, потом она спрашивает:

— Микайля, ты придошь?..

— Приду, Патима, обязательно приду... Вот схожу в город и приду...

И мне казалось, что я говорю правду. Ну, как я могу забыть ее? Как я могу вычеркнуть из памяти доброго Даскажу, тихую Марьям и славную семью Опанаса? А этот пышный ковер лугов, прозрачные воды Джабайки, острова, повитые хмелем, немолчные песни птиц? Разве все это можно забыть? Они, эти видения детства, всю жизнь будут согревать и мучить мое сердце...

Патима смахнула рукавом слезы, и ее личико посветлело.

— Ну, вот и хорошо!

Я пожимаю ее узенькую руку и говорю, что солнце покатилося к закату, а идти мне далеко.

---

<sup>1</sup> Счастливый путь!..

-- Кош!..


Патима, как и отец, желает мне счастливого пути и еще долго не отпускает.

Я ушел, а Патима так и осталась сидеть под большим кустом черемухи, где мы часто ловили с ней рыбу...

Позднее, когда были пройдены уже какие-то пути в жизни, а сердцехватило больше горечи, чем радости, я часто вызывал в памяти образ моей подруги детства и писал ей песни. Большие дороги увели меня слишком далеко от любимых мест, запечатлевшихся в памяти на всю жизнь, и я не знаю дальнейшей судьбы Патимы. Может быть, она стала знатным человеком своего колхоза, может быть, работает в городе на заводе или учит детей тому, чего сама в детстве не знала,— грамоте. Не знаю. В моей памяти она так и осталась маленькой девочкой с тугими косичками, позванивавшими мелкими серебряными монетками, девочкой в сиреновом платице, какой я оставил ее под большим кустом черемухи, на берегу голубой Джабайки...

И когда по весне над нашими просторами летят из теплых стран лебеди, гуси, журавли, утки, когда в лесах и на поймах звенят песни певчих птиц, мне всегда кажется, что это Патима посылает их ко мне, как привет из родного края, привет весны, привет неумиряющей дружбы...





*Дмитрий Холендро*

## СТАРАЯ АКАЦИЯ

Когда привезли сено, Паша хотела спилить старую акацию у ворот. Сохнувшее, кривое дерево мешало широченному возу протиснуться во двор. Но едва курносый возчик Алешка прикоснулся пилой к потрескавшейся коре, Паше стало жаль акации, и она велела сбросить сено на улице. Проходивший мимо садовод Гусенко остановился и помог Алешке перевернуть воз. Потом Паша долго таскала сено на вилах к сараю, а перетаскав, упала на мягкую и колкую, пахнущую свежим летним днем траву, сжалась калачиком и заплакала.

Это было первое лето после того, как от нее ушел муж, Григорий, и хотя она не подавала виду, вряд ли не замечали люди, до чего горько ей быть покинутой.

В том, что ее перевели из ясельной кухни в сад, в звено, где она теперь, неожиданно для себя, стала старшей, в том, что самые маленькие успехи ее отмечались то в речи громкоголосого председателя, то в статейке стенной газеты «За урожай», даже в том, что ей первой привезли сено, Паша чувствовала доброту людей, и сердце ее отзывалось на это. Но вместе с тем со дна его поднималась огромная боль, и Паша уходила ото всех, чтобы не видеть, как ей тяжело, а оставшись одна, плакала над своей неудачной жизнью.

Наплакавшись, Паша поднялась, занесла пилу в дом и повесила на крючок.

Здесь, в этой кухоньке, стоял перед своим уходом Григорий и криво улыбался. А Паша сидела на табуретке, босоногая, с непокрытой, наспех причесанной головой:

она едва успевала отправлять Зину и Тольку в школу, бежать на работу в ясли и возвращаться домой ко времени, чтобы приготовить обед мужу, повкуснее, получше...

Она сидела и кормила кашей Феденьку, как ни в чем не бывало, словно ничего и не происходило в доме. И голос у нее был ровный, негромкий.

— Уходишь?

— Ухожу, — сквозь ухмылку отвечал Григорий. И была это ухмылка виноватой, но еще больше нахальной, невыносимой. — Не нравится мне больше здесь. Спасибо этому дому, пойду к другому.

— А дети?

— Дети? — удивился Григорий. — Двое-то ведь не мон!..

— Я их от тебя не скрывала, — сказала Паша, вытирая Феденьке рожицу. Он болтал ногами, сползая с ее колен, а она крепче прижимала его к себе. — Их отец на фронте голову сложил, ты знаешь. Ты гостинца им ни разу не принес, — пытаюсь крикнуть, прошептала она, — а когда любил, обещал родным отцом быть...

Феденька продолжал болтать ногами. Григорий запер ключиком чемодан, поднял его и пошел через сад, пообещав вернуться за «пацаненком».

А она и не собиралась отдавать ему младшего сына... В окне помутнились зеленые грядки гороха, и пушистые деревья, и угол золотистого, теплого вечернего неба над ними... Это побежали слезы. Феденька начал размазывать их пальцами по ее щекам и сам заревел.

Сколько обещаний дала она себе тогда! Вырастить детей только так, как мечталось, чтобы дочка поступила в университет, а Толька стал офицером, как он хочет. Вдруг доведется ему служить в той самой части, где служил и Степа, его, Толькин, отец. И никогда не обижать, не шлепать ни Тольку, ни Феденьку. И прежде всего, прежде всего одной смело вести дом и чтобы люди и слезинки не видели на ее глазах. Никогда! Ни слезинки!

Но в тот же вечер она снова плакала, и слезы капали на фотографию ее и Степы. На фотографии они молодые. Паша в белом платье, с цветком на груди, а он в расстегнутой косоворотке, улыбается и косится на нее глазами, хоть фотограф наказывал им смотреть в аппарат. А он косится на Пашу.

Теперь ей под сорок. Сорок лет! Всего полжизни как

будто прожито, но это только так говорят. У нее, у Паши, тети Паши, Прасковьи Семеновны, прожита вся жизнь.

И смешно ей, что появился садовод Гусенко, тоже немолодой человек, с большими узловатыми руками.

Паша особенно заметила его надежные руки. Они могли приподнять и опрокинуть воз сена и бережно подвязать к колышку помидорную ботву по дороге в сад. Однажды, искоса наблюдая, как Гусенко, перешучиваясь с девушками ее звена, сворачивает цыгарку, Паша подумала, до чего маленькой кажется цыгарка в его руках.

И вот появился он, Гусенко, возле ее двора, когда привезли сено, а вечером будет снова стоять под старой акацией и курить.

В этот вечер Паша не выдержала, выглянула в окно и шутиливо окликнула:

— Дождитесь кого, Иван Петрович?

— А мне интересно знать, кто в этом доме живет, — ответил Гусенко.

— До сих пор Прасковья Парамонова жила.

— Эх, — сказал он все тем же тоном и с завистливым вздохом, — по всему видно, хорошая хозяйка она.

— Это по чему ж такому видно? — усмехнулась Паша и посмотрела на свой двор с буйным виноградником вдоль плетня, густыми огородными грядками, новыми ульями под грушами, из-под острых глянцевиных листьев которых уже выпали крупные сережки плодов. Груши подросли и обещали хороший урожай. — У нее, как у всех, — сказала Паша.

— Как у всех, — повторил Гусенко, — да ведь она без хозяина!

И были в его голосе и восхищение и тоска. Паша рассмеялась.

— Ей так нравится. Самой-то лучше! Уж теперь никто не дождется... Сама, сама!.. Она ученая!..

Потом прибежала Зина. Прибежала веселая, шумная, с газетой, которую везли сюда из областного центра на почтовом грузовике и еще на таратайке сельского почтара, так что она попала в село только вечером. А в этой газете поместили большую фотографию Паши в нарядном платье, справленном прошлой осенью, после урожая. Сшить она его себе сшила, но не надевала. И только когда приехал фотограф из области, Зина заставила мать сняться в этом платье и перед тем, как им выйти на ве-

ранду, где дожидался фотограф, долго сама причесывала ее, чмокая и чмокая в загорелые щеки.

Паша вышла на фотографии моложавей, чем в жизни, и сейчас, про себя, сказала дочке спасибо за свой наряд. Ей нравилось, что была она в газете такой красивой.

Ночью, прикрыв дверь в комнату, где спала Зина, и завесив газетой лампочку от Тольки и Феденьки, похрапывающего, как взрослый (набегался за день!), Паша включила свет и села перед зеркалом, усмехаясь своей затее. Большие темнокарие глаза глянули на нее из зеркала. Смутно, словно издалека, пробивалась ее былая красота — густые черные брови изгибались все теми же строгими полукружиями, губы чуточку приоткрыты, словно хотели быть виднее, и ноздри маленького носа обрисовывались мягко, как у девушки. Паша улыбнулась, и в глаза ее, до сих пор нелюдимые, проник свет. Потом она потрогала мочки ушей, нашла в ящичке комода серьги, надела их и еще посидела немного. Сняла и легла спать.

Но сна не было и в помине. Приоткрыв занавеску, Паша посмотрела на улицу. Под старой акацией тлеет огонек цыгарки.

Гей, прочь вы, глупые мысли! Паша протянула перед собой свои, тоже крепкие и надежные, как у Гусенко, руки. И ощутила в них усталость и сухость на ладонях от коры и соломы, которой обвязывала деревья в саду против гусениц. Разве мало она сделала и может сделать сама? И сколько нужно еще сделать, чтобы ответить на все людское добро! А она о чем задумалась? Значит, не очень устает, если не валится камнем на кровать и не засыпает сразу.

И пришел новый вечер. Паша возвращалась домой из сада. Она задержалась немного, поглядев на груши и яблони с берега ручья, а потом вспомнила про собрание у Зины, про то, что, значит, ей самой надо зайти в ясли за Феденькой, потому что Толька забудет, и заспешила.

Навстречу ей по зеленой, едва заметной в траве дорожке бежал садовод. Он бежал вприпрыжку, высоко подкидывая колени, а на плечах у него сидел Феденька, и оба хохотали, и оба не видели ее, а когда увидели, то оба примолкли. Паша ссадила Феденьку и дала ему крепкий шлепок.

— Чтoб тебе неповадно было! Знай, кого оседлывать! — сказала она строго.

— За что же? — с улыбкой спросил Гусенко и посмотрел Паше в глаза.

— Ничего этого не надо, Иван Петрович, — быстро проговорила Паша, хватая Феденьку за руку.

— Не хочу, — сказал Феденька.

Но Паша подхватила его на руки. Гусенко молча зашагал рядом.

— Вы подумайте еще, — сказал он наконец.

— Я уже подумала.

— Пожалуй, я еще вас спрашивать буду, — сказал Гусенко.

— Нет, не надо ничего, — повторила она, упрямо. — Были у вас жена, у меня мужья, хватит с нас. И не спрашивайте и не ходите напрасно, ночами-то, как мальчишка. Уже люди говорят!..

— Не ходить?

— Не ходите! — усмехнулась недобро Паша и потрясла головой. — Ни к чему. Не в том бабья доля, что один ушел, а другой у ворот стоит..

И что-то еще хотела прибавить, но слов не нашлось, и Гусенко отставал, а она шагала быстрее и быстрее...

Ночь стояла лунная, и в открытые окна лился поток душистого запаха: старая акация у ворот цвела. То ли этот медовый запах, пропитавший каждую каплю воздуха, то ли белое сиянье полной луны снова не давали спать Паше. Легким шагом она вышла на веранду, думая, что здесь свежее, хотя все окна в доме были открыты настезь.

Был тревожный и светлый полуночный час. Круглая прозрачная луна над тенью высокого ореха словно выплыла из него, как из гнезда. Отчетливо слышалось, как пели на дальней улице девчата:

Ой, цветет калина

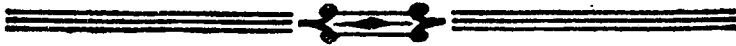
В поле у ручья.

Парня молодого

Полюбила я...

Паша улынулась и подумала: «Поют, а сами ничего еще и не знают о любви-то».

И глянула на старую акацию. Там, под нею, вспыхивала красная искорка цыгарки. И, притаясь, Паша смотрела на нее и молчала, словно боялась испугать эту искру, как что-то живое.



## Дмитрий Холендро

### ЛЕЛЯ

Утром вода в море бывает такой прозрачной, что плывешь и видишь свою тень на дне. Вода, как воздух. Будто ее и нет вовсе. Она почти не задерживает света, и плывешь в зеленоватом пространстве и видишь всю себя, а тень крадется за тобой в глубине, по дну.

Леля следила за ней, гребя руками, и улыбалась. Потому что ведь и в самом деле смешно и радостно, что море бывает таким прозрачным.

Таким его можно было застать лишь рано утром. Может быть, оно успокаивалось за ночь, когда все спало в тишине — и горы вокруг и ветры. Может быть, оно ленилось с утра? Не грешно и морю полениться немного, если все отдыхают. Может быть, оно было светлым в эти часы потому, что солнце здесь вставало не откуда-нибудь, а из моря.

Может быть, такое море было только здесь? Леля не видела других морей, да и с этим встретилась впервые в жизни.

Она приехала сюда с мамой отдыхать, и по утрам первой ныряла в волны, такие спокойные, что даже тоненькой кромки пены еще не было на берегу.

Вылезешь — волосы отжимать не надо. Они острижены у Лели коротко, как у мальчика. Не нужно закрывать бумажкой вздернутый нос. Уже облез, в первые же три дня. Леля ложилась у воды и нагребала перед собой горы гальки в поисках красивых камешков.

Вторым обычно приходил Гулливер — так прозвали его за рост. Он с размаху ложился рядом и сразу начинал

черкать прутиком по плечу Лели. На загорелой коже оставались белые метки.

— Гуля! — раздавался возмущенный окрик.

— А!

— Что ты колешься?

— Я?

— А я?!

Немного погодя он снова пускал прутик в ход, пока Леля не выхватывала и не отбрасывала прута подальше. Тогда Гуля начинал сдвигать в ее сторону песок с ладони. И, наконец, она сама забрасывала галькой его волосы, и шею, и плечи, ни капельки не жалея его даже тогда, когда веселый мальчишеский смех переходил в хриплые вопли о пощаде. Гулливер всегда немножечко притворялся.

Леля бросалась в море. Плыла, сначала — саженками, потом — брассом и как придется. И барахталась, и ныряла, и, усталая, доплывала до флажка, качающегося на обшарпанном спасательном круге. Дальше заплывать не полагалось.

Так бы и прошли все дни...

— Отпустите круг, — сказал кто-то однажды над ее ухом.

Она оглянулась. Рядом неслышно скользила лодка, и в ней сидел без рубашки совершенно кофейный мальчик, которого она раньше здесь не видела.

Это была лодка спасательной службы.

Леля перехватила круг другой рукой.

— Нельзя?

Лет ему было не больше, чем ей, но он очень важничал и во всяком случае не сказал ей ни слова. Только перестал грести.

— А если я устала, тону? — спросила Леля с усмешкой.

Он ничего не ответил, и она отпустила круг. Флажок, касавшийся ее плеча, выпрямился.

— О чем он с тобой там говорил? — поинтересовался Гулливер, когда она вылезла из воды.

— Боялся, что я его круг утоплю.

— Это идея — утопить спасательный круг, — сказал Гулливер.

— Утопи!

Но Гулливер стал кидать в нее камешками.

— Гуля!

— А!

— Перестань! — предупредила она, выбирая в гальке крупный голыш.

Волны, набегая, ласково щекотали ноги. В ямке, которую Леля раскопала прямо перед своим лицом, то поднималась, то приседала вода. Это дышало море, и, не оглядываясь, можно было угадать: вот волна подошла, а вот схлынула. Солнце пригревало. Снова тянуло в воду. Леля покосилась на лодку и подумала: «Поплывать бы в ней! Может быть, утащить у этого мальчишки его боевое судно? Может быть, заплыть — пускай спасает?!»

Ее давно тянуло к рыбацким лодкам, ночующим на берегу поодаль от пляжа. Ранним утром, еще сквозь сон, она слышала, как, стуча моторами, они уплывали в море. Поздними вечерами следила за таинственными красными значками на носах возвращающихся баркасов.

Она видела, как рыбаки чинили сети, растянутые на берегу, и смолили их, окуная в жаркий дымный котел, врытый по самые края в землю, брала в руки живую, выскользающую рыбу, и бородатый старик в майке-безрукавке объяснял, что это — кефаль, а это — ставрида... У старика лицо было морщинистое, доброе, и Леля попросилась в его пузатую лодку, чтобы поплыть туда, где на высоких кольях, поддерживающих в море сеть, сидели чайки.

— Устранвайтесь, — разрешил старик.

Но бригадир заупрямился, и старик сказал:

— Придется освободить.

От обиды она пожелала тогда им не поймать ни одной рыбки...

Пока Леле вспоминалась эта досадная неудача, на пляже появились другие ребята из дома отдыха. Гулливера, как он ни брыкался, раскачали за ноги, за руки и с победными криками бросили в море. Стали вместе шумно нырять и плавать, а потом, от нечего делать, мазаться жидкой глиной, размачивая в море серые легкие куски, отбитые от соседней горюшки. Клейкая глина быстро высыхала на теле, и все становилось похоже на странных пепельных человечков, будто залетевших сюда с другой планеты, например с Марса...

Все, что хочешь, представляй себе в этом фантастиче-

ски-ярком мире, среди безудержного блеска солнца, моря и неба.

Солнце, опрокинутое на землю, лучилось неистошимо. Тающая вблизи, тяжело синеющая вдалеке гладь моря вспыхивала пятнами. Не могло оно, такое огромное, вспыхнуть все сразу. Небо уходило за края гор и моря, но висело так низко, что по нему легко было провести рукой: ведь это прозрачное пространство над головой и есть то самое небо, про которое говорят, что его достать нельзя... А тут оно рядом...

Расплескивая воду, Леля вбежала в море, поплыла и — раз! — с головой ушла в прохладную глубину. Вынырнув, она осмотрелась: молчаливый мальчишка-лодочник застыл на месте, словно сам он был не человеком, а условным обозначением запретной зоны, как спасательный круг с флажком. Скучно же ему, наверно, там!

То погружаясь в воду, то выпрыгивая из нее и оглядываясь, как юркая морская птица нырок, Леля передвигалась, пока не схватилась за шершавый борт скромного судна спасательного флота.

— Покатайте нас! — попросила она, отбрасывая свободной рукой мокрые волосы с лица. Лодочник приподнял весло, чтобы не зацепить ее. — Покатайте, что вам — жалко?

— Отпустите лодку, — безжалостно сказал он.

— Эх ты, жадина! — с досадой проговорила Леля, крепко держась за борт.

Он молчал.

— Ребята! — озорно позвала она. — Сюда!

И стала первой взбираться в лодку. Пловцы спешили наперегонки. Паренек подождал, пока они, поругивая друг друга, неловко разместились на сиденьях. Теперь Леля рассмотрела его поближе. У него было сердитое лицо. Лыняные волосы и выцветшие брови напомнили ей одноклассника, которого звали «Седым». Очень похож! И Леля улыбнулась лодочнику и сказала:

— Поехали!

Солнечные блики прыгали по воде вокруг осевшей чуть ли не по самые борта лодки. Паренек тоже улыбнулся Леле, поднял и завел назад весла. Светлый дождь посыпался с них в воду.

— Полный! — скомандовала Леля.

Лодка развернулась, поплыла и... пристала к берегу.

— А все-таки покатались! — сказала Леля, первой прыгнув на пляж.

Она подхватила свой сарафан, надела на ходу, и он тут же промок пятнами от купальника.

...Два дня после этого Леля купалась в другом месте и заплывала, куда хотела. Мальчишки же подружились с лодочником и даже катались в его лодке. Звали и Лелю. Но она с Гулливером отработывала на волейбольной площадке подачу. Становилось скучно — садилась на мяч. Гулливер усаживался напротив и вытирал пот с лица. И снова кидали мяч друг другу.

Вокруг стояли горы, облитые солнцем. На ближнем склоне Леля увидела цепочку живых фигурок, пригляделась и узнала ребят.

— Куда это они? — спросила она почти испуганно.

— Да на озеро... — нехотя отозвался Гулливер. — Потащились... в такую жару!..

— На какое озеро?

— Где-то в горах.

— А кто сказал?

— Костя...

— Костя? Какой?

— Да этот... лодочник!

— Седой? — спросила Леля. — А он пойдет?

— Нет. Он же плавает. На своем дредноуте.

— Тогда я пойду, — и Леля побежала.

Она была городской девочкой, и ей очень захотелось взглянуть на горное озеро, а Гулливер взял мяч и кинулся следом.

И вот перед ними открылись горы. Издали они казались голыми и неживыми, а вблизи словно переменялись. В каждой выемке, будто в пригоршне, горы держали миндаль и кизил, а из каждой трещины по узловатым стеблям, как по веревкам, выбирался дикий виноград.

Бледнорозовые, в цвету, кусты шиповника стояли на самой высокой скале, куда забралась Леля. Среди камней попадались загадочные метлы мелких-мелких цветов на коротких ножках, точно обрызганные синькой. Сорвешь куст — и сразу букет в руке.

Леля прыгала с камня на камень, не подавая руки Гулливеру, все время пытавшемуся поддержать ее, словно она могла упасть!

Далеко внизу, на воде, точкой кружился «дредноут» с лодочником. Интересно, знает ли он, что это за синий бурьян, и какая гора виднеется справа и какая слева, и что прячется за ними. Должен знать — он ведь местный.

Озеро выглядело просто, с осокой по одну сторону и кустарником по другую, словно кто-то взял его снизу, поднял сюда и оно так и осталось синеть среди громоздившихся в небо скал.

Леля нырнула в озеро в чем была, и вода, оглушающе-ледяная, сковала ее. Мальчишки закричали, протянули с берега руки.

— Гулливер, — попросила Леля, не попадая зубом на зуб, когда выбралась на берег, — дай мне свои штаны!

Все мальчишки были в трусах, но Гуля не позволял себе такой вольности и даже днем носил брюки, а по вечерам ходил в пиджаке и галстуке.

— Пожалуйста, — сказал он Леле, чересчур громко захохотав. — Ты утонешь в них!

— Не утону! — крикнула она, побежав к курчавой, серебристо-зеленой рощице за озером. И сейчас же появилась оттуда в подвернутых Гулливеровых штанах. — Ребята! Здесь миндаль!

Миндаля нарвали в майки столько, что всю обратную дорогу грызли, грызли и еще принесли с собой. Зубы у Лели потемнели от кожуры молодых орехов. Для мамы она несла тот неизвестный синий куст.

Мама поцеловала Лелю, но сказала:

— На кого ты похожа?

— Я тебя огорчаю? — серьезно спросила Леля.

Положив голову на мамино плечо и глядя в сторону, она вдруг припомнила... Маленькую, ее всегда вертели, когда она приходила со двора. Ботинки в грязи, руки тоже, повернут спиной — на спине мел!

— У нас не дочка, а бандит какой-то растет, — говорил обиженно папа.

— Давай отдадим ее кому-нибудь, — предлагала мама шутливо.

— Кто ее возьмет?

Неожиданно потянуло домой. И, подсчитав, она не пожалела, что до отъезда осталось так мало.

Но, конечно же, надо было сходить еще к далекой бухте, — так условились с мальчишками. Возле этой бух-

ты попадались совершенно редкие сердолики. У Лели был один, но такой ничтожный, что его стыдно показывать дома...

О далекой бухте ребятам тоже рассказал лодочник Костя.

Туда не было ни обычной дороги, ни даже козьей тропы. Скалы, охраняющие ее, отвесно падали в море, и в бухту можно было только заплыть из соседнего залива, где среди мягких бородатых камней, залезших в водоросли, сидели здоровенные крабы.

— Нет, нет, — настойчиво возражала мама утром. — Я тебя никуда не пушу! Идти да еще плыть!

— Мамочка! — умоляла Леля. — Я принесу тебе живого краба!

— Спасибо. Мне совершенно не нужен живой краб, — отвечала мама. — Что я с ним буду делать?

Они разговаривали в своей комнате, расположенной на втором этаже дома отдыха, а внизу, в парке, под балконом, Лелю давно дожидался Гулливер.

— Не нравится мне этот ваш... семафор, — строго сказала мама, поглядев в окно. То ли как железнодорожница, то ли оттого, что Гулливер готов был весь день проторчать под балконом, мама спутала его прозвище. — И зачем тебе эти крабы?

— Сердолики! — нахмурилась Леля. — Ну, я не пойду!

— Ну, иди, иди, — разрешила мама, улыбнувшись чуточку грустно.

Конечно, Гулливер ходит и ходит тенью, но если бы не эта заманчивая бухта! Леле так хотелось туда попасть!

Дорога карабкалась с перевала на перевал. Не шли, а ползли по острым камням, а скалу оплывали так долго, что едва хватило сил. Потом ничком лежали на сером пляже, заваленном булыжниками величиной с кулак, а потом ходили, согнувшись, и до рези в глазах искали сердолики, камни-огоньки, будто это брызги моря остекленели в минуты здешних рассветов и затерялись в крупной гальке пляжа.

Галька отзывалась на каждый шаг: хруп, хруп. Леля наступала потверже: хруп, хруп. Снова ей казалось, что она в далеком путешествии, на земле, где еще не было людей.

С этим чувством она брела назад.

— Костя! — удивленно крикнул кто-то из мальчишек. Леля посмотрела.

Под скалой качалась знакомая лодка, но она была пуста. А Костя еле был виден наверху скалы. Он пома- хал рукой и стал провожать ребят и Лелю взглядом, пока они не спустились в ущелье, все поросшее тихой рыжей травой, угрюмо сидящей на камнях.

Леля оглянулась. В тот самый момент, когда она огля- нулась, Костя взмахнул руками, отделился от скалы и вниз головой полетел с нее в море.

И Леля подбежала к обрыву, остановилась и за- махала тапочкой, что несла в руке, а когда опомни- лась и заглянула в тапочку, сердоликов там не было. Ее камни-огоньки, собранные с таким трудом, все раз- летелись.

Костя сидел в «дредноуте», не поднимая головы.

— Что ты тут увидела? — услышался за спиной го- лос Гулливера.

— Интересное занятие — целый день кататься на лодке. Правда? — съязвила она.

— Он же подрабатывает, — небрежно объяснил Гул- ливер. — Зимой учится, а летом людей спасает.

Леля повернула к нему свое загорелое лицо. Упругие губы ее сложились неожиданно по-взрослому: не то в улыбке, не то в усмешке. Если бы Гулливер был внима- тельней, он заметил бы это, но он только потянулся к ней губами, и она увидела, как много рыжеватого пуха бле- стит в солнце над его верхней губой.

— Что ты хочешь? — спросила Леля беспомощно.

— Я? Поцеловать тебя.

— А если я не хочу? — спросила Леля, точно ждала от Гулливера совета. — Уйди!

Гулливер потянул носом.

— А что ты сделаешь?

— А вот что!..

Она шлепнула по его наклоненной голове пустой та- почкой и, приложив руки к бокам, «солдатиком» прыгну- ла со скалы вниз, и сразу сердце у нее задрожало и оне- мело на ветру.

Вынырнув, она увидела впереди ворох брызг. К ней плыл Костя. Она повернула и поплыла от него к берегу. Но он вылез раньше и встретил ее словами:

— Оттуда еще никто из девчат не прыгал!

— А что? — зло спросила Леля, стараясь сдержать дыхание.

— Эй! — задрал голову, крикнул Костя Гулливеру. — Прыгай! Чего он не прыгает?

— Леля-я! — долетел сверху голос Гулливера. — Я нарочно-о!..

Поднимая пыль, со скалы скатился камень и глухо бултыхнулся в воду.

Леля начала отжимать волосы. Извилистые струйки потекли по шее и по крепким мальчишеским плечам. Она посмотрела на босые ноги: вторая тапочка слетела во время прыжка и утонула.

— Сердолики мои пропали, — вздохнула Леля. — Жалко.

— Еще можете сходить.

— Я уезжаю.

— Когда?

— Сегодня, — ответила Леля очень сердито.

— Леля! — кричал Гулливер со скалы.

— А я думал... — сказал Костя и помолчал. — Я хотел вашим ребятам показать, где пещеры. Там кристаллы железняка, как золотые, шестигранниками. Будто бы их мастер сделал. А еще есть каньон — туда ночью забираются на луну смотреть. Но днем там лучше. Красные скалы. Еще есть у нас родник в горах — говорят, целебный. Кратер вулкана...

Он снова примолк.

— К нам сейчас две экспедиции приехали, из Ленинграда, — прибавил он, глядя в море и думая о своем. — С ними интересно ходить...

— А вы ходили?

— Ага. Смотрите, — вдруг сказал он равнодушно, — дельфины играют...

— Где?

— Вон, вон!

Но Леля так ничего и не разглядела.

— Может, на лодке со мной поедете? — спросил Костя.

Она помотала головой — не хотела. Костя, как стоял, с места нырнул в воду, точно дельфин — так подумала Леля, — и показался возле самой своей лодки. Леля с трудом зашагала по берегу. Лодочник подплыл к ней,

сделав несколько стремительных и сильных рывков веслами.

— Возьмите. Здесь без тапок нельзя! — и он кинул свои грязные резиновые тапки, бывшие белыми когда-то очень давно.

Камни действительно были очень острые. К тому же они лежали навалом, без тропы. Да еще солнце накалило их!..

Когда Леля пришла домой, розовые волны плескались у пляжа, розовыми верхушками шевелили седые масляны в парке. Как утром.

Со скамеек у балюстрады, поставленной над морем, взрослые смотрели на нее.

— Это кто? — спросил один, незнакомый новенький, своего соседа.

— Это девочка-мальчик, — улыбнулся его сосед.

— Как?

Да, ее называли так, кто любя, кто шутя, а кто и недовольно. Ну и пусть! А если ей весело нырять под водой, лазить по горам, ловить крабов! (Она все же несла маме живого краба, пойманного по дороге в мелкой и теплой бухте!) Если ей хорошо без нарядов и причесок! Как она не любит этих новичков, белых, как макароны!

Утром она пошла отдавать Косте тапочки. Море, качавшееся сбоку, как всегда, просвечивалось до дна. Зеленые, даже на вид скользкие камни глазели оттуда на Лелю сквозь толщу воды.

А Леля ничего не видела. Она шла по берегу с таким ощущением, точно ее уже не было здесь. И только была благодарна и за горное озеро, и за бухту, возле которой попадают крупные сердолики, словно ей все это подарили. И она так радовалась этому подарку! Может быть, он запомнится ей на всю жизнь!

Впереди зазеленел невысокий заборчик рыбацкого лагеря. По ту сторону заборчика, спиной к Леле, сидел парень с кофейной кожей и что-то писал кистью на носу вытасенной из воды лодки. Это был он.

Из палатки вышел сердитый бригадир, позвал Костю.

Костя пошел к нему, оставив на песке банку с белилами. На носу лодки были написаны две буквы. Леля стояла и удивленно смотрела.

К лодке подковылял ее знакомый старик в майке, и

Леля тоже приблизилась маленькими шагами, с остановками.

— Снова покататься хотите? — старик цокнул языком. — Нельзя. Вон, бригадир одного ругает уже, — и махнул рукой.

— За что?

— Курортных ребят катал, — и старик, пожеывая губами, стал рассматривать надпись на лодке. — Как же он ее назвать хотел? А? Лёбедь, да? — Он так и произнес «лёбедь», через «ё». — Лёбедь белая! А? Лё... — прочел он еще раз на лодке.

Обмакнув кисть в белила и присев на корточки, он стал писать. Вышло: «Лёбедь». С мягкого знака потекла по лодке длинная слеза. Лёле захотелось смазать слово босой ногой.

Она повернулась и побежала.

Почти у пляжа ее догнал Костя.

— Если вы хотите... на лодке, — сказал он ей, — то это можно...

Леля молчала.

— Я думал, вы... уехали, — говорил он ей.

Она не знала, что ответить, и побежала дальше.

У входа в парк Леля замедлила шаги. Было странно впервые в жизни ощущать себя так, точно сама на себя смотрела со стороны. По тени своей она заметила, что волосы отросли: вся голова в кудряшках... В мысли ее ворвался голос Гулливера:

— Леля! Леля!

— Что?

— Сегодня прощальный вечер... танцы... костер! — выпалил он.

На приморской площадке у балюстрады стояло пианино, спрятанное на всякий случай от дождей в фанерную будочку, похожую на ларек. Кто-нибудь из отдыхающих вечерами брал ключ у старшей сестры, открывал будочку и играл, как умел. Леля не раз выбирала из слушательниц, усаживающихся вокруг на плетеных стульях, какую-нибудь надушенную девчушку и кружила ее прилежно. С мальчишками же, по правде сказать, она танцевать не любила. Сколько раз Гуля шелкал перед ней каблуками!..

— Сегодня будет аккордеон. Придешь?

— Нет,— сказала Леля и, прибавив шагу, перелезла через забор и скрылась в парке.

...Покачиваясь, по морю плыла ровная полоса солнца. Косые лучи летели, простреливая даль. В этом свете уплывала от берега лодка с Лелей и Костей, лодка с кривой надписью «Лёбедь» на одном боку.

Медленно-медленно всплескивали воду осторожные весла. Они были видны даже тогда, когда уходили в глубину.

Костя смотрел на весла, Леля стала смотреть на берег.

Все там выглядело другим, совсем непохожим, незнакомым. Одни горы приподнялись, другие опустились, третьи повернулись боком. И стояло на склонах очень много разных домов. Чем дальше отплывала лодка, тем скорее берег из отдельных кусков, каким его знала Леля, складывался в цельную картину.

Был последний предвечерний час, но солнце еще сияло. И сияло море, и горы сияли, и неба не было, а был один свет вокруг.

В воде, мелькая, проскользнула блестящая стая рыб. Леля хотела поймать одну, но только намочила руку по самое плечо.

— Это что? — спросила она.

— Кефаль это,— сказал Костя и перестал грести.

А с берега, со скал, за лодкой смотрели. Там стояли ребята, которые пошли на гору разложить прощальный костер.

Когда увидели лодку, Гулливер шагнул вперед и хотел что-то крикнуть, и еще кто-то приложил руки ко рту, но все промолчали. И Гулливер промолчал.

— Давайте разведем костер здесь! — только сказал он.

Лень было тащить в гору.

И они свалили ветки в кучу.

Сумерки стирали четкий рисунок гор и моря. Костя греб, сильно ударяя веслами по воде, Леля вслушивалась в эти удары. А костер разгорался.





*Владимир Фоменко*

## НА ОСТРОВЕ

Товарищ Жариков — тихий, аккуратнейший человек, причесанный волосок к волоску, на пробор. Принимая людей в одной из комнат Веселовского райисполкома, он с каждым посетителем говорит обстоятельно, вникая во все детали. Если вопрос нельзя решить сразу, Георгий Никитич Жариков назначает следующую встречу, открывает в настольном календаре нужную страницу и делает пометку. Записав, опять надевает на тщательно зачиненный карандаш пластмассовый наконечник...

Жариков казался мне кабинетным, бумажным человеком, и я поразился, узнав, что в Отечественную войну он был боевым командиром-разведчиком. Вот уж никак не вязалось: лихая разведка и тихий Жариков. Поговорить о войне с Георгием Никитичем мне не удавалось: шла стройка Веселовского водохранилища, в поселке работало много местного и приезжего народа, в райкоме партии, в райисполкоме было всегда тесно и шумно от приходивших по делам стройки людей.

Как-то, убирая дела в шкаф, Жариков неожиданно сказал, что завтра поедет на охоту. При слове «охота» я не выдержал и, должно быть, так глянул на Жарикова, что он спросил:

— Хотите стрельнуть? А плавать умеете?

Я кивнул. Плавать я умел, и неплохо. Непонятно, правда, зачем Жариков об этом спрашивает? Уж несколько дней, принесенные восточным ветром, стояли морозы. Где же тут плавать?

— Что ж, поедем, — сказал Жариков. — Ружье с патронами и носки дам я, а остальное надо доставать. У вас какой номер сапог?

— Сорок первый.

— Значит, нужен сорок третий, чтоб на шерстяной носок и портянки.

Он снял телефонную трубку, с кем-то соединился и спросил:

— Товарищ Сапега, вы не дадите мне свои сапоги на ночь? Утром привезу.

У меня сжалось сердце. Сейчас этот Сапега скажет: «Что ж вы вчера не звякнули? Вчера как раз были сапоги, лежали. А сегодня, понимаете, дал зятю. С удовольствием бы!» И сорвалась поездка...

Но сапоги были дома.

В другом месте не отказали в ватных штанах вместе со стеганкой. Еще у кого-то нашлись для меня капелюха и венцерада.

— Нет, нет, — говорил Жариков в ответ гудящему в трубку голосу. — Венцераду обязательно белую. Только белую. Спасибо.

Перед вечером шофер Жарикова Борис привез мне на квартиру ружье с патронами и громоздкий узел одежды. Я рано лег, но, как всегда перед охотой, спал тревожно, часто просыпался. Окончательно встал в три ночи, зажег лампу и осторожно, чтоб не разбудить хозяев, начал одеваться. Ветер на дворе, слышно, не утихал, проносился над крышей, стучал задвинутым в оконную раму болтом ставни.

Жариков обещал приехать в четыре. Секунда в секунду на улице засигналила остановившаяся машина. Вошел Жариков.

Не раз я замечал, что люди, одетые для охоты, перетянутые тяжелыми патронташами, ведут себя немножко запорожцами: шагают вразвалку, энергичнее поводят бровями. А Георгий Никитич был и сейчас таким, как всегда на стройке или в кабинете. Сняв шапку, он аккуратно пригладил волосы. Потом сказал:

— Покажите, как портянки замотали.

«Комроты Жариков поверяет солдата», — подумал я, усмехаясь, и стянул сапог.

— Ничего, — осмотрев замотку, кивнул Жариков. —

А когда руки поднимаете, движение свободное, стеганка не тянет?.. Ну, хорошо, поехали...

Мы быстро промчались по гладким, как стол, улицам степного поселка Веселого, но, выбравшись за околицу, сбросили скорость, начали сильно раскачиваться на изрытой дороге. Все вокруг было ископано, на каждом шагу высвечивались в лучах фар бугры земли, какие-то штабеля, заборы, склады, и все это тянулось до самого берега незаконченного водохранилища. Собственно в эти дни уже доделывали электростанцию и вели каменные работы на дамбе, а само «Веселовское море» почти полностью было налито. Оно представляло собой смешанные воды Маныча и далекой краснодарской реки Кубани, дающей сюда пятьдесят кубометров в каждую секунду. Вода разливалась, хороня русло Маныча, затопляя камыши, балки, курганы.

Здесь, по Манычу, отмеченная на всех специальных картах, лежит многовековая великая дорога перелетной птицы. Весной с юга, осенью с севера тянутся, галдят в небе табуны уток, казарок, длинноносых кроншнепов, куличков, чибисов. К северу эта воздушная птичья дорога разделяется на ветви, а здесь, над руслом Маныча, идет густым плотным стволом.

В этот год тут, где было русло, разлилось «Веселовское море», и удивленные утки садились прямо на волну. Мороз в последние дни ударил по-январски жестокий, но он был ранним, нестойким, и птица, угадывая близкую оттепель, не спешила на юг. Она снималась с открытых ветру водяных просторов и стадами, косяками, цепочками летела на кормежку ближе к берегам, в «затишки».

К одному из таких разведанных уже затишков мы и направлялись. Жариков сидел рядом с шофером, показывая, куда ехать. Стройка все больше уходила влево, машина выбралась на степной профиль, начала прорезать резкий ветер, бьющий нам в бок. Минут через пятнадцать, несмотря на шум мотора и свист напирającego в степи ветра, стало слышно, как о берег ударяют волны.

Машина остановилась.

Фары освещали береговую линию, белую от намерзшей у воды ледяной корки. Один за другим беспорядочно поднимались всплески высотой не меньше человеческого роста. Шум был непрерывным и напряженным, будто вдоль берега работали турбины.

— Протронь еще, — сказал Жариков шоферу, и мы поехали вдоль берега.

— Еще малость протронь. Стоп!

Здесь почему-то не бил прибой. Вода, не взбрасываясь, шла под берегом быстрыми кругами, как в половодье на обрывистой глубине.

— Впереди в море намыло островок — он волну гушит, — объяснил мне Георгий Никитич. — Здесь и будем заходить.

— Куда?..

— В воду. Нам на островок надо.

Шофер выключил фары, и мы вышли из теплой машины. Ветер сразу прохватил меня насквозь, захлопал полами наших брезентовых венцерад.

— Подъезжай к десяти, — сказал Жариков шоферу. Тот уехал.

— Пошли, — сказал мне Жариков.

Утро значилось только по часам, на самом деле была глухая ночь. Где-то влево — наверно, возле складов на стройке — мерцали точки электрических огней.

— Пошли, — сказал я, и вслед за Жариковым шагнул в темноту.

Днем, если стать лицом к морю, очертания противоположных берегов виднелись с одного лишь бока. Дальше — всюду только небо и вода. Водяные престоры, не замерзшие на ветру, рябили днем ровными, одинаковыми волнами, а у земли, возле стронтельных лесов, вода то беспорядочно плескалась, то словно выворачивала со дна круги расходящейся мути. И в такую воду надо сейчас, ночью, ступать...

Наши резиновые сапоги были высокими; с боков у бедер они доходили до пояса, и в ушки сапог мы продели брючные ремни. Затем под ремни патронташей плотно подоткнули полы своих венцерад и шагнули с обрыва вниз.

Сразу скрылись огни слева, в ноздри вместе с ветром пахнуло сыростью волны. Под каблуком захрустел лед, и ноги оказались в воде.

Мы подняли перед собой ружья, пошли вперед. Невидимая в темноте вода плескалась о колени, потом сразу стало глубже. Георгий Никитич обернулся и дал короткий инструктаж:

— Понимаете, мы идем по гребешку наноса. Тут с острова ил нанесло гребешком, узеньким. Так что не становитесь ни влево, ни вправо. Если кто из нас окунется, другой пусть не бросается к нему, а протянет ружье, иначе оба можем потерять гребешок. — Сказав все это, Георгий Никитич пошел дальше.

Я огляделся. Кругом каждым кусочком кожи чувствовалась во мраке вода. Почему-то, должно быть от быстрого течения, она журчала вокруг ног, толкала проплывающими ледяшками. Ноги были в носках и плотно намотанных портянках, но лишь тоненькая резина защищала их от воды, и сквозь резину явственно ощущалась эта обхватывающая вода. Она все поднималась, сапоги скользили по дну, и инструктаж Жарикова несколько не успокаивал. Может быть, вчера дно было такое, а за сутки его размыло этим журчащим и плещущим на ветру течением? Ступнешь, а впереди — яма. Ведь кто знает, как ведет себя это даже недостроенное еще море?..

Держа ружье в одной руке, я попробовал другой — не выбились ли из-под ремня подоткнутые полы венцерады? Что-то они очень отяжелели. Полы не выбились, но намокли от всплесков и оледенели вокруг меня жестким колоколом. Вода захлестывала все выше, и я поднимался на пальцы, хотя и понимал, что этим не спасешься.

— Стоп! — шикнул впереди Жариков и взмахнул рукой.

«Залезли», — решил я.

— Казарки, — шепнул Георгий Никитич и пригнулся к воде. Щелкнуло его ружье. Он заряжал. Я пригнулся тоже и стал вслушиваться. Из темноты, сквозь ветер и всплески, донеслось характерное кыгыканье летящих казарок.

Низко пригнувшись к воде, стараясь не выкупать ружье, я лихорадочно стал заряжать, но Георгий Никитич выпрямился.

— Свернули, черти, — громко сказал он, пошел было дальше и, резко вдруг забурлив водой, попятился.

— Яма, — объяснил он, остановившись. — Разряжайтесь.

Да, разряжаться нужно. По инструкции Жарикова тому из нас, кто окунется, другой протянет ружье. Нельзя протягивать заряженное.

Я не ощущал уже того, что руки у меня мокрые, что лед намерз на рукавах и подоткнутых полах. Я ждал указаний Жарикова.

— Переступите, попробуйте дно справа от себя, — раздался из темноты его голос.

Моя нога, скользнув по илистому откосу, пошла вниз...

— Так. Теперь влево попробуйте, — сказал Жариков с присущей ему, удивительно приятной здесь, аккуратностью.

Я попробовал, но и слева не было дна.

— Отступите три шага назад, ищите там, — сказал Жариков.

Мой правый сапог снова оборвался куда-то, а зато левый нащупал ровный пяточок дна.

— Есть, Георгий Никитич, только узко.

— Ничего, нам хватит! — стал подходить ко мне Жариков.

Место было настолько узкое, что мы плотно обнялись, чтоб разминуться, и Георгий Никитич опять пошел впереди, разыскивая ответвление гребешка, которое все-таки привело бы нас к острову. Он почти сразу нашел какую-то подводную тропку, и мы двинулись. Ноги чутко щупали дно, переступали осторожно, чтоб высокая вода не захлестнула через верх сапог.

То ли развиднялось, то ли глаза работали особенно напряженно, но я увидел в темноте остров. Хотя бы не оборвался гребешок; ведь может и под самым берегом оказаться размоина.

— Все! — сказал Жариков, шагнув на глинистую, скользкую ступеньку. Мы зашагали уже свободно, разбрасывая ногами меленькую, нестрашную теперь воду, и вышли на берег.

Ох, и радостно стоять на сухой, совершенно твердой, даже каменной от мороза земле! О колени не бьет волна, их обхватывает сухой ветер, и ледок, тонкий, как стекло стакана, намерзая на резине, осыпается при каждом движении. Мы поотбивали друг на друге лед с венцерад, потом Жариков поднял на берегу выброшенную водой дощечку, поставил ее на ребро против места, где мы выбрались из воды.

— Это чтоб не потерять брод, — объяснил он.

Мы зарядили ружья и пошли по хрусткой от застывших лужиц земле. Над головами засвистело. Георгий Ни-

китич выстрелил в темноту. Сверкнул огонь, и тут же четко хлопнулась утка. Жариков не бросился к ней, а мгновенно ударил вверх из второго ствола, и новый звук — хлопнулась вторая. Георгий Никитич поднял уток одну за другой, стал подвязывать к поясу.

— С полем, — поздравил я, испытывая в душе острую зависть, понятную каждому охотнику. — Как это вы видите в темноте?

— Какое ж тут увидишь? По звуку бью. Конечно, упреждение нужно, учет ветра, угол — всё как в зрячей стрельбе. Вы офицер?

— Офицер. В запасе.

— Вот и тренируйтесь. А то ж вы, наверно, всякую тренировку забросили. Небось и меня там вон, в воде, ругали за наше купанье!

По голосу было слышно, что Жариков улыбался, должно быть довольный и тем, что отыскал в воде дорожку, и мастерскими выстрелами.

Пройдя шагов пятьдесят, он сказал мне:

— Маскируйтесь тут, а я сверну в сторону. Ложитесь, только нагребите под себя камыша — под живот и грудь побольше, а то простынете.

Я остался, начал поспешно сооружать логово. Ни одного куста, чтобы стать за ним. Островок напосный, молодой, может, месяц от роду. Кругом только маленькие кучки чакана и камыша, прибитого волнами и окостеневшего сейчас на морозе.

Я подмостил под себя камыш, нагреб его с боков и перед лицом, положил на этот камышовый бруствер заряженное ружье, взвел курки. Теперь можно лежать, укрывая лицо от колющего ветра, а когда налетит птица — вскакивать, бить навстречу.

Сразу же засвистело впереди, потом с одного боку, с другого. Я хватался за ружье, но не стрелял. Взять, как это делает Жариков, в темноте упреждение, учесть ветер, угол и все это в одно мгновение — не так просто. Расстрелять же патроны впустую и без связки уток встретиться с опытным напарником не позволяла охотничья гордость. Можно учиться, когда один. Тогда не зазорно возвращаться с сумкой стреляных гильз и с одной уточкой, а тут надо бить наверняка.

Впереди, должно быть под берегом, громко кричал «сидячий» селезень. Крикали и где-то на воде сзади,

где-то, слышно, пролетали в вышине. Птица на островке кишела; недаром сюда такая трудная дорога. Выстрелы Георгия Никитича до меня не доносились, он стоял за ветром. А наверно, много уже набил...

С начала охоты прошло минут пятнадцать, светало, и уже можно было различить силуэты. Низко налетели две утки. Я выстрелил, и передняя упала. «Есть! Началось!» Подбежав к утке, я поднял ее. Она была крупной, на ощупь сытой, горячей под крыльями.

Удачный почин много стоит! Начинаешь уверенно вскидывать, без спешки, но мгновенно определять прицел, бить. Рядом с первой уже лежали еще свиязь и чернуха. Но тут счастье изменило.

Высоко, в совсем уже светлом воздухе показался гусь. Не наша средненькая казарка, частая на юге, а крупный сибирский гусь — гуменик. Бросая по временам гортанные крики, он шел сюда, не замечая меня, плашмя прижавшегося к земле. Вскочив, когда птица была уже надо мной, я дал два выстрела. Гусь изменил направление, остановился и воронкой пошел вниз. Я сразу увидел, что падает он не на землю, а далеко от берега, в море. Рухнув в воду, он вывернулся вверх грудью; всплеснувшись, показал угол крыла, и его понесло. Невыносимо смотреть на уже выслеженную, умело подпущенную, сбитую уже дичь, которая не лежит перед тобой рядом с другими трофеями, а уплывает на глазах...

От досады я начал горячиться, дважды промазал по новым целям, и последний раз непростительно, когда нельзя было не попасть. Я понял: надо насильно бросить стрельбу на пяток минут, отдохнуть от напряжения.

Закурил и, поднявшись в рост, стал отдыхать, искать глазами Георгия Никитича. Он был на длинном мысу — совсем узенькой стрелке, открытой ветру и окруженной волнами. Вот, пересекая стрелку, проносится цепочка черных точек — уток. Выстрел — и одна падает.

«Везет, — подумал я. — Не в волны, а как раз на землю».

Через минуту — еще цепочка, но уже с другой стороны, и опять то же: выстрел, падение черной точки рядом. Именно рядом!.. Тут я понял: Жариков улавливает то место в стремительном полете, на котором надо попасть, чтоб инерция полета птицы бросила ее, уже убитую, как раз на полоску земли.

Вот это уменье! Не моя мазня... Правильно Жариков решил, что забросил я всякую тренировку!

Злой на себя, я кинул папироску, лег и, взяв ружье, стал следить за воздухом. Теперь пусть налетят!.. И действительно, стрелять начал лучше.

Поднималось солнце. Уже ясно виднелись на островке наплывы чакана, соломы и даже шары перекасти-поля, принесенного водой откуда-то из затопленной степи. Все это, мокрое еще несколько дней назад, сейчас от мороза белело, и я с благодарностью подумал о Жарикове, прошившем вчера в телефонную трубку обязательно белую венцераду.

Птица могла налететь каждую секунду, и потому, чтобы не выдать себя, я шевелился с опаской, осторожно подносил к губам руку и дул на костенеющие от ветра пальцы.

Когда лежишь неподвижно, трудно бороться с холодом. Несмотря на капелюху, ватную одежду и венцераду, начинают зябнуть спина, голова, пальцы на ногах. Но вот видишь налетающую издали утку, и от волнения, от толчков сердца сразу становится тепло.

...Было восемь утра. Кончился богатый пролет валом, что был на рассвете; птица летела реже, и я высматривал ее по сторонам. Справа от меня лежал пролив, через который мы шли ночью; за ним берег, отороченный ледяной каймой; дальше черная, сухая от мороза степь, по которой ветер гнал полосы пыли. Слева на много километров тянулось холодное, затопившее землю море. Под горизонтом море казалось выпуклым и застывшим, а чем ближе к островку, тем круче, будто крыши хат, поднимались гребни.

Георгий Никитич подошел в девять. Утки висели на нем вокруг всего пояса, свешивались ниже колен. Серые перья самок, кофейные грудки и зелено-бархатные головки селезней... Жариков испытующим взглядом глянул на мое лицо; как, мол, настроение? Перевел глаза на добычу.

Узнав о случае с сибирским гуменником, посмотрел в ту сторону, куда он рухнул, и сказал:

— Его прибило во-он к тому выступу. Пошли.

У выступа птицы не оказалось.

— Как же вы ошиблись? — укоризненно спросил Жариков. — Гуменник-то, значит, не убит!

У берега колыхался нанесенный плав, и было видно, как издали, по дуге, огибающей остров, подносило новые щепки и черные корни камыша.


— Здесь бы он был, — показал Георгий Никитич пальцем. — А вы его только подранили, он и выплыл из течения.

Мы двинулись домой, подошли к броду. Глядя на установленную Жариковым дощечку, повернутую к воде острым углом, словно указкой, я вспомнил о пластмассовом наконечнике на карандаше Георгия Никитича и с глубоким уважением подумал: за ним можно шагать спокойно. Не пропадешь.

Мы снова стали подтягивать сапоги до пояса, и Георгий Никитич вдруг, как мальчишка, весело засмеялся.

— Гляньте, — показывал он на тот берег, на подъезжавшую машину. — Борис мой! Хитрый, чертяка! Я его выучил точно подъезжать, так он небось за бугром стоял, а увидел, что мы вышли, — и появился, пожалуйста!





*А. Шаров*

## СЕВКА, САВКА И РОМКА

### 1

Сержант Родионов уезжал из города и сдавал свой участок старшине Лебединцеву, недавно демобилизовавшемуся из армии. Поезд уходил в час ночи. Родионову надо было еще собрать вещи, попрощаться с товарищами и хозяевами квартиры, но, как назло, Лебединцев оставливался около каждого дома, подолгу беседуя с жильцами.

Сержант переминался с ноги на ногу, поглядывая то на смуглое от загара лицо Лебединцева, то на ручные часы, циферблат которых светился в сумерках.

— Дождь будет! — прогсворил сержант первое, что пришло на ум, чтобы поторопить старшину.

Старшина вскинул голову, придерживая фуражку за козырек, и долго, сощуриив строгие серые глаза, смотрел вверх. Догоняя друг друга с востока на запад, где еще светился краешек неба, мчались разорванные облака. Они то совсем застилали небо, то расходились, открывая звезды.

Лебединцев наконец взглянул на сержанта.

— Куда теперь?

— Домой, — неуверенно ответил сержант.

— Ну раз всё осмотрели...

— Одно домовладение осталось. Километра два туда, немщеннй дорогой... Вы бы завтра сходили.

— Давай, как положено, — нахмурился Лебединцев. — Ты сдал, я принял.

Сержант с сожалением взглянул на свои начищенные до блеска сапоги и шагнул вперед. Грязь захлопала под ногами. Ветер дул прямо в лицо. Он пытался сорвать фуражки, вытягивал из-под пояса гимнастерки и надувал их горбом на спине.

— Ведьмячье место! — бормотал сержант, остановившись закурить у забора с навесом. — Раньше улица была, в войну спалили.

— И не строится?

— Да нет... Парк запроектирован. Только какой же тут парк! Сами видите — ветра. Человек не выдерживает, не то что дерево.

Дальше шагали молча. Редкие фонари освещали лужи, за которыми темнел бесконечный забор. Впереди мелькнула и стала приближаться высокая тень.

— Сержант? — окликнул хриловатый голос.

— Он самый.

— На ловца и зверь бежит, — продолжал человек, окликнувший Родионова, платком стирая с разгоряченного от быстрой ходьбы лица капельки водяных брызг. — Происшествие произошло...

— Будь добр, старшине докладывай, Дмитрий Павлович.

— Старшине? — близоруко щурясь, переспросил говоривший. — Будем знакомы — управдом Карагинцев. Происшествие произошло шесть часов назад. У Рыбакова стекло в окне выбили. Я уговаривал: «Заявим, Петр Варсонофьевич, завтра утром». А он ни в какую. Говорит: «Пока представители власти не придут, никаких мер не приму. Пусть хоть всю комнату зальет».

— Кто разбил? — нахмурился старшина.

— Муромцевы — Сева с Савкой.

Лебединцев и Родионов зашагали вслед за управдомом к высокому зданию с ярко освещенными окнами, высящемуся за поворотом пустынной улицы.

Комната Петра Варсонофьевича Рыбакова представляла собой бедственное зрелище. В разбитое окно врывались водяные потоки. Ветер расшвырял все, что мог. Придавленная лампой скатерть полоскалась по ветру, как парус, сорванный с мачты.

— Смотрите! — проговорил хозяин.

Рыбаков сидел в глубоком кресле, закрутив ноги шерстяным пледом.

— Я, товарищ сержант, предвидел это событие...

Рыбаков сделал движение, будто хотел приподняться с кресла, но не поднялся, потому что на коленях спал огромный рыжий кот.

— Вы к старшине обращайтесь, товарищ Рыбаков. Он теперь участковым.

На этот раз Рыбаков счел необходимым встать. Кот соскользнул с колен и, свернувшись на полу, сонно замурлыкал.

— Петр Варсонофьевич Рыбаков, — представился хозяин квартиры, — местный житель и начальник городского парка. Будучи человеком откровенным, прямо заявляю: смене руководства рад. Сержант твердости не проявлял, а твердость — она основа...

...Петр Варсонофьевич Рыбаков поселился в Степном три года назад и с тех пор все мечтает перебраться в краевой город, где он жил раньше, а может, даже в столицу. Это человек лет пятидесяти, что называется пожилой, но не старый. Лицо у него полное, с тугими, тщательно выбритыми щеками. Снизу оно завершается маленьким подбородком, покрытым редкой белобрысой растительностью, и от этого напоминает прекрасно удавшуюся репу.

В краевом городе Рыбаков заведовал парком культуры и отдыха и был оттуда уволен, как он говорит, за то, что со всей твердостью боролся с безнадзорниками. По некоторым же другим сведениям, дошедшим в Степное окольными путями, его сняли с этой должности после того, как он привел в запустение парковый детский городок.

В Степном Рыбакову не понравилось с первой минуты. Парк только называется «парком»: ни ресторанов, ни киосков, ни гуляющих. На самом деле это пустырь. Старых, укоренившихся деревьев совсем нет, прутики молодых посадок трепещут среди лета на ветру желтеющими листьями.

Каждый год в конце июля на город налетает суховей. Из степи пробираются сотни сусликов и роют норы среди битого кирпича. Когда кажется, что самое трудное позади — ветры перестали дуть, суслики присмирели, — обнаруживается, что кто-то оторвал несколько досок и через пролом в заборе ворвались козы.

В глубине души Петр Варсонофьевич уверен, что из парковых посадок ничего путного не выйдет. Когда на заседании горсовета Илья Фаддеевич Муромцев, человек горячий и увлекающийся, в десятый раз повторял, что дело не в климате, надо только руки приложить, ведь не из-за климата козы потравили лучшую аллею, Рыбаков пожимал плечами.

Илью Фаддеевича он не любит. Да и вообще он недолюбливает людей излишне горячих и сующихся не в свое дело.

...Старшина обвел глазами полутемную комнату.

— Вы человек новый. Разрешите, я вас ознакомлю с делом, — проговорил Рыбаков.

Он осторожно миновал лужу у окна и скрылся в соседней комнате.

— Злая, между прочим, скотинка, — сказал сержант, когда заглохли шаги хозяина.

— Вы про кого? — строго спросил старшина.

— Про Громобоя... про кота.

— Лютый! — подтвердил управдом. Стоя у окна, Карагинцев заделывал его захваченным по дороге листом фанеры.

Ветер еще раз прорвался в комнату и затих. Хозяин вернулся минуты через две. Он оседлал короткий нос очками в металлической оправе, приблизил к лицу ученическую тетрадь в косую линейку, откашлялся и, отчетливо выговаривая каждое слово, прочитал:

— «Третье апреля. Проникновение Муромцевых в парк. Пятое апреля. Проникновение в парк и стрельба из рогатки. Двенадцатое апреля. Уничтожен голубь турман, собственность жильца Готовцева».

— Ну, это уж вы, Петр Варсонофьевич... — неуверенно перебил управдом.

— Что «Петр Варсонофьевич»? Сорок пять лет Петр Варсонофьевич, а в клевете не обвинялся. Были обвинители, да на чем приехали, на том обратно укатили... — Рыбаков снял очки и гневно взглянул на управдома. — И Громобоя, чтобы он голубя уничтожал, никто не видел!

Рыбаков подождал, не вызовут ли его слова возражений. Но сержант и старшина Лебединцев внимательно слушали, а управдом пристально смотрел в потолок.

— Если ясно, продолжаем! — проговорил Рыбаков, снимая и вновь надевая очки. — «Третье мая. Савелий и Всеволод Муромцевы проникли в парк. Седьмое мая. Инцидент с дочерью нашей Марией Рыбаковой, дергание косичек. Девятое июня. Проникновение на территорию парка и рытье земли около дубков. Пятнадцатое июня. Снова проникновение и рытье».

— Клад они, что ли, ищут? — спросил старшина, когда чтец замолчал, чтобы перевести дыхание.

— Может, и клад... Безотцовщина, всего надо ожидать... Да вы вызовите нарушителей и сами допросите, как положено...

Рыбаков закрыл тетрадку. Все молчали. Старшина сидел, положив руки на колени, видимо не испытывая никакого неудобства от затянувшейся паузы.

— Вызвать... нарушителей то есть? — спросил наконец управдом.

— Мальчиков? — не сразу отозвался старшина. — Позовите, если не спят.

Сержант поднялся и обратился к Лебединцеву:

— Разрешите убить, товарищ старшина?! На поезд не поспею.

— Счастливого пути... И Муромцевых по дороге кликни. Знаешь, где живут?

## 2

Квартира Ильи Фаддеевича Муромцева в том же подъезде, этажом выше.

Надо сказать, что квартира эта, прежде совсем необжитая, за последние годы неузнаваемо переменялась. Теперь она представляет собой необычное смешение музея, школьного класса и детской.

На стенах прежде всего бросаются в глаза карты области. Синяя лента Волги пересекает листы чуть наискосок, с северо-запада на юго-восток, растекаясь ближе к морю десятками протоков. Одинокие курганы намечены кругами высот. Цепь озер как будто движется на степь. Длинные тонкие линии, вырывающиеся с юго-востока, показывают направление господствующих ветров. Придавленные жарким воздушным потоком, островки древесных посадок жмутся к поймам рек, селам и станциям.

Наброски на отдельных листах воспроизводят овраги,

степные речушки, прибрежные осыпи. И над всем этим, маслом, акварелью, а чаще всего жирным свинцовым карандашом, на небольших холстах, кусках фанеры и картона, на застекленных и незастекленных листах изображены дубы.

Они развешаны в две шеренги, одна над другой, вдоль всех четырех стен просторной комнаты. Они изображены с той удивительной точностью, с которой и начинается настоящая красота; следя за изгибом стволов, переплетением узловатых ветвей, все время чувствуешь рядом с собой другой, во много раз более зоркий глаз, помогающий воспринять своеобразную прелесть каждого дерева.

Ниже — на подоконнике, специальных стеллажах и на полу — стоят глиняные цветочные горшки, где высажены молодые дубки. Чтобы дать растениям место, письменный стол темного дерева отодвинут к середине комнаты. Остальное пространство занимают книжный шкаф, диван и так называемый «Ромкин угол» с игрушками; трехколесным велосипедом, детской кроватью.

Окрашенная белой краской дверь ведет в соседнюю комнату — владения Севы и Савки.

Комната Ильи Фаддеевича ясно отражает жизненные интересы ее владельца. С юношеских лет Муромцев географ, ботаник и неутомимый краевед. После окончания Московского университета он вернулся в родной город и двадцать лет преподавал географию в школе. Войну он провел на фронте, пропагандистом политотдела пехотной дивизии. Демобилизовавшись, временно, до восстановления школы, пошел работать заместителем директора краеведческого музея, да так здесь и остался.

Работа в музее привлекала Илью Фаддеевича прежде всего тем, что позволяла без усталы бродить по области, составляя и пополняя коллекции, — об этом он мечтал еще со студенческих времен.

Первое время Муромцев чувствовал себя счастливым на новой работе. Но это продолжалось недолго. Как-то неожиданно Илья Фаддеевич заметил пустоту письменного стола, где больше не лежали стопки ученических тетрадей, тягостную незаполненность жизни и после долгих размышлений о том, не стар ли он, чтобы воспитать и вывести в люди сына, подал в Сталинградский детский дом заявление о желании усыновить ребенка. Через две недели он получил ответ и выехал в Сталинград.

Оформляя документы, заведующая предупредила Илью Фаддеевича:

— Сева — ребенок трудный. Четырех лет остался без родных в разбомбленном эшелоне, долго болел, умирал от дистрофии. Это наложило отпечаток на его характер — гордый, обидчивый, дерзкий, но в основе своей благородный.

— У меня тоже характер в основе своей трудный, — не задумываясь, ответил Илья Фаддеевич. — Как-нибудь столкнемся. И потом, если двадцать лет поработаешь учителем, можно, наконец, понять, что трудных ребят не бывает, а бывают черт его знает какие трудные обстоятельства жизни. Можно это понять?..

— Можно, — проговорила заведующая, поднимая глаза на Муромцева.

— Вот и я думаю, что можно...

Они прожили вместе с Севой почти год, и этот год был, вероятно, самым счастливым в жизни Муромцева. Во время поездки по юго-востоку области Илья Фаддеевич нашел и описал своеобразную разновидность дуба, отличающуюся необычайной жизнестойкостью в здешних засушливых местах, на неблагоприятной засоленной почве. Дуб этот был назван «степной солончаковый».

Около парка, среди развалин взорванного немцами кирпичного завода, Муромцев расчистил небольшой участок, где выращивал деревья различных пород. В семье Муромцевых участок этот получил наименование «дубовый огород», так как большую его часть занимал «степной солончаковый» и другие дубы.

Поздней осенью, за месяц до годовщины усыновления Севы, вернувшись домой, Илья Фаддеевич нашел короткое письмо из детского дома с предложением возможно скорее приехать для переговоров по очень важному — эти слова были дважды подчеркнуты — вопросу.

Почувствовав тревогу отца, Сева, не спуская глаз, смотрел на него, пока тот перечитывал письмо.

Илья Фаддеевич попытался придать лицу прежнее шутовское выражение и с необычайным аппетитом принялся за еду. Отложив вилку, он оживленно рассказывал о встрече со степным волком во время последней экспедиции.

— Всю ночь ходил кругом и выл, да так жалобно, что мы наконец выбросили ему кости от обеда. Поел и по-

шел. Оказывается, он от голода выл, а не от свирепости.

Только когда Сева лег и сквозь неплотно притворенную дверь послышалось ровное дыхание мальчика, Муромцев разрешил себе согнать с лица улыбку и, ссутулившись, погруженный в невеселые мысли, зашагал из угла в угол. Разгадать письмо было нетрудно. Случилось то, что волновало Илью Фаддеевича все это время: нашлись родители, потерявшие сына в страшную военную ночь, когда разбомбили эшелон. Если так, выход один: надо вернуть Севу в семью.

— Логично! — вслух проговорил Илья Фаддеевич, останавливаясь посреди комнаты.

Но от этого вывода ему стало еще во много раз тяжелее. Муромцев сжатым кулаком растирал изрезанный крупными морщинами лоб и принимался распутывать ниточку с начала.

«Как ни верти, другого не придумаешь».

Неожиданно Илье Фаддеевичу стало ясно, что он не в силах расстаться с Севой. Мальчишка прирос к его сердцу, как не прирастал ни один другой человек.

Илья Фаддеевич встал из-за стола и прошел в Севину комнату. Поправив одеяло, он несколько секунд постоял около кровати.

— Я от вас никуда не поеду, — вдруг, не открывая глаз, сказал Сева.

— Ты что, письмо прочел?

— Прочел, — все так же, изо всех сил сжимая веки и удерживая слезы, отозвался Сева. — Только я от вас никуда не уеду, так и знайте!

...Всю дорогу в Сталинград Илья Фаддеевич продумывал линию поведения. Около часу он бродил кругом детского дома, раз десять поднимался по ступенькам невысокого крыльца и сходил обратно, пока, наконец, не распахнул дверь.

— Ну вот, — встретила его заведующая. — У Севы отыскался брат. Надеюсь, вы понимаете, что наш общий долг дать им возможность жить вместе? — Заведующая пристально смотрела на Муромцева.

— А где он, Севин брат? — спросил Илья Фаддеевич.

— В Кирове.

— Кем он работает?

Удивленно подняв брови, заведующая негромко рассмеялась.

— Да вы что, думаете, он взрослый? Савка на два года моложе Всеволода. Ему девятый год. Живет в кировском детском доме.

— А я, знаете... Я другого ожидал, — после длинной паузы, с трудом подыскивая слова, проговорил Илья Фаддеевич.

...Вернувшись из Сталинграда, Муромцев попросил двухнедельный отпуск и выехал в Киров. Поездка прошла без особых происшествий, кроме одного, очень, впрочем, важного. Выяснилось, что под покровительством восьмилетнего Савки состоит Рома, слабенький четырехлетний мальчик с белобрысой головой, не по возрасту серьезным, как бы чем-то опечаленным лицом и испуганными голубыми глазами. Сава и Рома вместе попали в этот детский дом, их связала глубокая братская любовь, суровая и покровительственная со стороны Савки, бесконечно преданная и благодарная со стороны Ромы.

— Я думаю, ребята привыкнут к разлуке, — закончил рассказ об этом обстоятельстве заведующий учебной частью детского дома. — В таком возрасте все переносится легче.

— Обычное заблуждение! — хмурясь перебил Муромцев. — Взрослые слишком быстро забывают детство. Ребенок переживает горе иной раз острее, чем мы с вами. Не спорьте, пожалуйста, разрешите мне, как старому педагогу, это утверждать. Тяжелое горе, перенесенное в детстве, накладывает отпечаток на всю жизнь. Особенно такое — несправедливое, ненужное, неоправданное горе.

— Зато оно закаляет, — проговорил заведующий учебной частью.

Отлично понимая тяжесть предстоящей разлуки, он хотел успокоить Муромцева.

— Об этом уж совсем не к чему говорить... Если ребенок теряет всех близких, да и сам чудом спасается... Какая еще к черту нужна закалка?! Горе нужно ненавидеть. Всеми силами души ненавидеть, а не оправдывать.

Помолчав, Илья Фаддеевич спросил:

— По существу, соединяя братьев, одновременно мы разлучаем брата с братом. Это логично?

— Не знаю.

— Несправедливо это, в высшей степени несправедливо. И выход я вижу только один: отпустите и Рому ко мне...

— Вам не будет трудно?

— Трудно, голубчик, человеку бывает при одном обстоятельстве: когда он остается один. Мы с вами люди немолодые и прекрасно это знаем.

...Вот каким образом в доме на Парковой улице появилось трое братьев Муромцевых: Всеволод — Сева, Савелий — Сава и Рома.

### 3

Проходит минут десять, раздается стук, и в комнате Рыбакова один за другим появляются Сева, Сава и Рома.

Они становятся близко друг к другу в простенке между дверью и углом комнаты. Ближе к двери высокий худой Всеволод, рядом с ним — коренастый Сава и, наконец, тоненький белобрысый Ромка. Старшие братья очень похожи друг на друга, загорелые с выпуклыми, упрямыми лбами. Сева и Савка стоят наклонив головы, поблескивая из-под длинных ресниц темными зрачками, что касается Ромы, он, повидимому, совсем не чувствует тревожного настроения братьев.

Старшина внимательно смотрит на мальчиков, так плотно прижавшихся друг к другу и к стене, как будто им угрожает опасность и они могут положитьсь только друг на друга.

Теперь и Рома, не улыбаясь, держится за Савкину руку.

«Смотри зорче, старшина! Сколько десятков, а может быть, сотен человек прошло через твои руки, пока ты был старшиной третьей роты второго батальона гвардейской механизированной бригады, и разве ты ошибся хоть в одном? Разве ты не видел геройское сердце сквозь новенькое, только что надетое обмундирование, еще не промытое дождями, не выцветшее под солнцем, не потемневшее от земли, не пропахшее порохом, дымом и потом? Смотри зорче и помни то, что много раз говорил командир бригады Александр Бойко, которого ты не забудешь до самой смерти: «Разгляди в человеке главное, поверь в него, поверни его так, чтобы он засверкал, чтобы он сам удивился себе, — и он уже никогда не обманет. Редко бывает такой случай, чтобы человек, в которого ты поверил, обманул тебя».

— Чья работа? — негромко спрашивает старшина, показывая на разбитое окно.

— Не знаю, — пожимает плечами Сава.

Всеволод скользит черными зрачками по лицу старшины, по серебряному ордену Славы и переводит взгляд на брата:

— Правду говори!

— Я разбил. Вот она, рогатка.

Старшина кладет на ладонь рогатку с тугой красноватой резинкой.

— Зачем? — спрашивает он.

Слышно, как мурлычет Громобой и неровно дышит Савка.

— Нечаянно.

— Из рогатки — «нечаянно!» — ехидно усмехается Рыбаков.

— А он!.. Он почему... — вскидывает Сава покрасневшее лицо.

— погоди! — властно перебивает Сева. — Иди, Рома, спать!

Рома нехотя выходит из комнаты.

— Говори! — обращается Сева к брату.

— А зачем он Ромку дразнит?..

— Как дразнит? — спрашивает старшина.

— «Луковицей кривоногой» и по-всячески. Ромка приходит — ревмя ревет.

Рыбаков сердито сопит, старшина, понурив голову, задумался.

— Вот что, хлопцы, — поднимается он со стула, — марш за тряпками!

Ребята исчезают. Круто остановившись перед Рыбаковым, старшина спрашивает:

— У вас какое воспитание, разрешите узнать?

— Как то есть какое воспитание?

— Начальное, или среднее, или высшее?

— Я институт окончил.

— Человек имеет высшее образование и позволяет себе такие поступки!

— Хм... да... Однако по какому праву вы мне выговор делаете? По какому, знаете, праву? — бормочет Рыбаков.

Ребята возвращаются с ведром и тряпками. Вот уже вымыт и насухо вытерт пол.

Мальчики, молча кивнув старшине, направляются к двери.

Лебединцев поднимается вслед за ними.

— Хм... постойте однако!..

Петр Варсонофьевич старается смягчить голос:

— Что это вы так решительно, товарищ старшина... Кругом марш... по-военному... Эх, молодость, молодость!

— Слушаю! — влоборота поворачивается Лебединцев.

— Присели бы, товарищ старшина... Вы меня перебили, а я что говорил: безотцовщина, — сегодня стекло выбили, а завтра такое приключится, что нас же с вами привлекут к ответу.

— Почему «безотцовщина»? — нахмурившись, спрашивает старшина.

— Приемный отец у них! Разница. Не родной. Да и приемного отца сейчас нет.

Старшина молча смотрит на Рыбакова.

— Разъяснить?! Извольте... В начале лета Муромцев уехал с ботанической экспедицией в Черные земли. Собирался на две недели, а в дороге тяжело заболел. Годы, ничего не подделаешь; о годах надо бы раньше подумать, когда ребят из детских домов брал...

— Где ж он сейчас?

— Третий месяц лежит в Астрахани. Я не поленился, запрашивал старшего врача. Пишет, что один раз сделали операцию, но безуспешно. Ждут, пока больной соберется с силами, и попытаются еще раз. Во всяком случае Муромцев из строя выбыл, на полгода, на год, а может и... насовсем.

Петр Варсонофьевич прошелся по комнате и закончил:

— Я не о себе думаю. Ребят надо устроить и дом спасти... от дурных влияний. Как спасти? Отвезти Севу и Ромку в детский дом, где они проживали. Очень просто... А Савелия — в колонию для трудновоспитуемых. Твердо надо действовать...

#### 4

Ребята поднялись к себе, на цыпочках прошли мимо спящего Ромки и, не зажигая света, сели на застеленные кровати друг против друга.

— А обещал рогатку не трогать, — не глядя на брата, проговорил Сева.

Ильи Фаддеевича нет, и Севе приходится быть за отца. Только теперь он понимает, как это трудно.

— Отцу обещал...

Нарушение честного слова считается в семье Муромцевых самым тяжелым проступком. Сева поднимает голову, видит наполненные крупными слезами глаза брата и круто меняет разговор:

— Нюнить совсем не из-за чего.

Братья молча раздеваются.

Тихо, как бывает только в глухую полночь. Упала дождевая капля, и дождь кончился, скрипнула пружина в матрасе, раздался протяжный вздох, и нечего прислушиваться, нечего вздрагивать — это ты сам вздохнул. Вероятно, ты один не спишь во всем городе, а может быть даже на всем белом свете, потому что одному тебе так плохо.

Но сколько можно горевать?

Тучи разошлись, и сквозь слезы, сквозь прозрачную тюлевую занавеску на окне Сава видит звезды. Не так давно показалась одна, еще одна, еще десять, а теперь сколько их... Теперь они сверкают по всему небу. Это уж так получается, что в одиннадцать лет человек рассматривает звезды, только когда ему совсем плохо на душе. В другое время, намаявшись за день, он засыпает раньше, чем голова коснется подушки.

Впервые в жизни Савка видит, что звезды разноцветные. Есть белые, зеленоватые, голубоватые, как лезвие ножа, когда его только что наточил на наждачном круге точильщик.

Савка смотрит, затаив дыхание, точно звезды можно вслугнуть и они разбегутся. На столе стакан с водой, там тоже купается отражение звезды. Качается и не тонет. А отец обещал этим летом научить лежать на воде на спинке. Так можно и Волгу переплыть, и даже море... Полежал, отдохнул и опять поплыл... Сказал, что научит. Когда же? Вот уж и лето скоро кончится. Отец говорил, что вернется через две недели, а прошло два месяца. Где он? Что с ним случилось?

— Сева, ты спишь?

— Сплю!

— Сева, почему отец не возвращается?

Сава не отвечает.

Савка лежит с раскрытыми глазами, и в полусне перед ним проплывает вся его жизнь... Первая встреча с Ильей Фаддеевичем, которая запомнилась навсегда. День отъезда из детского дома.

Поезд из Кирова отходит рано утром. За окнами лес. Сосны покачивают медными стволами, с зеленых лап елей падают хлопья снега, испуганная белка перепрыгивает на соседнее дерево и исчезает в столетнем бору. На опушке слочки выглядывают из сугробов. Заячий след легкой штриховкой вьется вдоль пути. Вот заяц остановился: след чуть поглубже. Постоял, прислушиваясь, и, присев на задние лапки, изо всех сил оттолкнувшись от снежного наста, прыгнул.

— Вон он где опустился, смотрите скорее! Вон у той сосны. И пошел петлять. А наперерез ему темнеют на снегу следы гончей и две лыжные колен.

Илья Фаддеевич рассказывает, а Сава с Ромкой слушают.

— А что с зайкой будет? — еле слышно спрашивает Рома.

— Убежит. Видишь, как прыгает.

Сава просыпается рано. На рассвете и леса, и снег, и дороги, выющиеся между деревьями, и стекла в окошке купе такие красные, как будто все горит холодным пламенем. На станциях Илья Фаддеевич первым выбегает с медным чайником в руке. Сава все боится, что он отстанет от поезда. Но паровоз прогудит и ждет, пока Илья Фаддеевич вскочит на ступеньку; только тогда, скрипнув колесами, лязгнув буферами, поезд пойдет отстукивать по рельсам, мимо городов и бревенчатых деревень, мимо лесосек, где электрические пилы валят огромные деревья, мимо станций и полустанков.

На столике купе горячий чайник, хлеб, масло. Илья Фаддеевич заваривает и разливает по кружкам крепкий чай. Савка режет хлеб и намазывает маслом толстые ломти. Рома кладет в кружки сахар.

...Поезд идет на юг. Уже не видно лесов по сторонам. Снегу так мало, что чернеет зябь на полях, рыжеет кое-где прошлогоднее жнивье.

— Ну, как, хлопцы, нравятся наши края? — спрашивает Илья Фаддеевич.

Савка не знает, что ответить.

— А я привык, — говорит Илья Фаддеевич. — Главное, что просторно. Вот видишь ту деревеньку — до нее километров тридцать, за день не дойдешь... А леса? Что ж, леса тоже будут.

...Они уже давно приехали и привыкли к новому месту. Сава перестает замечать, как голо и неприветливо вокруг, потому что из лесовика он стал степняком, как шутя сказал отец.

На дворе у Савы появляются друзья и враги, но больше друзей. Как-то раз он сидит на крылечке и решает задачу. Три речки впадают в озеро. Из первой речки каждый день вливается двести ведер воды, из второй...

— «Три речки впадают в озеро», — передразнивает тоненький голос.

Это Маша Рыбакова, маленькая девочка с темными серьезными глазами, одетая в коричневое, хорошо отутюженное платье с белым передником.

— А тебе что? — воинственно поднимается Сава.

— Ни-че-го, — пожимая плечами, отзывается Маша.

— Ну и катись своей дорогой!

— Сто лет думай — не решишь...

— Почему?

— У тебя по арифметике тройка.

— Это «страус» придирается.

— Пионеры прозвища не дают, — строго говорит Маша.

Три речки впадают в озеро... Светит солнце, пахнет сеном, со стороны Гусинки доносится тонкий свисток и всплески воды — это паром отправляется на ту сторону реки. А Сава все сидит, не отрываясь от учебника.

Через две недели они втроем — Маша Рыбакова, Сава и Виктор Ломакин, Савин товарищ, — изо всех сил натягивают тетиву громадного лука. Ясень туго сгибается, тетива из жилы, которую Виктор раздобыл на городской бойне, дрожит, как струна. На конце стрелы переливаются красные, зеленые и оранжевые перья, потому что сегодня у Рыбаковых на обед жареный петух.

Маша уходит первой, ей больше гулять нельзя, а то рассердится отец. Савке вдруг становится скучно.

— Пойдем, Витька, домой, — предлагает он упавшим голосом.

...Из комнаты доносится голос Рыбакова, и Савка невольно прислушивается.

— Мария, как вам известно, единственная наша дочь. Она и языки изучает, и музыку, и в школе отличница. И мы не потерпим дурных влияний со стороны ваших... воспитанников, — раздраженно говорит Рыбаков.

— Сыновей, — поправляет Илья Фаддеевич.

— Не потерпим! Заранее предупреждаю. Девочка стала из дому бегать, приходит возбужденная, громко смеется, дерзит, беспризорные манеры... Так что решительно попрошу внушить вашим воспитанникам, чтобы они об этом знакомстве забыли.

— Это, милый человек, дружба, — понимаете вы такое слово? Это самое лучшее на земле, а вы — «не разрешу!» Даже смешно, простите меня, старика. Это важнее в жизни даже, чем музыка и языки, и ничего, кроме хорошего, не даст ни вашей дочери, ни моим ребятам.

— А я попрошу не вмешиваться, — почти кричит Петр Варсонофьевич. — По-про-шу! Я из дочери вам в угоду беспризорницы не сделаю!

Петр Варсонофьевич пробегает по коридору, мимо прижавшегося к вешалке Савы и, хлопнув дверью, исчезает.

Конечно, у Савы больше друзей, но есть и враги; наверно, так всегда бывает в жизни.

...По воскресеньям Муромцевы всей семьей отправляются за Гусинку, в степь, иной раз, когда Петр Варсонофьевич в отъезде, и Маша с ними.

В степь... Сава знает места, где весной травы поднимаются выше головы. Заберешься в травяной лес — и никого нет кругом, все утонуло в зеленом море, — даже страшно, даже хочется окликнуть Севу, или Машу, или отца. Но страшно по-хорошему, как бывает, когда слушаешь сказку. Кружит коршун над головой, не то насмешливо, не то испуганно попискивает перепел, и тебе кажется, что ты, как Остап, едешь на могучем коне по безбрежной степи в Запорожье.

Сава и Сева знают озера, вокруг которых, как серебряное зеркало, лежит соль, и другие, заросшие камышом, где весной видимо-невидимо птицы. Запрячешься в камышах — и совсем рядом, отталкиваясь от воды лапками, проплывает дикий селезень. Испугавшись шороха, взлетит в воздух, вот уж и не видно его.

Савка стал настоящим степняком. Он может зажечь костер первой спичкой в такой ветер, когда смотри, как

бы тебя самого не унесло; когда все свистит и ревет в ушах, а огонь горит себе в старом, заросшем травой окопчике.

Он умеет очистить рыбу, наловленную отцом и Севой, сварить уху. Ничего, что уха иной раз бывает пересолена или недосолена, — этого никто не замечает, потому что она вкуснее всего на свете и пахнет степными травами, которые ветер, не спросясь, бросил в котелок.

Савка стал настоящим степняком. Он знает степь, когда созревает пшеница и поля, как из литого золота, горят под солнцем. И за Гусинкой из колхоза «Искра» плывут, чуть покачиваясь, комбайны, и дороги пылят от машин с зерном. А потом знакомые комбайнеры проезжают через город на аэродром, чтобы улететь в Сибирь, где скоро начнется уборка. И обязательно кивнут Савке, когда он выскочит за ворота, провожая машину. Как же иначе, Сава — человек знакомый, степняк. Может быть, и он, когда вырастет, станет комбайнером, полетит в Сибирь, убрав урожай у себя, в приволжской степи.

Ночь. Спит весь этот большой дом на окраине далекого степного городка. Спит. Погашены лампы, опущены занавески и шторы. Спит и Сава.

Фашистские бомбы убили твоих родителей в годы, которых мы никогда не забудем. Ты начинал свой путь так страшно, так трудно, как не должен его начинать ни один человек на земле. Ты встречал огонь в возрасте, когда надо знать только теплое дыхание матери, только великую нежность, которая на всю жизнь наполнит тебя мужеством. Ты потерял семью, но она возникла вновь силой большого человеческого сердца. Семья степняков, Муромцевых — Илья Фаддеевич, Севка, Савка и Ромка.

Сева проснулся от тревожного стука. Рано. Сава и Рома крепко спят. Сева полежал несколько секунд, прилживаясь. Стук повторился.

Сева поднялся и, босиком пробежав в коридор, открыл дверь. На пороге стояла Маша.

— Что случилось? — спросил Сева, нахмутив брови.

Девочка молчала. Она дружила с Савой, а Севу немного побаивалась. Вчера вечером Маша услышала конец разговора отца со старшиной и потом всю ночь думала о том, что узнала. Сава ее друг, и какой же Сава «труд-

невоспитуемый», зачем увозить его в какую-то колонию? Все это неправильно, несправедливо!

— Что случилось? — повторил Сева.

Маша залпом выпалила все, что знала, и убежала.

Сева не сразу понял слова девочки. Не может быть, чтобы их увезли, отправили в разные места. Зачем? И как же отец?

О болезни отца Сева узнал три дня назад от Татьяны Ивановны, соседки Муромцевых, на попечении которой ребята оставались во время путешествий Ильи Фаддеевича. Хотя Татьяна Ивановна сказала, что отцу сейчас лучше, эти три дня Сева испытывал ни на секунду не прерывающуюся тревогу. Ему необходимо было повидать отца. Хоть ненадолго. Тогда он бы успокоился и мог ждать даже целый год.

Босиком большими шагами Сева ходил по комнате. Неожиданно он остановился, помедлил несколько мгновений, подойдя к шкафу, достал рюкзак и с лихорадочной поспешностью начал укладывать вещи. Отец в Астрахани. Он поедет туда, найдет его, расскажет о том, что случилось, и вернется.

Уложив вещи, Сева подошел к карте и отыскал Астрахань. Ниточкой измерил расстояние, как делал Илья Фаддеевич, собираясь в путь. Получилось не так уж много: семьсот километров, если напрямик. Из ящика стола достал компас. Астрахань лежала на юго-юго-востоке, где-то за Гусинкой, полями колхоза «Искра», озером, куда они прошлым летом ездили на охоту, за Сталинградом.

Сверясь с картой, Сева записал маршрут. Карта была маленькая, не подробная, без железнодорожных путей, и Сева отметил только самые крупные пункты: Сталинград, Солодовка, Тамбовка, Красный Яр, а там недалеко и Астрахань.

Рома и Савка спали, и Татьяна Ивановна не показывалась. Сева подошел к столу и, не садясь, крупными, неровными от волнения буквами написал на листке клетчатой бумаги:

«Савка! Я уехал к отцу, скоро мы вместе вернемся. А ты не вздумай реветь и никому не рассказывай, что я уехал».

Нахмурился и приписал то, что говорил обычно, уезжая в командировку, отец:

«Ты, Савка, остаешься за старшего. Помни это».

Сложил записку и положил ее на подушку рядом с Савкиной головой. Потом вскинул рюкзак, постоял, огляделся, тихо открыл дверь и вышел на улицу. Паромщик переправил через Гусинку бесплатно; это кстати; у Севы в кармане лежало всего-навсего двадцать рублей — его собственные деньги, подаренные отцом перед отъездом на покупку рыболовных снастей.

Были дни уборки урожая, и мимо Степного на Сталинград одна за другой шли колонны автомашин с зерном. Сева поднял руку, и передняя машина остановилась. Шофер оказался знакомый; ребята знали почти всех шоферов, работающих вблизи Степного.

— Куда собрался? — спросил он, закуривая и бросая взгляд на вещевой мешок.

— К отцу! — ответил Сева. — Мне в Сталинград.

К машине подошел, почти подбежал, седой человек в промасленном комбинезоне.

— Авария, что ли? — спросил он, на ходу расстегивая кожаную сумку с набором ключей и отверток.

— Да нет, товарищ Гришин, мальчишка просит до Сталинграда подбросить. Это Ильи Фаддеевича...

— А что, Муромцев в Сталинграде?

Гришин не дождался ответа. Сзади окликнули:

— Товарищ колонновожатый! Что ж это такое творится! — и он побежал в хвост колонны.

— Сажай парнишку и жми! — бросил Гришин на прощание.

Сева забрался в машину и лег на брезент, покрывающий зерно.

Мотор загудел, тряхнуло, и машина рванулась, набирая скорость.

«Шестьсот девяносто девять километров до отца. Шестьсот девяносто семь», — считал про себя Сева километровые столбы.

Мелькнула тревожная мысль: а как же будут братья без него? «Они ведь не одни остались. Татьяна Ивановна не даст их в обиду».

Почему-то Севка совсем не мог себе представить Илью Фаддеевича больным, и все-таки острое беспокойство за судьбу отца не оставляло его ни на мгновение.

«Шестьсот восемьдесят четыре, восемьдесят три, восемьдесят два...»

Небо было спокойное, бледноголубое. Заяц выбежал из-под колес и исчез в кустах... Широким клином раскинувшись на небе, летела птичья стая. Потом отстала. Грузовик шел со скоростью шестидесяти, может быть даже семидесяти километров в час, но на ровной степной дороге быстрота почти не чувствовалась. Сева свернулся клубком, прижавшись к кабинке,— там меньше дуло. Несколько минут он еще следил за километровыми столбами, считал про себя: «Шестьдесят, шестьдесят девять, шестьдесят восемь...» Он и не заметил, как уснул...

5

Закончив разговор с Рыбаковым, Лебединцев спустился вниз по лестнице. Резким движением открыл входную дверь и, опершись о притолоку, остановился. Ночь была по-осеннему холодная и звездная. Из темноты кто-то негромко сказал:

— Закуривайте, старшина!

— Дмитрий Павлович! — узнал Лебединцев управдома.

Карагинцев протянул старшине коробку с папиросами.

— Чего не спите? — спросил старшина, сильно затаившись.

Вместо ответа Карагинцев предложил:

— Идемте ко мне. Я вон тут живу, на первом этаже... Поговорим.

Видя, что старшина медлит, Карагинцев добавил:

— У меня свободно. Старшие в лагере, а младшего хоть из пушки бей, не разбудишь.

— А жена?

— Жена в Сталинграде осталась... С сорок второго бобыль, — отозвался Карагинцев.

Лампа в плотном абажуре, опущенная низко над столом, ярко освещает белую скатерть и до блеска начищенный самовар.

Минуту старшина и Карагинцев, поглядывая друг на друга, пьют крепкий чай.

— Вот какие обстоятельства, — говорит Карагинцев, доливая чай гостю и себе. — Ознакомились?

— Ознакомился, — односложно отвечает старшина.

— Главное, что и обратиться не к кому. Матвей

Игнатъевич, школьный завуч, в лагере, Лигошин, музейный директор, в Москве... А Татьяна Ивановна женщина хорошая, но верно, что слабая. Разве возможно ей с тремя хлопцами управиться?

— Я сам седьмым в семье рос, — кивает старшина. — Верно, что трудно...

— И сколько еще это продлится?! — продолжает Карагинцев. — Вчера Татьяна Ивановна письмо получила. Муромцев сообщает, что поправляется и скоро приедет. А от врача приписка: Илья Фаддеевич не понимает всей серьезности положения. Самое трудное позади, но раньше чем через два-три месяца о возвращении и думать не приходится... Шутка ли, три месяца?..

— А Рыбаков говорит...

— Знаю, что Рыбаков говорит, — перебивает Карагинцев. — Он на этот счет и меня и жильцов агитирует, и в горно ходит, и в милицию. Да разве можно рушить семью? Об этом и думать совестно, не то что...

Дмитрий Павлович поднимается, стелет гостю на тахте и раздвигает брезентовую раскладушку для себя. Хозяйничая, Карагинцев продолжает:

— Не война... Илья Фаддеевич вернется, как мы ему в глаза глянем, если что... Я вот думал к себе ребят взять... Не пойдут. Гордые. И Севка скажет — на меня отец дом покинул и книги, и дубки как же...

Секунду Карагинцев стоит с одеялом в руках, погруженный в глубокое раздумье.

— Ни за что не пойдут.

Карагинцев ждет, пока Лебединцев разденется, повесит одежду на спинку стула и прикроется одеялом, потом закуривает и гасит свет.

— Спишь? — после долгой паузы окликает Карагинцев.

Вместо ответа старшина негромко спрашивает:

— А если мне за это дело взяться... Как считаешь?

Карагинцев всем телом поворачивается в сторону старшины на своей узенькой раскладушке.

— Я бы со всей душой, — заканчивает старшина.

— А верно, — говорит Карагинцев. — Самое верное решение. Человек приезжий, военный... Ребята примут хорошо и не обидятся. А ты понаблюдаешь, в руки хлопцев возьмешь. Тут самое главное — чтобы мужская рука.

И Дмитрий Павлович затихает: он милицейских очень уважает.

Уже сквозь сон, глухо, из-под одеяла, Карагинцев повторяет:

— Самое верное решение.

Когда рано утром старшина собрался на службу, Карагинцев напомнил ему:

— Приходи с вещами.

— Сразу?

— Сегодня же перебирайся, а то, сам видишь, Рыбаков землю роет, а ребята тревожатся. Не положено, чтобы хлопцы тревожились. Не война!

В отделении Лебединцев получил приказ отправиться в станицу Волковскую для охраны хлебного элеватора. В пять часов старшину сменили, и он с попутной машиной вернулся в Степное.

Когда Лебединцев появился в отделении, дежурный, младший лейтенант милиции, не дав ему рапортовать, торопливо сказал:

— Во-время! Секретарь горкома три раза звонил. Там происшествие на твоём участке. Мальчик сбежал, Муромцева сын. Знаешь такого?

— Так точно.

— Сейчас «газик» из горкома придет. Может быть, догонишь. У Кринского оврага мост после вчерашнего ливня снесло, все машины задержались. А мальчик к шоссе пошел, видели его.

У подъезда длинными прерывистыми гудками прогудела машина.

— Счастливого пути! — добавил младший лейтенант — Обедал? Ну, ничего, потом перекусишь. Если по дороге не догонишь, ищи в Сталинграде, на вокзале справься... Тебя учить не приходится. Да, вот еще, мальчику скажешь, что секретарь горкома в Астрахань звонил. Муромцеву лучше, через месяца два приедет.

...Стрелой мчится горкомовская машина через Степное по Парковой улице и, обгоняя грузовики с зерном, по ровному Сталинградскому шоссе.

Иногда «газик» круто тормозит, из машины, на ходу открыв дверцу, выглянет старшина и спросит у водителя встречного грузовика, не видал ли он по пути вы-

сокого темноволосого мальчика лет тринадцати-четырнадцати, с вещевым мешком.

...У Кринского оврага скопились сотни машин. Они выстроились вдоль шоссе в несколько рядов. На берегу оврага, где, восстанавливая мост, работает саперный батальон, стоит колонновожатый Гришин. Когда Лебединцев спрашивает его о мальчике, он хмурится, вспоминает, потом говорит:

— Есть такой пассажир. У Пономаренко на машине. Точно, есть!

Вслед за Гришиным старшина пробирается по сонному табору. Загорится яркая фара, посветит секунду и погаснет. Дежурный окликнет: «Кто идет?» — и снова тихо.

Колонновожатый останавливается около «ЗиСа», прикрытого брезентом. Шофер спит, высунув лохматую голову в открытую дверцу кабинки. Посветив фонариком, Гришин трогает его за плечо.

Еще не проснувшись, Пономаренко рывком усаживается на сиденье. Столбы света ложатся на жнивье.

— Что?.. Пора?..

— Чего всполошился?.. Мальчишку нам надо.

— Севу? Он под копной спит. Не пора, значит...

Столбы света гаснут, скрипит сиденье, и вновь лохматая сонная голова выглядывает из дверцы кабинки.

Сева лежит в трех шагах от машины, прикрытый теплым пономаренковским кожухом. Целый день он наравне с шоферами помогал саперам, подтаскивал к мосту доски и другие материалы; теперь он спит, раскинувшись на мягком сене.

Гришин наклоняется над ним. Во сне Севины губы шевелятся, может быть, ему снится, что он подъезжает к Астрахани и считает последние километры. От света фонарика Сева морщится и, не раскрывая глаз, поворачивает голову в сторону.

— Гасите! — еле слышно шепчет Лебединцев.

Старшина просовывает руки сквозь сено и осторожно поднимает мальчика.

— Помочь? — тихо спрашивает Гришин.

— Я сам.

Старшина шагает к шоссе. Мягко шуршит жнивье под ногами, доносится сонное дыхание шоферов, будто сама степь спокойно и глубоко дышит во сне. Старшина укла-

дывает мальчика на заднее сиденье машины. «Газик» набирает скорость.

Положив руку на спинку сиденья, старшина поворачивает голову назад и долго, внимательно смотрит на мальчика. Лицо Севы окутано густой темнотой, но иногда свет фар встречной машины попадает на «газик», и тогда можно различить каждую черточку в этом смуглом мальчишеском лице; каждую длинную темную ресничку крепко зажмуренных глаз, твердо очерченные упрямые губы чуть полукрытого во сне рта.

В световом столбе летит и не может вырваться большая ночная птица, потом она исчезает. По сторонам дороги то и дело возникают огни: движущиеся — это комбайны, машины, неподвижные — полевые станы, села, станицы. Вдали, за темной полосой реки показалось Степное.

— Вот и дома,— проговорил старшина.

Он взглянул на мальчика, который попрежнему крепко спал, и подумал: если его довести сонного и, не разбудив, перенести в квартиру, утром он проснется рядом с братом и все прошедшее покажется ему сном. Это и хорошо.

Машина, спустившись по крутому берегу Гусинки, остановилась у паромы,



---

*М. Юфит*

## ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Нина Андреевна привыкла праздновать день своего рождения. Когда она была еще девочкой, дома всегда пекли пироги и созывали родственников. Когда Нина уехала учиться, мать каждый год посылала ей поздравительную телеграмму и большую посылку, которую весело и торжественно вскрывали всем общежитием. Выйдя замуж за Костю Лебедева, она устроила в день своего рождения первый настоящий «прием». Студенты сидели на кровати, на подоконнике, на стопках книг, но всем было весело. Потом Костя стал архитектором и получил просторную квартиру, а так как к тому времени Нина Андреевна ушла с работы, то ей приятно было созывать старых друзей, с которыми она теперь редко виделась.

Она давно уже стала хорошей хозяйкой, обставила свои уютные комнаты удобной мебелью, а мать, которая теперь жила с ними и помогала растить детей, пекла такие же замечательные пироги, как в прежние годы.

И Нина Андреевна охотно приглашала гостей.

Это стало традицией в доме Лебедевых. И пирог тоже пекли традиционный — большой, круглый, с вареньем, с переплетиками из румяного с золотой корочкой теста, с красиво выведенным наверху именем «Нина» и цифрой, указывающей, сколько лет хозяйке.

В это утро, когда Нина Андреевна раскатывала на доске тесто и выкладывала «32», муж сказал вскользь:

— Не понимаю! Для чего афишировать свой возраст?

Нина Андреевна не обратила на эти слова внимания, но мать обиделась за нее.

— Ну, ей это еще не страшно,— сказала она,— не такой уж большой возраст.

— Страшно или не страшно — другое дело, но кричать на всех перекрестках? Не вижу смысла...

Когда муж ушел, Нина Андреевна сказала задумчиво:

— А ведь мне действительно уже тридцать два года. Я и не заметила, когда... Все было двадцать два, двадцать три...

— Мне еще более удивительно, чем тебе,— отозвалась мать.— Кажется, совсем недавно ты родилась, пошла в школу... чулки на коленках рвала... А теперь у тебя свои ребятки...

Хлопот было много, как всегда, когда в доме ждут гостей, а тут еще дети, которых это совершенно не касается,— их надо, как обычно, кормить, мыть, укладывать спать, выпускать гулять. День был короткий, зимний. И до самых сумерек продолжалась суета: готовили угощение, натирали полы, стирали пыль. И среди всей этой суеты Нина Андреевна мечтала о том, что выберет несколько минуток, напишет обращение к домашним и изложит свои взгляды на устройство их жизни и быта и в шуточной форме, чтобы никого не обидеть, установит такой распорядок, что у нее будет оставаться время и для себя.

Время для себя! Эта мечта не покидала ее уже несколько лет.

Кто она теперь? Никто. Диплом давно уже спрятан в стол, практических навыков она не успела получить, теория позабылась.

Костя жил только работой, только архитектурой. Он ничего не просил, не требовал, он жалобно рассказывал:

— Нинок, я вышел сегодня к трибуне, протянул руку и вижу, край рукава у меня обтрепался. Не знаешь, как бы мне купить пиджачишко?

И Нина Андреевна чувствовала себя виноватой в том, что она, неработающий человек, заставляет мужа, талантливого архитектора, ходить в обтрепанном костюме. Она торопливо предлагала:

— Я все, все сделаю... Куплю материал, подкладку. Займу очередь в ателье. Тебе придется только примерить.

Она ходила в библиотеку за книгами для мужа, растила детей, хозяйничала, гладила мужу рубашки, чер-

тила для него, она ложилась позже всех в доме и раньше всех вставала. Она испытывала чувство умиления и благодарности, когда Костя говорил:

— Нинок, в журнале интересная статья. У меня совершенно нет времени. Ты бы прочла — ведь ты все же специалист — и пересказала мне своими словами. Вообще не худо, если б ты эту долю работы взяла на себя.

Она охотно брала на себя любые обязанности и аккуратно их выполняла.

Костя был великодушен: он никогда не показывал своего превосходства над ней. Он даже напоминал:

— Ты подавала большие надежды.— Он выражал уверенность: — Я абсолютно убежден, что ты снова займешь свое место в нашей среде, Нинок.

И хотя Нина Андреевна знала, что это только слова, а завтра, может быть даже еще сегодня вечером, муж обидится на нее за то, что она не так свернула в трубку чертежи, как он любит, а дети мешают ему своим шумом и он не может даже уйти в библиотеку заниматься, потому что не знает, где лежат теплые носки, а на улице мороз,— Костя всегда находил, за что обидеться,— она все же, как дитя, радовалась, тешилась этими словами, начинала петь, раскладывала учебники и журналы и с энергией старалась переделать всю эту скучную, неблагодарную домашнюю работу, чтобы завтра непременно засесть за свои занятия, повторить, восстановить в памяти то, чему она училась в институте и взяться, наконец, за разработку какого-нибудь оригинального, интересного проекта.

Но на другой день возникали другие неотложные дела. То оказывалось, что мужа вызывают на доклад в министерство или в Ученый Совет, и надо было собирать его в дорогу; то, как назло, капризничали дети; то приезжал какой-нибудь дальний родственник или знакомый архитектор, и нельзя было не поговорить с ним после долголетней разлуки, иначе он подумает, что Лебедевы загордились; то нужно было сделать покупки. И все это именно сегодня, сейчас, а занятия ее носили все же отвлеченный характер, не приносили пока никому в семье реальной пользы. И она отступалась от своего решения.

Так и сегодня. День прошел, а она не успела написать обращение к семье. Впрочем, и желание у нее ослабло.

Было так радостно, хорошо, празднично. Вкусно пахло пирогами и жареной индейкой. Сын нарисовал ей в подарок картину, изображавшую «Русско-сербский словарь». Выбор темы остался для всех, пожалуй, и для самого художника, тайной. Просто мальчика пленили непонятные слова, написанные на папиной книге. Дочка была так мила в новом платье, с бантом в пушистых, легких волосах. Мать и сестра Наташа с оживлением хлопотали у стола. Сестра, выглядевшая всегда заплаканной с того самого дня, как от нее ушел муж, и перед которой Нина Андреевна чувствовала себя виноватой за свое благополучие, сегодня улыбалась, как раньше, как когда-то... Костя вернулся с работы не поздно, принес вино. «Подарка тебе не купил, извини,— сказал он.— Но подарок за мной. Как только получу деньги, обязательно куплю тебе чернобурку». И хотя эта чернобурка уже стала притчей во языцех у всех домашних и ясно было, что деньги придется истратить на более нужные вещи, Нине Андреевне хотелось верить, что да, так и будет. Ведь, в сущности, не в чернобурке дело, а во внимании, в любви. А сегодня она чувствовала, что ее любят в семье, и ей хотелось ответить любовью на эту любовь. Ей приятно было, что в доме праздник, белая, свежая скатерть на столе, тарелки с золотым ободочком, закуски, вино. «Нужно радоваться тому, что имею,— думала она.— Мой муж жив, здоров, дети у меня прелестные, мать и сестра со мной. Мы сыты, обуты, одеты. Чего еще надо?»

В тяжелые годы войны, эвакуации, лишений Нина Андреевна приучила себя не требовать многого, а радоваться тому, что есть. «Я никогда не хнычу,— шутила она.— Я не сожалею о том, чего у меня нет, а радуюсь тому, что имею. Поверьте, это самый правильный взгляд на вещи».

Да и на что ей было жаловаться? Особенно в такой вечер, когда собрались все близкие?!

Как-никак, а это был ее день, ее праздник! Всегда в этот день гости хвалили ее пироги, ее добрый нрав, вспоминали ее былые успехи и пили за новые, будущие успехи в работе. Конечно, она понимала, что было бы грубо — не пить за именинницу. Но и по справедливости она не могла считать их славословие простой лестью. Да, действительно, и пироги были хороши, и успехи у нее были когда-то, и дети радовали глаз своим здоровым видом, и

она все еще верила, что у нее снова будут успехи как у архитектора.

Гостей было немного.

Софья, старая подруга Нины Андреевны еще по десятилетке, инженер-строитель Семенов с женой, Волков, старый холостяк, которого позвали с тайной целью развлечь Наташу и из-за которого, как уже заметила Нина Андреевна, шло тайное соревнование между Наташей и Софьей. Присутствовал еще один инженер-строитель, настолько известный в их среде, что, несмотря на давнее знакомство, все относились к нему с подчеркнутым уважением. В их городе он был случайно: приехал в командировку. Всем приятно было, что он пришел запросто к старым знакомым. Федотов был седой, красивый, шумный, держался просто, и женщины и мужчины полюбили его с первого взгляда. Но он в этой атмосфере уважения и влюбленности держался естественно, как рыба в воде. Густым приятным баритоном он пел народные песни и старые романсы, пел для собственного удовольствия, как поют птицы, веселя не других, а себя. Все подпевали. Особенно отличилась жена Семенова, миловидная, с чуть печальным выражением лица женщина. Вздохнув, она сказала:

— Мои дети не любили, когда я пела. Так я и забросила пение...

— И напрасно, — отозвался недовольный муж. — Ты слишком потакала детям...

— Теперь уже поздно об этом жалеть, — ответила жена и отвернулась, как будто прекращая старый спор.

Но Софья, которая любила давать советы, вмешалась:

— Погубить такой голос — преступление! Никогда не нужно жертвовать собой!

— Ты уверена в этом? — задумчиво переспросила Нина Андреевна.

— Уверена.

Софья метнула испытующий взгляд на своего соседа, но лицо того было непроницаемо. Наташа сказала горячо:

— Нужно уметь жертвовать собой. Конечно, во имя высокой цели!

Зашел общий разговор о певцах, о театре, о новых книгах и фильмах. Нина Андреевна только хотела было вмешаться в разговор, но не успела это сделать: мать

жестами напомнила ей, что пора разливать чай. Она досадливо поморщилась. Всегда обязанности хозяйки мешали ей увлечься разговором, ввязаться в спор.

Федотов расспрашивал мужа Нины Андреевны о его последнем проекте, и муж сказал, как мальчик:

— Нина, показать?

— Конечно...

Она принесла проект. И Федотов и Семенов рассматривали его и хвалили, даже Софья признала, что наконец-то перестали сооружать коробки, проектируют красивые, удобные дома. Строители объяснили ей, что это была не их вина: дайте хорошие проекты, дайте подходящие материалы — вот тогда спрашивайте красоту и качество. Федотов долго и интересно говорил, в каких потемках блуждала мысль архитектора, который хотел уничтожить все завитушки и колонны, оставшиеся в наследие от прошлого, а вместе с украшениями отбросил и линию, отбросил все хорошее, что было результатом накопленного веками опыта. Вот и появились дома-коробки, дома-танки, дома-самолеты. Появились неграмотные, неряшливые проекты. И он вспомнил своего товарища, очень талантливое архитектора, пережившего страшное потрясение: строили по его проекту здание, оно оказалось настолько нелепым, что его решили разобрать.

— Да, было такое время,— заметил Семенов.— Но надо признать, что, ратуя за линию, за красоту, мы опять было потащили в архитектуру те самые бессмысленные завитушки, что истребляли когда-то...

— И приятель мой ходил смотреть, как разбирают дом, и плакал. Потом переболел и теперь хорошо работает.— Федотов широким, великолепным жестом показал на проект хозяина:— Вот сочетание ума и вкуса, вот это наш советский стиль, без всякого украшательства...

Нине Андреевне приятно было, что проект мужа произвел такое хорошее впечатление. Она знала: Семенов и Федотов не станут кривить душой. И Костя, видимо, был доволен. Он раскраснелся, снял пиджак и казался таким молодым и простодушным в своей голубой рубашке с открытым воротом. Все гости столпились у стола, стоявшего в углу комнаты, и только одна Нина Андреевна осталась на своем месте. Она вдруг подумала, что сегодня никто не пил за ее будущие успехи. Припомнила все тосты. Да, пили за ее здоровье — и все. Значит, ни-

кто уже не верит, что она вернется на работу. А ведь и в позапрошлом году и даже в прошлом Семенов рассказывал за столом, как он заинтересовался когда-то проектом и, к своему удивлению, узнал, что автор — женщина. «Это была чисто мужская работа, строгая и со вкусом». И хотя в прошлом году Нина Андреевна выслушала этот комплимент во второй раз, ей было приятно вспомнить о том своем проекте клуба...

Ей хотелось бы знать: неужели даже Федотов не ждет больше от нее ничего? Ведь он знал ее раньше, давно... Ей вспомнился весенний день, дочиستا выметенное ветром небо, его ровная синяя глубина. Федотов — это было перед экзаменом — позвал ее в городской парк, они бродили, держась за руки, по непросохшим дорожкам, разговаривали, и что-то неясное, беспокойное, недоговоренное было в их встрече...

Он объяснял ей, что она замечательная девушка, что он не видал таких, как она, что он твердо верит в ее удачу, в ее успех.

— А вдруг не будет успеха? — возражала она, ничуть не веря в свои возражения. — У меня ведь характер слабый. Я не настойчивая.

— У тебя есть огонь, — сказал Федотов. — А раз есть огонь, то и сердце всегда будет согрето.

— «Комсомольцы — беспокойные сердца...» — засмеялась она.

Ее пугали этот тон и страстные похвалы; она обрадовалась, когда на аллее показались знакомые студенты, позвала:

— Ребята, ребята, сюда!

Разговор оборвался.

Федотов, очевидно, давно уже забыл об этой прогулке, и она никогда раньше не думала о ней, а вот сегодня вспомнила. Как ей стыдно, что она переменилась, что она совсем не похожа на ту, молодую...

Она выбрала удобную минуту и сказала вполголоса:

— Я, Петр... Васильевич... хотела бы посоветоваться... — Она немножко замялась, когда произносила его отчество. Но ведь не могла она называть его Петром или Петей, как когда-то. Она даже точно припомнить не могла, на «ты» или на «вы» они были. Ведь все студенты были тогда на «ты».

— О чем же? — Он тоже не называл ее по имени.

— О своих делах,— сказала Нина Андреевна,— о своей жизни.

Федотов сделал вежливо-холодное лицо, как будто испугался, что она пожалуется на мужа, на семейные неурядицы. Она растерялась.

— Я считаю,— волнуясь и сбиваясь, сказала Нина Андреевна,— что мне надо пойти поучиться... на какие-нибудь курсы... или в помощники к кому-нибудь... Я так сторвалась за эти годы... и я уже не рискую... Но отказаться от своей профессии я не могу... Я не мыслю себе жизни без архитектуры...

— Работать надо,— бодро сказал Федотов, не пытаясь даже вдуматься в то, что она говорит, не пытаясь помочь ей до конца высказаться.— Моя жена, например, работает. А у нее тоже дети.

— Я чувствую, что мне нужен какой-нибудь толчок,— сказала Нина Андреевна, сожалея, что начала этот разговор.

Она знала девушку, на которой потом женился Федотов, она помнила ее. Это была эгоистка, холодная, даже, пожалуй, черствая натура. Правда, красивая, очень красивая. Хотя Нине Андреевне когда-то и внешность этой девушки не нравилась. «Она как красивое здание, в котором никогда не светятся окна,— говорила она еще тогда.— На красоту я могу полюбоваться в музее, а от человека я требую человеческих качеств».

Нине Андреевне стало неприятно, что Федотов вспомнил про жену, и еще неприятнее стало от мысли, что, вернувшись домой, он передаст жене их разговор.

Она почувствовала, что Федотов совершенно забыл ее, забыл, что она ему нравилась когда-то.

— Здесь так много работы,— заметил Федотов.— Такое строительство...

— Да, конечно,— пробормотала Нина Андреевна.— Конечно... Строительство огромное...

И, как нарочно, за столом завязался общий разговор тоже об их бывшем товарище Лисичанском, который совсем опустился. Негодуя, Семенов кричал, что таких вообще надо изгонять из корпорации строителей; он любил такие громкие слова, как «корпорация», «содружество», «творчество». Жена этого самого Лисичанского на очень выгодных условиях раскрашивает для кустарной артели пуговицы. Заработок ее намного превышает оклад

мужа. И муж почти совсем забросил свою основную работу: польстившись на легкую жизнь, он помогает жене.

— Я бы лучше с голоду подох, чем на это пошел,— сказал муж Нины Андреевны.— Бросить свое кровное дело ради денег!..— Он повернулся к Федотову:— Я еще одного не могу понять: что же он думает, долго может продолжаться такая белиберда? Ну, случайно, по чьей-то глупости, раскрашиванием пуговиц можно заработать больше, но ведь это временно... А ты бросаешь дело всей своей жизни...

— Он и в институте был такой,— сказал Семенов.— Он на бригадном методе институт закончил. Бригада сдает зачет, и его вытягивают.

— Да, было,— засмеялся Федотов.— Ведь, правда, было такое?

— Да...— Костя поморщился.— Я, когда узнал об этой мерзкой истории с пуговицами, позвонил ему по телефону и так его ругал, попросту говоря, обляял.

— Почему же ты меня не обругал ни разу? — усмехнулась Нина Андреевна.

— Ну, ты другое дело,— спокойно возразил Костя.— Это совсем не то!

Нину Андреевну никто не поддержал. Наоборот, все постарались замять неловкий разговор. Как будто Нина Андреевна допустила бестактность...

Опять за что-то пили, кажется, за молодость и за смелость, опять пели, Нина Андреевна уже ничего не слышала. Ей было больно и обидно, и стыдно, что она заговорила с Федотовым, а он не понял... Этим разговором она как будто предала мужа, дала понять, что муж ей не товарищ, не друг, раз ей не с кем посоветоваться.

Неужели Федотов вычеркнул все из своей памяти? Весь курс знал, что Нина ему нравится... Если бы она не побоялась тогда объяснения в парке, потому что любила Костю, а не Федотова, то объяснение состоялось бы... Но она не хотела унижить его — такого умного, достойного, большого. Она помнила про встречу в парке и втайне довольна была собой и своим поведением в тот день. Ведь любая девушка с их факультета гордилась бы тем, что покорила Федотова! Но ей не нужны были победы, у нее был Костя.

Теперь Федотов с гордостью произносит: «Моя жена...»  
Нина почувствовала себя одинокой. Все как будто

позабыли про нее. Мужчины курили и говорили о чем-то с посерьезневшими лицами; раскрасневшиеся Наташа и Софья вели атаку на своего кавалера. Наконец-то им удалось исторгнуть улыбку из этого великолепного истукана. Мать шепталась с женой Семенова.

Наташа, оглянувшись, небрежно попросила:

— Ниночка, дорогая, дай нам еще чаю.

Нина Андреевна покорно встала, налила чай.

Ее чем-то обидел этот небрежный тон.

Нет, нужно что-то рвать в жизни, менять, нужно на-прячь все усилия! Почему она ждет помощи со стороны? Почему ей примерещилось, что Федотов взглянет в то, что с ней происходит? Закричит, затопает на всех ногами, возмутится, что Нина Андреевна сидит дома и разливает чай? Нет, никого, оказывается, не интересуют ее дела. А ведь она считала, что здесь собрались ее друзья.

Теперь ей казалось, что Федотов презирает ее. И по-делом. Он мастер, и люди для него — мастера. Плохие или хорошие. Без мастерства он не понимает человеческого существования. Это верно. Но это жестоко. Ведь про Лисичанского они вспомнили, забеспокоились, возмутились. А она? Она и студенткой была посильнее этого Лисичанского. Не хуже Семенова она училась, если уж на то пошло! Могли бы товарищи это вспомнить и заинтересоваться ее судьбой.

Уже совсем машинально выполняла она обязанности хозяйки дома.

Гости ушли. Домашние живо обсуждали, как прошел вечер. Нина Андреевна молчала.

Муж подошел к ней, обнял и сказал:

— Ну, вот тебе и тридцать два года, моя дорогая. Тридцать третий пошел. Налей мне на ночь стакан чаю. Пить хочется.

— Хорошо.— Она налила чай и стала готовить сестре на утро завтрак: та рано уходила. Софья осталась ночевать, нужно было постелить ей. И не забыть завтра уплатить за квартиру...— Наташа,— сказала она сестре,— ты принесла справку для домоуправления?

Сестра обиженно, чуть плаксиво сказала:

— Ах, почему ты мне не напомнила?

— Я тебе говорила.

— Ты ведь знаешь, какая у меня в последнее время память!

Она намекала на то, что после ее личного несчастья она не могла помнить о мелочах. Нина Андреевна виновато предложила:

— Я позвоню тебе завтра на работу, напомню.

В детской проснулась и заплакала девочка. Она требовала мать.

— Ну что за дитя такое упрямое! — сказала в сердцах бабушка. — Заладила «мама», и все.

— Сама виновата, так приучила, — сердито произнесла Наташа.

Софья заметила назидательно:

— Да, Нина, нельзя так баловать детей, как ты!

— Я сейчас, я ее успокою, — все так же виновато пообещала Нина Андреевна.

Она прошла в детскую, вынула дочку из кроватки, прижала к себе.

— Рассказать про котяток?

Девочка недовольно мотала головой.

— Про собачку?

— Нет.

— Поносить Машеньку по комнате?

— Да.

Нина Андреевна пошла по комнате, прижимая к себе теплую, милую девочку. Она смотрела с нежностью на темные длинные реснички. Недавно девочка опасно болела, ее насилу спасли. И к нежности и умилению, которые мать испытывала, теперь постоянно примешивались страх и воспоминание о больших, лихорадочно блестящих, искаженных от страдания глазах.

— Спи, моя ласточка, спи... — сказала Нина Андреевна.

— А-а... — пела девочка, сама себя убаюкивая.

Она заснула.

Щурясь, вышла Нина Андреевна в освещенную комнату. Муж сказал:

— Как жаль, что уже поздно. Я хотел развить перед тобой некоторые положения своего выступления в архитектурном совете. Но ты, очевидно, устала?

— Нет, я не очень устала, — сказала Нина Андреевна, гоня от себя сон.

Она слушала мужа, делала замечания, спорила, а маленький червячок все точил и точил ее сердце. Она сказала неожиданно:

— А знаешь, сегодня уже никто не пил за мое возвращение к творческой работе. Никто, видно, больше не верит...

Муж немного растерялся, но скрыл свою растерянность усмешкой.

— Ну и тщеславная ты! — сказал он. — Все хочешь, чтобы тебя хвалили...

— Вовсе мне этого не надо, — стала оправдываться Нина Андреевна. — Зачем мне нужны незаслуженные похвалы? Но я понимаю, что мое дурацкое положение стало уже очевидным для всех.

— Дурацкое? Чего тебе надо? — пробормотал муж. — У тебя есть семья, дети... — Он стал ходить по комнате и размышлять вслух, что, конечно, ей пора взяться за архитектурный труд, он давно это сознает. И он поможет ей. — Я готов даже придумать тебе тему для проекта. Я дам тебе указания... Я тебе помогу, дорогая моя...

Он обнял жену за плечи, но она все еще слышала это «я», «я», «я».

Да не нужен ей этот проект, придуманный другим, не нужен!

И весь остаток ночи она не спала: то мечтала, то предавалась отчаянию. Она вспоминала себя молодой сумасбродной девушкой, любознательной и энергичной, помнила себя в первые годы на работе, когда все они — и Федотов, и Семенов, и ее муж — только окончили институт. Теперь их разделяла пропасть.

А как ее любил руководитель мастерской, старый седой архитектор-академик! Уже вся мастерская знала, что ей скоро идти в декретный отпуск, а ему она боялась сказать. Академик был сердитый.

Она тянула до последнего дня. Потом поплакала, выпила для храбрости воды и вошла к нему в кабинет:

— Федор Ильич, я зашла попрощаться, у меня отпуск... декретный...

— Вы с ума сошли, — не повышая голоса, сказал академик и отложил в сторону толстый, остро отточенный карандаш. — Какой может быть отпуск, когда проектирование не закончено?! Ведь я отменил все отпуска...

— Но у меня декретный... — пролепетала она.

— А-а... — Только теперь академик понял. — Ну, давай вам бог, давай бог. Только смотрите, возвращайтесь в мастерскую...

Она пообещала, как поклялась:

— Я вернусь.

И не вернулась. Ей говорили, что старик вспоминал про нее, спрашивал. Потом он умер, и ей некого было больше бояться. Она смело могла ходить с мужем на вечера в Дом архитектора. Ведь билеты присылали на два лица — Лебедеву с женой.

«Согнулось во мне что-то, — подумала она, — не сломалось, нет, я жива, я люблю жизнь, но согнулось под тяжестью будней, притухло. Нужен ветер, нужен сильный ветер, чтобы раздуть огонь...» Перед глазами ее неотступно стоял белый лист ватмана с проектом мужа, его вдохновенное лицо и вдохновенные лица влюбленных в свое дело Семенова и Федотова. Влюбленность в свое дело, талант, преданность главной идее своей жизни затмевали любые недостатки их характеров. Все это были пустяки по сравнению с главным. «Дело не в оправданиях, — думала Нина Андреевна, — формально меня не в чем обвинить. У меня маленькие дети. Но я тоскую по своей работе. Я тоскую!»

За окнами стояла зимняя городская, полная шума ночь. Фонари бросали тусклые отсветы на замороженное стекло. Дворники соскребали с тротуаров снег.

Нине Андреевне захотелось выйти сейчас, побродить по улицам, подумать... Но жалко было будить своих.

Она уже твердо решила, как и что будет делать. Нет, не дома, не за столом готовиться. Не учебники перечитывать. Не о грандиозном проекте мечтать. Нет, она пойдет на работу, начнет, если надо, все сначала. Она будет как все, со всеми вместе!

Теперь она твердо знала, что огонь, согревающий сердце, еще не погас в ней.



## СО Д Е Р Ж А Н И Е

<i>Нора Адамян. Трудная встреча . . . . .</i>	6
<i>Ираклий Андроников. Подпись под рисунком . . . . .</i>	33
<i>Сергей Антонов. Главный вопрос . . . . .</i>	46
<i>Сергей Антонов. Разговор . . . . .</i>	56
<i>Борис Бедный. Старший возраст . . . . .</i>	63
<i>Александр Володин. Твердый характер . . . . .</i>	120
<i>Леонид Волинский. Первый день . . . . .</i>	137
<i>Н. Грибачев. Кузница . . . . .</i>	149
<i>Ю. Добряков. Кружева . . . . .</i>	153
<i>Ефим Дороги. Иван Федосеевич. . . . .</i>	170
<i>Н. Емельянова. Родня . . . . .</i>	191
<i>Дм. Еремин. В метель . . . . .</i>	209
<i>Анатолий Калинин. Братья . . . . .</i>	227
<i>Вадим Кожевников. Лодочницы Жемчужной реки . . . . .</i>	248
<i>Вадим Кожевников. Народный солдат . . . . .</i>	266
<i>Николай Коляструк. Вьюга . . . . .</i>	281
<i>Юрий Лаптев. Серьезный разговор . . . . .</i>	295
<i>В. Лукашесич. Перенеловский председатель . . . . .</i>	303
<i>Сергей Львов. Рисунок карандашом . . . . .</i>	339
<i>Ольга Маркова. Шест у двора . . . . .</i>	355
<i>Ольга Маркова. Вдоль . . . . .</i>	384
<i>Станислав Мелешин. В дороге . . . . .</i>	409
<i>Алексей Мусатов. Пути-дороги . . . . .</i>	426
<i>Юрий Нагибин. Четупов, сын Четупова . . . . .</i>	444
<i>Юрий Нагибин. Слезай, приехали... . . . .</i>	473
<i>Сергей Никитин. Пропать . . . . .</i>	492
<i>Валентин Овечкин. На одном собрании . . . . .</i>	501
<i>Дмитрий Осин. Алмазная грань . . . . .</i>	519
<i>Константин Паустовский. По ту сторону радуги . . . . .</i>	536
<i>Константин Паустовский. Корзина с еловыми шишками . . . . .</i>	543
<i>А. Письменный. В селе Унгоряны . . . . .</i>	552

<i>Борис Полевой. Очки</i>	579
<i>Борис Полевой. Храбрость</i>	589
<i>Георгий Радов. Звезды</i>	598
<i>Георгий Радов. Шеф</i>	614
<i>В. Тендряков. Под лежач камень...</i>	628
<i>Николай Тихонов. За рекой</i>	651
<i>Г. Троепольский. Соседи</i>	676
<i>Г. Троепольский. У Крутого яра</i>	706
<i>Кондратий Урманов. Подруга</i>	737
<i>Дмитрий Холендро. Старая акация</i>	753
<i>Дмитрий Холендро. Лёля</i>	758
<i>Владимир Фоменко. На острове</i>	770
<i>А. Шаров. Севка, Савка и Ромка</i>	780
<i>М. Юфит. День рождения</i>	804

---

**РАССКАЗЫ 1954 ГОДА**

Редактор **В. Д. Раковская**  
Художник **И. Г. Николаевцев**  
Художественный редактор  
**И. В. Царевич**  
Технический редактор  
**С. Г. Симонов**  
Корректоры **С. Е. Жигмановская**  
и **Л. И. Пруткина**

---

Сдано в набор 12/VIII 1955 г.  
Подписано к печати 11/XI 1955 г.  
A05350 84×108<sup>1/2</sup>. Печ. л. 51<sup>1/4</sup>.  
(42,03). Уч.-изд. л. 42,39. Тираж  
75 000 экз. Заказ № 1745.  
Цена 13 р. 70 к.

Издательство «Советский писа-  
тель»  
Москва, К-104, Б. Гнезников-  
ский пер., 10.

---

Типография «Известий».  
Москва, Пушкинская пл., 5.

*Издательство просит читателя дать отзыв как о содержании книги, так и об оформлении ее, указав свой точный адрес, профессию и возраст.*

*Библиотечных работников издательство просит организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов.*

*Все материалы направлять по адресу: Москва, К-104, Б. Гнезниковский пер., д. 10, издательство «Советский писатель».*